

Ф.Ф. Тютчев



ПОГРАНИЧНИК
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ





Ф.Ф. Тютчев

Ф.Ф. Тютчев



**ПОГРАНИЧНИК
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ**



МОСКВА
ГРАНИЦА
2011

ББК 84-44
Т98

Тютчев Ф.Ф.
Т98 Пограничник Российской империи: Романы, повести. — М.: Граница, 2011. — 552 с.
ISBN 978-5-98759-072-0

Творчество Ф.Ф. Тютчева мало знакомо широкому кругу наших современников, хотя сын великого русского поэта был прекрасным писателем, поэтому его творчество несомненно вызовет живой интерес.

Эта книга объединила увлекательные, остросюжетные романы и повести о буднях Российского приграничья конца XIX — начала XX века, по которым можно судить как сложна, интересна и в то же время опасна была служба на границе.

Произведения адресованы массовому читателю и в первую очередь тем, кому небезразлична история Отечества.

ББК 84-44

ISBN 978-5-98759-072-0

© Тютчев Ф.Ф., 2011
© Издательство «Граница», 2011

ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ ТЮТЧЕВ

Примерно тридцать лет назад, уже занимаясь творчеством Ф.И. Тютчева и его сына Фёдора Фёдоровича, в беседе с ныне покойным замечательным литературоведом Д.Д. Благим я спросил его, кто ещё в России занимается творчеством сына поэта. На что Дмитрий Дмитриевич, подумав, ответил: «Никто, кроме вас!», открыв мне тем самым дорогу к книгам так малоизвестного у нас военного бытописателя.

Не только для будущего читателя, но и для меня мало что было известно об увлекательной, захватывающей прозе полковника Тютчева, которая увидела свет ещё до Первой мировой войны и которая вместе с его гибелью в 1916 году на долгие годы была присыпана пылью забвения вместе с могилой георгиевского кавалера на Волковом кладбище Петербурга. И только 65 лет спустя в издательстве «Современник» мне удалось издать малую часть избранных его произведений. Но надо было ещё пройти трём десятилетиям напряжённых трудов и поисков того, что удалось опубликовать ещё при жизни самому автору. И вот теперь, благодаря активному труду небольшого составительского коллектива, в который вошли ещё кандидат филологических наук Н.Н. Нифагина и Л.Н. Копаницкая, ждут своего издания пять романов Ф.Ф. Тютчева, более десятка его повестей, рассказов, стихотворений, дневниковых записей и писем объёмом около пяти серьёзных томов, первый из которых уже готов к изданию. Конечно, столь замечательное новое открытие творчества великолепного русского военного бытописателя не может пройти мимо российского читателя, а тем более издателя.

*Геннадий ЧАГИН,
доктор филологических наук, писатель*



Творчество русского военного бытописателя Фёдора Фёдоровича Тютчева мало знакомо широкому кругу читателей и ещё меньше осмыслено литературной критикой. Как ни странно, но известная в литературе фамилия отнюдь не способствовала популяризации произведений талантливого военного бытописателя, сына великого русского поэта, активно сотрудничавшего с целым рядом петербургских и московских газет и журналов конца XIX — начала XX века. Можно сказать, что не только Фёдор Фёдорович Тютчев, но и в той или иной мере причастными к литературе оказались и другие дети поэта. Е.Ф. Тютчева занималась журналистикой и переводами, её старшая сестра А.Ф. Аксакова-Тютчева оставила превосходные воспоминания и дневники, вышедшие в 1928 и 1929 годах под заголовком «При дворе двух императоров» под редакцией С.В. Бахрушина и М.А. Цявловского. Дарья Фёдоровна и Иван Фёдорович Тютчевы принимали активное участие в подготовке к изданиям литературного наследия отца. Но самым одарённым в литературе среди них оказался, бесспорно, Ф.Ф. Тютчев. Современники отмечали, что в последние годы его творчества «в изящной словесности на темы военного быта он не имел себе соперников по силе выказанного таланта», унаследовав от отца «безупречный русский язык, беспретенциозность, красоту, пластичность изображения и редкую простоту замысла, рассказа... Это была крупная величина в наше безвременье среди русской беллетристики... В литературе не только военной, но и всей общей художественной литературе он оставил видный, талантливый след». И быть бы ему главным продолжателем писательской династии Тютчевых, наследником литературной известности семьи, не будь он незаконнорожденным сыном своего отца...

В самом начале 1850-х годов великосветское петербургское общество было немало шокировано случайно обнаруженной любовной связью старшего цензора Министерства иностранных дел поэта Ф.И. Тютчева с Еленой Денисьевой, племянницей инспектрисы Смольного института, в котором учились дочери Фёдора Ивановича от первого брака Дарья и Екатерина. Противозаконная любовь женатого, почти пятидесятилетнего мужчины и девушки вдвое моложе его быстро создала вокруг них полосу отчуждения. Но, в то время, как Елена Александровна и родившиеся потом её дети занимали в обществе довольно двусмысленное положение, семейная жизнь Тютчева, по крайней мере, внешне, оставалась прежней.

Старший сын поэта и Денисьевой, Фёдор, родился 11 октября 1860 года в Женеве, где в то время отдыхали его родители. Сын действительного статского советника и родовитой дворянки, хотя и получил, как и двое других их детей, фамилию отца, тем не менее как незаконнорожденный на своей настоящей родине был приписан к мещанскому сословию Петербурга.

Жизнь сурово обошлась с этой длившейся полтора десятилетия любовью Тютчева. В августе 1864 года, в возрасте всего тридцати восьми лет, не вынеся жизненных невзгод, от чахотки умирает Елена Александровна. Фёдор Иванович сразу постарел на несколько лет, ещё больше замкнулся в себе. В октябре 1864 года с чувством позднего раскаяния он пишет А.И. Георгиевскому, мужу родной сестры Денисьевой: «Память её — это чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живётся, мой друг Александр Иванович, не живётся... Гноится рана, не заживает... Будь это малодушие, будь это бессилие, мне всё равно. Только при ней и для неё я был личностью, только в её любви, в её беспредельной ко мне любви, я сознавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество...».

Дочери Тютчева приняли участие в судьбе оставшихся без матери детей. Между сестрами и Дарьей Ивановной Сушковой идёт активная переписка. «Анна пишет также и о детях и спрашивает, как лучше всего поступить с ними. Дарья думает, что лучше всего было бы поместить их в какой-нибудь хороший пансион в Швейцарии, где девочка получит здоровое воспитание, а мальчик будет подготовлен к тому, чтобы в дальнейшем зарабатывать средства к существованию. Мне кажется,



что это было бы лучше всего, но сознаюсь тебе, что мне ужасно жаль бедняжку тётушку, у которой пришлось бы забрать детей. Думаю, что во всяком случае следовало бы дать ей несколько недель отсрочки, а тогда уже подумать о будущем детей, которые в её руках могут только испортиться», — пишет Е.Ф. Тютчева Дарье Ивановне Сушковой из Аркашона 31 августа 1864 года.

Возможно, если бы так они поступили, то все трое детей были бы живы. Зная характер брата, Дарья Ивановна не совсем уверена в постоянной заботе Фёдора Ивановича о детях, и свои сомнения высказывает Е.Ф. Тютчевой: «Я верю его раскаянию, его отчаянию, но при этом я, увы, убеждена, что он же первый будет пренебрегать этими тремя детьми, забывая о них».

Екатерина Фёдоровна полностью разделяет мнение Дарьи Ивановны по поводу обучения детей: «Я совершенно с тобой согласна, что они нуждаются в здоровом и закаляющем воспитании, как для тела, так и для души. <...> Если девочка останется в Петербурге, она всегда будет связана со средой, от которой её следует оберегать, как от яда».

К сожалению, дети не были отправлены за границу. Сёстрам и самому Тютчеву не хотелось огорчать, прежде всего «бедную старушку», и Елена была пристроена в пансион m-lle Труба, как и просила, умирая, Елена Александровна. Общество, сурово осудившее Денисьеву, не пощадило и её детей. В мае следующего года — в один и тот же день, от той же болезни, что и их мать, умирают четырнадцатилетняя дочь Елена и годовалый сын Николай. Одной из причин смерти Лёли была роковая случайность, открывшая ей её незаконное происхождение.

Немым укором отцу остался четырёхлетний сын Фёдор. Даже усыновление давало мальчику слишком мало прав в том обществе, где он воспитывался. На долгие годы потом эта незаконнорожденность станет постоянным предметом озабоченности будущего писателя.

И всё-таки нерадостное детство «затёртого и засованного по углам в доме родных» ребёнка не ожесточило его душу, оказавшуюся сильной и доброй. Живой, любознательный, он рос сначала в Петербурге на руках старой няни и тётки его матери А.Д. Денисьевой, которую страстно любил и звал «бабушкой» (о чём писатель потом штрихами напишет в своём первом романе «Кто прав?»). Потом, по настоянию отца, сына отправят в Москву, к старшей дочери поэта А.Ф. Аксаковой-Тютчевой, не имевшей своих детей.

Решено было определить Фёдора в лицей Каткова, хотя сомневались в качестве «разработанной Катковым системе в повседневной действительности». Умная Анна Фёдоровна делилась своими сомнениями с отцом, который тоже был не в восторге от лицея и писал дочери, что «так называемое классическое образование это всё-таки система всеобщего отупления. Благодаря дуракам, Россия оказывается во власти педантов». Устройством Фёдора в московский лицей занимался Александр Иванович Георгиевский, муж Марии Александровны, сестры Елены Александровны Денисьевой. Он был в это время ближайшим сотрудником М.Н. Каткова (учредителем лицея в Москве), и со-редактором его в «Московских ведомостях».

Много позднее сам Фёдор Фёдорович писал о том времени: «С моего отъезда в Москву в 1870 году и до смерти Ф(ёдора) И(вановича) (1873) я видел его два раза. В первый раз в Лицее цесаревича Николая, в Москве, куда он приехал ко мне, а второй незадолго до его смерти в Петербурге...». Сколько боли и горечи, пережитых подростком и не забытых позже, скрывается за этой фразой. Но несмотря на столь редкие встречи, Фёдор продолжал горячо любить отца, гордиться им, беречь семейные реликвии, особенно те, которые относились к его матери, которую Фёдор Фёдорович всю жизнь боготворил. Именно Ф.Ф. Тютчеву мы обязаны сохранением и первой публикацией большей части стихотворений поэта, относящихся к его любовному Денисьевскому циклу.

Фёдору не исполнилось и тринадцати лет, когда он, дворянский сын в мещанском звании, оказался круглым сиротой. После смерти матери оставшийся без нормального воспитания, он теперь и вовсе лишился родительской ласки и понимания. Через пять лет после смерти отца восемнадцатилетний Фёдор Тютчев окончил лицей. В 1877 году, по совету А.И. Георгиевского, Фёдор был



отправлен Аксаковым для получения высшего образования в Лейпциг, в один из известных частных немецких пансионов. Год он проучился в русской группе. Но, видимо, и там что-то не получалось. И в юноше, почти мальчике с хрупким здоровьем, ранимым самолюбием, проснулся дух противоречия. Это были годы волнений среди немецкой молодёжи, боровшейся за свои права. Движимый общим порывом, к одному из нелегальных студенческих кружков примкнул и русский студент Фёдор Тютчев. Видимо, не без помощи полиции, весть об этом вскоре дошла до Москвы. По просьбе мужа Анны Фёдоровны, И.С. Аксакова, за юношей отправляется А.А. Лебедев и вскоре Фёдор Тютчев оказывается в Праге, где его, ещё год, в семье священника будут воспитывать в духе послушания и прилежания. Так и закончились студенческие годы Ф.Ф. Тютчева. К сожалению, жизнь его в Лейпциге мало известна. «Он сам не любил об этом вспоминать, так как, будучи впоследствии военным, естественно считал свои юношеские увлечения несколько предосудительными. Но, во всяком случае, время его пребывания среди революционной молодёжи Лейпцига наложило на него отпечаток, и он всю свою жизнь сохранял либеральный образ жизни, не будучи в силах мириться со многими порядками, царившими у нас в царской России», — отметила младшая дочь Ф.Ф. Тютчева Надежда.

Можно представить себе и среду, и обстановку, в которой рос Фёдор Тютчев. И всё-таки даже предубеждённый к юноше Аксаков справедливо замечал, что, возможно, «из него выйдет поэт, сочинитель, но разочарованный...». По свидетельству Аксакова, Фёдор пытался заниматься и живописью, но очень поверхностно, и опекун был уверен, что Фёдор ничего не достигнет на этом поприще. «Мне кажется, — заключил после всего этого Аксаков, — что Феде одна карьера — поступить вольноопределяющимся в полк».

Не достигнув девятнадцати лет, Фёдор Тютчев начинает самостоятельную жизнь. В июне 1879 года он вступает вольноопределяющимся в Первый Московский драгунский полк. А 1 сентября того же года он зачисляется в Тверское кавалерийское юнкерское училище. Этой же осенью дождавшаяся наконец встречи с единственным внуком петербургская «бабушка» обшивает и экипирует Федю на деньги, присланные опекунами Аксаковыми. В послужном списке полковника Фёдора Фёдоровича Тютчева его пребывание в училище скупо характеризуется несколькими фразами:

«18 августа 1879 года зачислен в Тверское кавалерийское юнкерское училище для прохождения курса наук.

18 июня 1880 года разрешено по слабости зрения носить очки.

11 октября 1880 года стал унтер-офицером.

14 августа 1881 года переименован в прапорщики и исключен из списков училища.

11 ноября 1881 года уволен в запас из армии».

Начало военной службы можно считать и началом его литературного творчества. Юнкер Тютчев много читает, занимается самообразованием, вечерами, уединившись, ведёт записи в тетрадь-дневниках. В конце концов страсть к сочинительству всё пересиливает, и Тютчев, аттестуясь на подпрапорщика, в 1881 году сразу по окончании Тверского кавалерийского училища увольняется в запас.

Воспоминания о пребывании в стенах училища сложились в повесть «По жребию» (из былых времён кавалерийского училища), вышедшую в свет в 1906 году.

Испытывая глубокую тягу к литературному труду, Фёдор Фёдорович связывал свои дальнейшие планы с возможностью службы в каком-нибудь печатном органе. Вскоре он получает предложение от издателя организуемой в Петербурге газеты «Свет» и даёт согласие работать в ней секретарём. Работа в редакции газеты была каторжной. Тютчев сильно уставал.

К напряжённой работе его обязывала и семья. В 1882 году Фёдор Фёдорович женился. В своём первом автобиографическом романе «Кто прав?» он называет жену Мари.

5 апреля 1884 года у Тютчевых родилась первая дочь, названная отцом в честь своей горячей любимой матери Еленой, а через два года, 10 июля, вторая дочь — Надежда. Материальное поло-



жение семьи усугублялось ещё и тем, что Фёдор Фёдорович давно отдал в долг весь свой капитал в 9000 рублей, но так и не смог получить его обратно — бывший приятель жестоко обманул его.

Тютчева, по старой дружбе с его отцом, поддерживали известные поэты Я.П. Полонский и А.Н. Майков. Яков Петрович даже пытался устроить Тютчева на должность в Обществе взаимного поземельного кредита на жалованье в 33 рубля в месяц. Но служба мелким чиновником для вкисившего плоды некоторой известности литератора уже не устраивала Фёдора Фёдоровича.

Почти пятилетие напряжённой работы в газете «Свет» не принесло молодому журналисту удовлетворения. Темы в газете мельчали, все более проникались черносотенным духом, времени же для серьёзной работы не оставалось. Всё это и обусловило его решение вновь поступить на военную службу. К тому же внезапно обострилась лёгочная болезнь жены, и врачи настоятельно советовали сменить сырой петербургский климат. И он решает вновь избрать военное поприще.

6 июля 1886 года Тютчев переименован вольноопределяющимся 2-го разряда по образованию.

С тех пор, за тридцать пять лет во всех отношениях примерной службы, Ф.Ф. Тютчев пройдёт трудный путь от вольноопределяющегося до полковника. Только смерть прервёт эту нередко полную опасностей, насыщенную множеством событий жизнь замечательного человека, большого патриота своей родины, про которого его подчинённые, солдаты говорили, что он «крутом хороший».

19 сентября 1887 года зачислен в запас армейской пехоты с производством в подпоручики, а 7 сентября 1888 года, после почти полутора лет хлопот, определён вновь на службу в Пограничную стражу с переименованием в корнеты и буквально через десять дней назначен субалтерн-офицером на границе с Пруссией, в Ченстоховскую бригаду. Российская пограничная стража, которая, как он узнал, была во многом схожа порядками со службой в кавалерии, которая ему нравилась ещё с юнкерского училища. Для перехода в пограничники были и другие причины. Фёдор Фёдорович понимал, что военному нужен твёрдый характер, поэтому никогда не давал себе расслабляться, пасовать перед трудностями. Кроме того, в военной службе ему импонировала известная доля опасности. Всего этого с лихвой хватало в Пограничной страже. И что ещё было немаловажно — пограничные офицеры гораздо лучше обеспечивались материально. Значительная часть средств от задержанной контрабанды официально передавалась им на руки.

Ему уже под тридцать... Отныне на многие годы ему станут близкими одиночные пограничные посты, малочисленные отряды русских солдат, расположенные вдоль границы, чаще всего в захолустных, никогда не посещаемых начальством местах. Один из таких постов в горах, на линии вечных снегов, он потом в мельчайших подробностях опишет в одноименном рассказе.

В суровых условиях существования и быта пограничного офицера, тяжело было содержать семью. Чуть больше года смогла прожить в болотистой местности слабая здоровьем жена. «Кто мог предвидеть, шесть лет тому назад, когда мы весёлые и здоровые венчались с нею в небольшой, залитой огнями уютной церкви, эту ужасную картину. Мог ли я думать тогда, что придёт день, и я повезу её, как нищую, в простой телеге, под конской рогожей, глухою лесною тропею... Какая злая ирония, и как скоро, незаметно скоро промелькнула жизнь...», — так фотографически точно описывал Тютчев своё состояние в тот момент в автобиографическом романе «Кто прав?», впервые опубликованном в Москве в 1893 году.

В 1890 году Фёдор Фёдорович переводится в штаб корпуса пограничной стражи помощником старшего адъютанта. Тоска, беспокойство на душе гонит его всё дальше. Едва проходит два-три года, и его новый рапорт о переводе к новому месту службы удовлетворяется. В 1893 году Тютчев привозит девочек в Петербург к сестре матери, а сам отправляется в Закавказье, где участвует в создании Пограничной стражи на границах с Турцией и Ираном. Живя в диких и пустынных местах Закавказья, Фёдор Фёдорович изучает быт и нравы местных жителей, запечатлевая их в целом ряде рассказов и повести «Беглец». Тут же зарождается у него мысль написать большой исторический роман «На скалах и долинах Дагестана», что он и приводит в исполнение несколько позже.



Надо сказать, что во время этого приезда в Петербург Фёдор Фёдорович знакомится с молодой дочкой купца Абрасимова, Анной Александровной Абрасимовой, которая уезжает за ним на Кавказ и становится его женой. На Кавказе он проживает безвыездно почти 7 лет. За эти годы Тютчев успешно продвигается по службе. С годами приходит и командирский опыт. Старательного к службе офицера начинает замечать начальство и ему начинают поручать командование небольшими пограничными отрядами. В его послужном списке появляются новые города и местечки:

«29 января 1894 г. переведен в Эриванскую бригаду исполняющим должность отрядного офицера.

12 ноября 1894 г. назначен командующим Зорским отрядом.

2 мая 1895 г. назначен командующим Джульфинским отрядом.

18 марта 1897 г. назначен командующим Азинским летучим отрядом.

13 апреля 1897 г. удостоен чина штабс-ротмистра».

Шахтактин, Кивраг, Саганлык, Оргов — это лишь малая часть названий населённых пунктов, в которых он служил. Правило для пограничных офицеров — не задерживаться долго на одном месте — кадровые органы пограничных войск строго соблюдали вплоть до середины уже XX века, полного расцвета советской власти. Но по-прежнему, не теряя времени даром, Тютчев изучает быт, обычаи и даже языки местных жителей. И при этом задумывает новые произведения уже своего кавказского периода.

Служба на Кавказе не всегда была спокойной, часто бывали стычки с горцами. В апреле 1898 года уже в чине штабс-ротмистра Тютчев награждается первым орденом — Св. Станислава III степени, а через год переводится в Петербург, в штаб Отдельного корпуса пограничной стражи, уже ротмистром.

В 1900 году Тютчев с женой переехал в столицу и поступил в штаб Отдельного корпуса пограничной стражи. Переезд в столицу позволял заняться личной жизнью, обнять совсем повзрослевших дочерей. Вновь он пытается пристроить в редакции всё, написанное за десятилетие. В 1899 году появляется в печати второй том «Избранных сочинений» — сборник «На границе». Почти одновременно выходят в свет романы «Беглец» и «На скалах и долинах Дагестана». Публикуется эссе-воспоминание «Фёдор Иванович Тютчев», вышедшее к столетнему юбилею поэта.

О том, как автору давались подобные публикации, говорят его редкие дошедшие до нас письма в редакции и издательства: «Простите великодушно, что я беру смелость утруждать вас, — пишет он одному из известных публицистов и редакторов того времени В.П. Буренину, — но если бы вы знали, какое большое значение имеет для меня напечатание моего рассказа, вы бы отдали справедливость моему терпению...» — «Мне крайне совестно и я бы ни за что не воспользовался бы вашим любезным разрешением, если бы не действительная нужда в деньгах в эту минуту», — пишет он тому же лицу в другом письме.

«1 апреля 1901 года Тютчев удостоен чина ротмистра.

27 октября 1901 года — назначен помощником старшего адъютанта штаба корпуса.

14 апреля 1902 года награжден орденом Св. Анны 3-ей степени».

Вскоре после выхода в свет его главных произведений того времени, опять последовали изменения в судьбе их автора. Спокойной службы в столице не получилось. Развернулись события на Дальнем Востоке, началась война с Японией. Когда беда стала грозить Родине, Тютчев, не колеблясь, сделал всё, чтобы попасть в ряды её защитников. 27 января 1904 года японский флот вероломно напал на русскую эскадру в Порт-Артуре, начав тем самым Русско-японскую войну. А уже через три недели сорокатырёхлетний ротмистр, несмотря на солидный возраст, по тем временам, подаёт рапорт с просьбой отправить его в Дальневосточную армию.



Вскоре приказом от 17 февраля 1904 года Тютчев переводится в Первый аргунский полк Забайкальского казачьего войска и переименуется в есаулы. Надо сказать, что уже тогда Фёдор Фёдорович имел добрую привычку вести походный дневник. В нём, в частности, интересно описан долгий путь офицера на Дальний Восток, переправа его по льду озера Байкал.

Всю военную службу Фёдор Фёдорович не переставал сотрудничать во многих известных тогда периодических изданиях — «Русском вестнике», «Историческом вестнике», «Военном сборнике», журналах «Природа и люди», «Разведчик», «Паломник», «Нива», «Живописное обозрение», многих петербургских и московских газетах. Его рассказы, короткие зарисовки, репортажи с военных учений и театров военных действий всегда ожидалось с интересом читателями. Вот и на этот раз он отправлялся на Дальний Восток с удостоверением в кармане специального корреспондента газеты «Новое время».

«Я еду корреспондентом от «Нового времени», — пишет он А.Е. Зарину, — получил корреспондентскую карточку и аванс. <...> Еду я 22 февраля в 9 ч. вечера по Николаевской дороге. <...> Буду очень рад, если Вы урвёте минутку и приедете на вокзал», — и здесь же шутиливо добавляет в постскрипуме: «Если убьют, я надеюсь, Вы не откажетесь написать в газетах некролог. Я беру в том от вас слово». Все литературные дела свои он перепоручил своей второй жене Анне Александровне.

Вскоре в прессе появятся его лаконичные, правдивые корреспонденции, чаще всего под псевдонимом ЭФТЭ. В его первой публикации он знакомит читателя с Антониной Васильевной Петровой, которая в 19 лет, движимая патриотическим чувством, ушла из г. Саратова с 3-м батальоном 36-го стрелкового полка. Легко одетая, в 18-градусный мороз перешла с солдатами пешком Байкал, слегка обморозив себе лицо и руки. Но по прибытии в Харбин оказалась не у дел, так как не была причислена ни к одному отряду. Офицеры 3-го батальона, тронутые её великодушным порывом, выхлопотали для неё разрешение поступить в отделение Красного Креста. Эта история впоследствии послужила основой для романа «На призыв сердца».

Подписывать газетные материалы, статьи, а нередко рассказы и даже повести инициалами Ф.Т. или ЭФТЭ — это тоже типично тютчевское. Так зачастую, проявляя излишнюю скромность, поступал поэт. И понятно в этом случае стремление сына в память о нём продолжить традицию, пусть даже и разнятся мотивы публикаций. Отец — стыдится популярности стихотворца, сын — огромным трудом завоёвывает популярность литератора.

Движимый патриотическими чувствами, не без основания считая себя опытным офицером-командиром, он хотел поскорее применить свой опыт в военном деле.

С середины апреля 1904 года есаул Тютчев находится в отряде генерала Мищенко, потом в кавалерийской дивизии графа Келлера. Знакомство с генералом Мищенко произвело на Тютчева огромное впечатление. Как военный и офицер он ценил его за храбрость, желание служить родине, а не искать выгод на войне.

На боевых позициях, во главе сотни казаков Аргунского полка Тютчев участвует в разведках боем, не раз показывая образцы личной храбрости.

Особенно удаётся одна из таких боевых вылазок. Во главе добровольцев из Читинского полка под прикрытием двух рот Омского полка вывозит из-под самого носа противника большую группу раненых воинов, уже потерявших всякую надежду на спасение.

Командование отмечает боевого офицера, солдаты уважают, любят своего командира, без страха следуют за ним в самые опасные вылазки. 6 августа 1904 года есаул Тютчев за отличия в боях против японцев награждается орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость». 15 октября 1904 года — за отличия в делах против японцев он награжден орденом Св. Станислава II степени с мечами. 28 октября 1904 года за отличия в делах против японцев Тютчев произведён в



войсковые старшины. 30 ноября 1904 года за отличия в делах против японцев награждён орденом Св. Анны II степени с мечами.

Его вскоре переводят в штаб главнокомандующего, но и там, используя любую возможность, он стремится не пропустить ни одного сражения.

Но несмотря на повсеместный героизм русских солдат и офицеров младшего звена, война уже была безнадежно проиграна командованием во главе с генералом Куропаткиным. В своих корреспонденциях Тютчев пытался указать на отдельные причины этого поражения. В частности, он пишет о прекрасной осведомлённости с помощью шпионажа японцев, успевающих нанести упреждающие удары по русской армии. Противнику помогала и нерешительность командующего, постоянно медлящего с отдачей приказов.

Храбрый, скромный боевой офицер Тютчев с достоинством делал своё трудное дело. «В одной из разведок, — по воспоминаниям его дочери Надежды Фёдоровны, — ему пришлось ранней весной переплывать верхом горную речку, он сильно простудился и заболел, но эвакуироваться не захотел, и, оправившись после болезни, остался в штабе генерала Куропаткина. Только после заключения перемирия он вернулся в Россию и был послан на казённый счёт лечиться на юг Франции, в Канны (у него открылся туберкулёз лёгких)».

Через полгода Тютчев получает возможность по болезни побывать в отпуске. Вновь был знакомый до мелочей Петербург, несколько недель наслаждения домашним уютом, встречи с родными... А потом снова был Дальний Восток. 3 марта 1906 года он получает последнюю за эту войну награду — орден Св. Владимира IV степени с мечами и бантом — и в середине июля командировается опять в Отдельный корпус пограничной стражи с переименованием в подполковники.

Вновь потянулись на первый взгляд обычные будни границы. Тютчев опять на западных рубежах России, командует Скулянским, а потом Цаганским пограничными отрядами. В конце 1906 года ему поручают писать историю Таурогенской пограничной бригады, для чего переводят в её штаб начальником отдела. Тютчев добросовестно трудится и собирает большой материал о подвиге Архипа Осипова в 1840 году, в честь которого деревня Вуланская по просьбе жителей в 1889 году была переименована в Архипо-Осиповку. Четыре последующих года он много занимается литературной работой, несмотря на неудовольствие своего начальства, заканчивает две повести из военного быта минувшей войны.

Он готов согласиться на любые условия, диктуемые издательством, о чём пишет профессору П.Н. Штейнбергу, управляющему издательством П.П. Сойкина. В этом издательстве регулярно выходили рассказы Тютчева. «Посылаю Вам материалы. Заранее соглашаюсь на все условия, которые предложит глубокоуважаемый Петр Петрович, зная из долголетнего с ним знакомства, что он никогда не эксплуатирует тех, кто имеет честь работать в его изданиях».

Готов и исторический рассказ «На призыв сердца», который Тютчев хочет опубликовать в «Историческом вестнике». Это даже не рассказ, а исторический факт, взволновавший многих в армии. В этом рассказе вымышлены только имена. В письме к Б.Б. Глинскому Тютчев просит его подействовать помещению рассказа в журнале.

«Если мой рассказ, к моему огромному удовольствию, удостоится принятию в «Историческом Вестнике», то я заранее предоставляю редакции полное право на всякого рода исправления, сокращения, за что впредь приношу свою признательность», — пишет Фёдор Фёдорович в письме от 15 декабря 1911 года и в постскриптуме добавляет: — «Почти все эпизоды, как, например, сцены при отступлении от Мукдена — истинные факты. Вообще, эта повесть не плод фантазии, а почти исторический документ».

В 1911 году он перевёлся в Черноморскую бригаду, в Новороссийск, где работал над последним своим романом «Финал или увертюра», который был почти готов и с публикацией которого Фёдор Фёдорович многого для себя ожидал. «Удачный выход книги, — писал он Е.А. Ляцкому, редакто-



ру журнала «Современник», где планировал впервые обнародовать свой последний труд, — будет иметь решающее для меня значение, выйти ли мне в отставку».

Начало империалистической войны и последовавшую за ней мобилизацию Фёдор Фёдорович встретил, находясь в отпуске в Архангельске у родственников своей второй жены.

«В своём дневнике он подробно описывает свои переживания при известии об объявлении войны и ту борьбу, которая происходила в нём между стремлением его на передовые позиции и страхом не смерти, конечно, он её никогда не боялся, а боязнью, что с его расшатанным здоровьем ему не вынести тягот войны», — пишет его дочь Надежда.

Однако его патриотизм взял верх, и он пишет отчаянные письма с просьбой перевести его в действующую армию.хлопоты эти увенчались успехом, и он был переведён на Западный фронт.

28 июля 1914 года он возвращается к месту службы, сократив отдых. 54-летний подполковник назначается командиром 2-го эксплуатационного батальона Кавказской парковой конно-железной бригады. Хотя подобное назначение в таком возрасте многие посчитали бы почётным, Тютчев принял его как личную обиду.

После долгих просьб ему всё-таки удаётся получить назначение в действующую армию. В октябре того же года он прибывает в прифронтовую полосу. Но, ещё не приступив к обязанностям военного коменданта местечка Заболотье, он назначается командиром батальона в 36-й Орловский полк и в ноябре уже ходит в штыковые атаки во главе батальона. За особенно тяжёлый бой 8 декабря 1914 года, в котором его батальон наиболее успешно атаковал неприятельские позиции и захватил много пленных, подполковник Тютчев награждается почётным Георгиевским оружием.

П. Белавенец, современник Тютчева, много раз просил его рассказать об обстоятельствах, при которых он получил эти награды, однако из скромности Фёдор Фёдорович постоянно уклонялся. Совершенно случайно в руки П. Белавенца попадает письмо Тютчева к его другу Василию Яковлевичу, где он описывает, за что был награждён Георгиевским оружием. «Я не больше герой, чем десятки тысяч наших офицеров, и только исполнил, как умел, свой долг, и если меня нашли достойным так щедро наградить, то это я приписываю исключительно счастливому для меня случаю», — пишет Ф.Ф. Тютчев. В его письме он больше отдаёт дань мужеству и храбрости своих товарищей. «Грануло «ура!» и мои молодцы, с ружьями наперевес, как один человек, бросились за мною из леса, на неприятеля. Удар был так стремителен, что в несколько минут мы смели австрийцев из их первых окопов. Они бежали в паническом страхе. Некоторые попытались было задержаться во втором ярусе окопов, но преследовавшие их по пятам солдаты моих рот без труда выбили их оттуда», — так скромно описывает свой подвиг Тютчев.

Весной 1914 года в «Военном сборнике» начали печатать роман Ф.Ф. Тютчева «Финал или увертюра». Выпустив три номера, редакция прекратила его печатание под предлогом, что началась война, и стало очень трудно с бумагой. Роман большой и его пришлось бы растянуть на очень большое количество времени, т.к. в каждом номере приходилось уделять беллетристике небольшое количество листов. Но есть и другая причина. Роман по тем временам считался очень либеральным, а во время войны для военного журнала он был не совсем подходящим.

С февраля 1915 года как пограничный офицер он переводится в Сводный конный пограничный полк заместителем командира, участвует во главе его в знаменитых атаках русской кавалерии, наводящих ужас на противника. В мае 1915 года в бою у местечка Бергамет немецким снарядом, разорвавшимся поблизости, Тютчев был контужен в голову и ранен в левую ногу. Отлежавшись, он так и не отправился в госпиталь, продолжал руководить боем, но это ранение боевому командиру, которому месяц спустя за отличия было присвоено звание полковника, не прошло даром.

(Ирония судьбы — чин полковника давал ему наконец право на потомственное дворянство, сравнивал его в положении с родителями и с родственниками. Но этим правом он так и не успел воспользоваться.)



Всё чаще Тютчев прибегал к лечению, не помогли ни трёхмесячный отпуск, ни назначение на более лёгкую тыловую должность. Всё-таки он по-прежнему добивается отправки на фронт, мечтая, если и умереть, то, как подобает воину — в седле, в одной из кавалерийских атак. Его любимой поговоркой становятся строки из стихотворения Гёте: «Mut verloren — alles verloren» («Потерял мужество — потерял все...»). Но к тому времени, из-за сильной усталости, силы его стали сдавать и, как писала его дочь Надежда, «именно это “Мот” было потеряно, и сразу угасла его жизненная энергия. Уезжая, он прощался с нами навсегда, он надеялся, что весной, когда начнётся всеобщее наступление, в одном из боёв он будет убит, т.к. жить он больше не хотел». И ему как будто вновь «везёт» — он назначается командиром 317-го Дрисского пехотного полка, но через два дня, 9 февраля 1916 года, по дороге в полк, в полевом военном госпитале в городке Бердичеве Фёдор Фёдорович внезапно скончался от старых ран.

Друзья и родственники перевезли тело его в Петроград и похоронили на Волковом кладбище, рядом с могилами матери Елены Александровны Денисьевой, её тётки, сестры и брата. Ещё в начале 1930-х годов могилу его обрамляла красивая чугунная решётка, которая уже в сороковых годах вместе с памятником Е.А. Денисьевой была разрушена. Можно добавить, что в 1980-х годах ленинградцами был восстановлен общий памятник на могиле Тютчевых-Денисьевых, установлена памятная доска. Анна Александровна Тютчева скончалась в 1924 году, а дочери Фёдора Фёдоровича — в 1960-х годах.

В одном из некрологов вместе с военными заслугами полковника Ф.Ф. Тютчева отмечались и его литературные успехи: «Предметом покойного писателя была изящная словесность на темы из военного быта. И, надобно сказать правду, он не имел себе соперников на этом поприще в последние годы (1912—1916) по силе высказанного таланта. От отца, известного поэта, он наследовал, бесспорно, свой талант: безупречный русский язык, красоту, пластичность изображения и редкую простоту замысла... Это была крупная величина в нашем безвременьи среди русской беллетристики... Текущая война потеряла в Ф.Ф. одного из правдивых и чутких своих изобразителей. В литературе не только военной, но и во всей общей русской художественной литературе он оставил видный, талантливый след».

A decorative border made of stylized, symmetrical floral and leaf motifs, framing the central text.

БЕГЛЕЦ

Роман из пограничной
жизни

В оформлении использованы иллюстрации художника А.А. Чикина к роману «Беглец», опубликованному в издании П.П. Сойкина (г. Санкт-Петербург, 1902 г.)



Бродяга



1876 году в один жаркий июльский день, верстах в 7 от города Нацвалли, по глухому мрачному аладжинскому ущелью, служащему вместе с протекающей по нём рекой Араксом границей России с Персией, пробирался молодой человек лет 19—20, одетый в жалкое рубище армянина-поселенца: короткий полукафтан верблюжьего сукна, с бесчисленным множеством прорех, ситцевый бешмет и чуваки. Голова была покрыта засаленной тушинкой¹. По тому, с каким трудом, опираясь на толстую суковатую палку, передвигал он свои ноги, можно было судить о том далёком и тяжёлом пути, который он сделал раньше, чем попасть в эти мертво-неприветные места.

Лицо незнакомца, с небольшими усиками и едва пробивающейся бородкой, могло бы назваться очень красивым, если бы не было так страшно изнурено и покрыто, как корой, слоем пыли и грязи. Ввалившиеся щёки и глубоко запавшие глаза придавали ему вид человека или только недавно перенёсшего тяжёлую болезнь, или сильно истомлённого голодом.

По мере того как путник продвигался вперёд по тропинке, извивавшейся между жёлто-красными громадами скал, лишённых всякой растительности, силы, очевидно, оставляли его: он изредка останавливался, чтобы перевести дух, и затем снова брёл вперёд, едва-едва ступая наболевшими, покрытыми ранами и ссадинами ногами.

Налетавший изредка ветерок не приносил облегчения, а только обжигал лицо своим горячим дыханием. От раскалённых камней отдавало зноем, который, наполняя воздух, казалось, готов был испепелить мозг и душу человека.

Изнурённый и обессиленный незнакомец присел на камень и с трудом вытянул ноги. Все тело его ныло от нечеловеческой усталости, во рту пересохло, язык потрескался, голова кружилась от голода и жажды.

Долго ли просидел он так, склонив голову на грудь и полузажмурился наболевшие от яркого света глаза, он не мог дать себе отчёта. Из полубессознательного





состояния, в котором он находился, его вывело раздавшееся где-то поблизости глухое ржание катера².

Незнакомец встрепенулся, поднял голову, прислушался и, как бы сообразив что-то, торопливо поднялся с камня и побрёл в ту сторону, откуда раздавалось ржание. Пройдя несколько саженей и обогнув прихотливо нависшую над тропинкой массивную скалу, слепленную из мелкого красного песчаника, он увидел перед собой небольшую круглую глубокую котловину, окружённую со всех сторон, как стеной, высокими отвесными скалами. Защищённая от палящих лучей солнца котловина эта представляла прохладный, уютный, тенистый уголок. По дну её, вырываясь из расщелины скалы, бежал сверкающий ручеек, образуя в одной из впадин прозрачно-хрустальный, холодный, как лёд, водоём, с усыпанным мелкими разноцветными камешками дном.

При виде воды путник невольно вскрикнул от радости и, забыв всякую усталость, бросился к водоёму. Долго пил он, погрузив своё опалённое зноем лицо в холодные струи, когда же, наконец, напившись вволю, он поднял голову, глаза его встретились с другой парой чёрных, пронизательных глаз, пристально устремлённых на него из-под нависших седых бровей. Глаза эти принадлежали худощавому старику, одетому, как одеваются богатые армяне на Закавказье — в чёрную шерстяную черкеску, с высоко нашитыми на ней газырями³ и подпоясанную серебряным чешуйчатым поясом, с прицепленным на нём кинжалом в серебряных ножнах и кожаной, украшенной серебром кобурой, из которой выглядывала ручка револьвера, на узенькой галунной тесёмке через шею. На коротко стриженную голову старика была надвинута по самые уши высокая конусообразная шапка-персианка из мелкого блестящего, чёрного барашка. На ногах были надеты обшитые золотым шнуром чувяки. Сморщенное, худощавое лицо старика, с крючковатым толстым носом, похожим на клюв хищной птицы, было гладко выбрито, длинные седые усы закрывали рот и спускались ниже подбородка.



Старик сидел, свернув ноги калачиком, на разостланном коврике и закусывал мелко накрошенным паныром⁴ с лавашом, запивая свой неприхотливый завтрак красным местным вином из большой тёмной бутылки.

В нескольких шагах, с надетой на голову торбой с ячменём, стоял рослый красивый катер изжёлта-белой масти, оседланный куртинским седлом, ярко-малиновый бархатный чепрак которого был расшит цветным шёлком, а широкие медные стремени украшены изящной насечкой, на шее катера висело красное сафьяновое ожерелье, вышитое синими и белыми бусами, с пришитым к нему амулетом в виде кожаной ладанки, украшенной ракушками, — защита от дурного глаза. Сзади седла были приторочены большие, туго набитые ковровые хурджины⁵.

— Кто ты такой? — спросил армянин ломаным русским языком, пристально рассматривая молодого человека.

— А зачем тебе это знать? — уклончиво ответил тот, опускаясь против него в тени у водоёма, с угрюмой жадностью изголодавшегося человека поглядывая исподлобья на сыр, хлеб и вино, лежавшие перед армянином.

— Зачем?! Ни зачем, так спросил, если не хочешь — не говори! — сказал равнодушно старик, снова принимаясь за еду.

С минуту оба молчали.

— Послушай, бабай⁶, — глухим голосом проговорил наконец молодой человек, — дай мне немного сыру и хлеба, я умираю с голоду. Пожалуйста!

— Изволь, дюшэ мой, изволь, пожалуйста! — добродушно протянул ему старик остатки своего завтрака и наполовину недопитую бутылку с вином. — Кушай на здоровье! Карапет Мнацеканов чиловек добрый, пачему не дать, когда сам сыт. Кушай всё. Оставлять ни надо!

Но молодой человек ничего и не думал оставлять. В один миг он доел весь сыр, который оставался в мешочке, подобрал все крошки лаваша и двумя глотками опорожнил бутылку. Всё время, пока он ел, армянин не спускал с него пристального, внимательного взгляда.

— Ну, спасибо тебе, бабай! — повеселевшим голосом произнёс молодой человек, возвращая порожнюю бутылку. — Теперь немного подкрепился, можно и дальше в путь. Скажи, пожалуйста, — продолжал он, — граница отсюда близко?

— Близко, часа через полтора дойдёшь, а ты разве в Персию?

— В Персию, а ты?

— Я тоже в Персию! — ответил, немного подумав, армянин.

— И тоже, как я, не через таможеню, а прямо через границу? Отлично, мы, стало быть, попутчики! Пойдём вместе, хочешь?

— Я на катере, ты пешком, как же мы пойдём вместе? — уклончиво отвечал Карапет Мнацеканов, недоверчиво поглядывая на молодого человека.

— Об этом не беспокойся, я пеший! От твоего катера не отстану, в дороге же я могу тебе пригодиться!



Армянин сомнительно покачал головой.

— Чем, дюшэ мой, ты мне можешь пригодиться, мой сыр-лаваш кюшать? — усмехнулся он, лукаво прищуриваясь.

— Смейся, а дай-ка мне ружьё в руки, я тебе покажу, чем я могу быть тебе полезен. Ты ведь, наверно, сам стрелять не умеешь?

— Почему ты так думаешь? — немного как бы обиделся старик.

— А потому, что вы, армяне, вообще плохо стреляете. Это я в полку заметил. Грузины и имеретины стрелками на службу приходят, а вас, армян, учат, учат, а всё толку мало!

— Ты беглый солдат? — встрепнулся Карапет.

— Почему солдат?

— А ты же, дюшэ мой, говоришь: «у нас в полку» — стало быть, ты сам из полка!

— Пусть будет по-твоему, из полка, так из полка, — согласился молодой человек, — не в этом дело, а в том, чтобы ты взял меня с собой. Раз ты едешь в Персию, тебе такой человек, как я, будет кстати. Там ведь то и дело разбойники попадают, дай мне своё ружьё и не бойся, никого близко не подпущу!

— А ты хорошо стреляешь?

— Говорю, дай в руки ружьё — увидишь!

Армянин встал, подошёл к своему катеру и, вытащив из чехла почти новую, хорошо содержанную магазинку Пибоди, какими в то время перевооружалась турецкая кавалерия, подал её молодому человеку.

— Куда же ты стрелять хочешь?

— А вон, видишь, орёл сидит на круче! — сказал молодой человек, указывая пальцем на большого рыжего орла, нахохлившегося на скале. С того места, где они стояли, орёл был виден не весь, так как был заслонён камнем, из-за которого выглядывала только его голова и часть спины.

— Ну, дюшэ мой, это ты хвастаешь, в орла ты не попадэш. Далеко очень и видно его плохо, голова одна. Нэт, дюшэ мой, стреляй другое!

Вместо ответа молодой человек вскинул ружьё и начал медленно и внимательно прицеливаться.

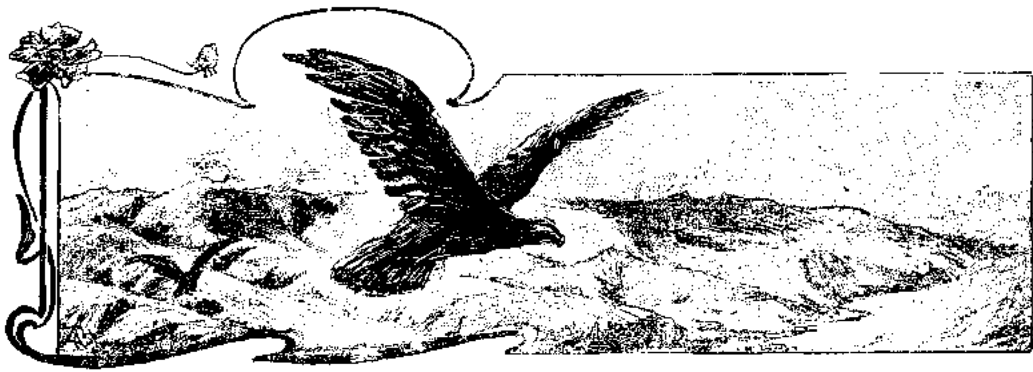
Прошло несколько мгновений томительного ожидания, и вдруг грянул резкий, отрывистый выстрел, гулками перекатами прокатившийся по скалам.

Орёл, встрепенувшись всем телом и сильно взмахнув крыльями, стремительно взвился вверх, описывая широкий круг.

— Говорил, дюшэ мой, нэ попадэш, вот и не попал! — торжествующе произнёс армянин.

— Если ружьё правильно бьёт — попал! — со спокойной уверенностью произнёс молодой человек, внимательно следя за орлом, рассекавшим воздух широкими и торопливыми взмахами крыльев. Вдруг могучая птица как-то странно, не





по-орлиному затрепыхалась на одном месте и начала сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее спускаться вниз, беспомощно и беспорядочно махая крыльями.

Через минуту она уже билась на камнях ближайшей скалы в тщетных усилиях вновь подняться. Вытягивая шею и раскрывая клюв, орёл судорожно сжимал и разжимал острые когти, царапая ими камни, по временам он издавал глухой предсмертный крик, которому где-то высоко-высоко вторил другой орёл.

— Ну, что? — торжествующе спросил молодой человек, поворачивая своё лицо к армянину. — Видишь, попал!

— Усташ, усташ⁷! — потрепал тот его по плечу. — Молодец, дюшэ мой, большой молодец. В самом деле, давай вместе поедём, ты ружьям бери, если разбойник ходить будет, стреляй его, дюшэ мой, как орла стрелял, хорошо будет!

— Ну, вот и отлично! — обрадовался молодой человек. — Стало быть, можно и в путь трогаться!

КАЗНЬ ОГНЁМ

Час спустя через один из бродов на реке Араксе, версты три ниже Аладжинского казачьего поста, осторожно переправлялись, сидя вдвоём на одном катере, Карапет Мнацеканов и молодой человек, которого Мнацеканов называл Иваном, решив про себя, что он, наверно, русский беглый солдат.

Неглубокий в этом месте, но чрезвычайно быстрый и бурный Аракс с оглушительным грохотом яростно катил свои жёлто-мутные волны, угрожая ежеминутно опрокинуть и катера, и его всадников в пенящуюся пучину. На середине реки напор волн был так силен, что катер на минуту было приостановился, как бы не решаясь идти дальше.

— Шутора, шутора⁸! — закричал на него Карапет, замахиваясь концом ремennого повода.

Катер затряс ушами и рванулся вперёд, упираясь всей грудью против стремительного течения. Вода достигла седла, но через несколько саженьей она начала



быстро убывать, и с каждым новым шагом катер стал как бы вырастать под всадниками. Вот показалось его отвислое брюхо, за ним ноги до колен, колени, ниже колен, и, наконец, весело пофыркивая, он мелкой рысцой благополучно выбрался на противоположный крутой осыпающийся песчаный берег.

— Ну, теперь надо глядеть во все глаза, — боязливо оглядываясь, произнёс Карапет, — тут как раз разбойников встретить можно!

— Не бойся, старик, — со спокойной самоуверенностью ответил его спутник, закладывая патроны в магазинку, — у нас, у русских, есть пословица: «Бог не выдаст, свинья не съест». Понимаешь?

Карапет утвердительно мотнул головой, и оба, не теряя времени, пустились в дальнейший путь.

Монастырь св. Стефана, куда направлялся теперь Карапет Мнацеканов, — одна из древнейших армянских святынь, и в своё время имел большое значение как оплот христианства среди враждебных ему мусульман.

Монастырь этот, воздвигнутый среди пустынных гор, со всех сторон был окружён дикими курдскими племенами, исключительно занимавшимися разведением бесчисленных стад овец и разбоем. Надо было много такта, ловкости и хитрости со стороны отцов — настоятелей монастыря, чтобы оставаться целыми и невредимыми, живя бок о бок с такими беспокойными, кровожадными и алчными соседями. Только грозная власть Суджинского владетельного хана Чингиз-аги, с которым монастырь, ценой частых и обильных бэшкэшей⁹, поддерживал дружбу, да страх перед близкой православной Россией сдерживали разнузданные толпы дикарей, всегда готовых с огнём и мечом обрушиться на монастырь, представлявший для них лакомую и, в сущности, лёгкую добычу.

Солнце приближалось к западу, когда Мнацеканов с Иваном подъехали к высоким стенам монастыря, окружённого со всех сторон густо разросшимися тополями, каштанами и норбандами, дававшими густую тень на широкую, усеянную камнями дорогу-аллею, ведущую к самым воротам монастыря, перед которыми на небольшой площадке теснилась толпа народа. Тут были мрачно нахмуренные курды с сверкающими, как у волков, глазами, в чёрных чалмах, ярко-красных или малиновых, расшитых жёлтым и чёрным шнурком куртках и с целым арсеналом оружия за поясом; робкие, смиренные армянские сельчане в синих рубашках, кожаных чустах¹⁰ и в чёрных круглых суконных шапочках на головах, степенные, худощавые персы в бараньих папах, длинных абба¹¹ и халатах. Вся эта толпа стояла молча и, задрав головы, с жадным любопытством глядела на возвышающуюся перед ней огромную, совершенно отвесную скалу, отделенную от монастыря глубокой пропастью, на дне которой неистово бился среди острых камней бешеный поток.

Немного ниже остроконечной верхушки скалы находилась небольшая площадка, острым выступом нависшая над пропастью. На площадке суетилась небольшая группа людей в синих кафтанах, белых холщовых шароварах навыпуск и барашковых





папах, за спинами у них поблескивали ружья. Это были сарбазы¹² Суджинского владыки Чингиз-аги. Между ними, со связанными назад руками стояли три курда: седой старик с белыми, как снег, усами и бровями, но ещё крепкий и прямой, и двое юношей, из которых младший выглядел ещё совсем мальчиком, лет 13—14, не больше. Все трое стояли неподвижно и совершенно равнодушно поглядывали на толстого человека в голубом казакине, суетившегося около них с чёрной жестянкой в руках. Человек этот занимался тем, что обильно смачивал при помощи имевшейся у него тряпки одежду курдов. Не довольствуясь этим, он иногда поднимал жестянку и осторожно начинал поливать из неё то того, то другого из курдов, которые, по-видимому, относились к этому совершенно безучастно, не оказывая никакого сопротивления. Когда, наконец, вместительная посуда была опорожнена до дна, человек в голубом казакине взял из рук одного из сарбазов большие кромки хлопка, с помощью трута зажёл их и, торопливо засунув за пазуху каждому из курдов, поспешно перешёл со всеми сарбазами с площадки на выступ соседней скалы по двум бревнам, которые после этого были быстро убраны.

Оставшиеся на площадке курды, таким образом, очутились совершенно изолированными. Сзади них возвышалась отвесная, как будто отполированная скала, кругом зияла глубокая бездна, над которой, как воздушный балкон, нависла небольшая площадка, где они стояли, неподвижные, молчаливые, как статуи, лицом к толпе, с жадным любопытством устремившей на них свои взгляды, с противоположной стороны, снизу от стен монастыря. Прошло около минуты, может быть больше, может быть меньше, вдруг по одежде старика пробежали тонкие язычки пламени, лизнули ему грудь, спину, плечи, змейкой вильнули по огромной чалме... Показался дымок, и через мгновение старик вспыхнул весь, как смоляной факел. Почти одновременно с ним запылали оба его сына. Обильно смоченная керосином одежда горела ярким синеватым огнём. Несчастные издали отчаянный, душу потрясающий вопль и принялись кружиться на одном месте, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. Видно было, как они неистово рвались из связывавших их верёвок, оглашая воздух нечеловеческими воплями: они то бросались на землю и начинали кататься по ней, тщетно пытаясь этим затушить огонь, то снова вскакивали и неистово метались из стороны в сторону... Наконец, обезумев от страдания, один из них ринулся в пропасть, за ним последовали остальные. Как пылающие ракеты, мелькнули они в воздухе и исчезли внизу, в пенистых волнах бешено ревущего потока.

Иван, стоя рядом с Мнацекановым, глядел на совершавшуюся перед ним бесчеловечную казнь и чувствовал, как волосы шевелятся у него на голове и весь он холодеет от невыразимого ужаса, охватившего всё его существо. Что же касается остальной толпы, то для неё, очевидно, это зрелище было далеко не новостью: равнодушно доглядев до конца, она, как ни в чём не бывало начала медленно расходиться, толкуя каждый о своих делах.



Только присутствовавшие при казни курды, и без того всегда молчаливые и угрюмые, ещё более насупились. Некоторые из них, проходя мимо монастыря, бросали на него мрачные взгляды жгучей ненависти и в бессильной ярости стискивали крепкие и блестящие, как у волков, зубы.

Настоятель

Большая комната с низким потолком и глиняным, застланным паласами полом, с белыми, выкрашенными известью стенами, украшением которых служили большое прекрасной работы распятие из слоновой кости и чёрного дерева и две олеографии, изображавшие: одна — государя императора Александра II на белом коне, другая — персидского шаха Наср-Эдлина, сидящего в кресле и усыпанного бриллиантами неимоверной величины.

В комнате при свете стенной лампы с матовым колпаком и двух свечей в высоких медных шандалах, на широкой тахте, покрытой персидским ковром, сидели Карапет Мнацеканов и высокий худощавый монах в чёрной рясе и бархатной ермолке. Чёрная, с лёгкой проседью борода монаха широким веером ложилась на его грудь, оттеняя его бледное, восковое лицо, на котором благодаря матовой белизне особенно ярко горели и сверкали чёрные большие глаза под густыми бровями. Длинные густые волосы, слегка завиваясь, падали на плечи монаха, мешаясь с его роскошной бородой.

Он мог бы назваться красавцем, если бы не холодно-жестокое и в то же время хитрое выражение лица, а в особенности беспокойно бегающих глаз, да характерный армянский нос клювом, делавший его похожим на хищную птицу.

Это был сам настоятель монастыря св. Стефана, алчный и жестокий Адватур-Тер-Хачатурьянц. Перед обоими собеседниками на большом круглом столе грубой работы, покрытом красной камчатной скатертью, стояли тарелки с незатейливыми яствами, среди которых главное место занимала разных сортов трава: тархун, мята, кресс-салат и другие. Эти травы, столь любимые армянами и татарами, в союзе с паныром составляют летом их главную, а зачастую и единственную пищу, которую они употребляют с лавашом в едва ли меньшем количестве, чем домашние животные, ишаки и лошади.

Перед каждым из беседующих стояло по бутылке светло-красного вина и по большому стакану, ни минуты не остававшемуся пустым, так как оба очень заботливо и внимательно подливали один другому, постоянно чокаясь и сопровождая это, по восточному обычаю, витиеватыми пожеланиями.

— Ты видел, — с жестокой усмешкой спросил монах, — как сегодня жгли трёх «волков»¹³?

— Видел, а за что?



— Подлые собаки! — с страстной ненавистью проговорил Ацватур-Тер. — На прошлой неделе они убили у меня одного монаха. Я послал двоих монахов в Абард-цум за «десятиной». Проклятые «волки» пронюхали про это и устроили им засаду, почти под самым монастырём. К счастью, тому, кто вёз деньги, удалось ускакать, я нарочно дал ему свою собственную лошадь, но другого, ехавшего на катере, они догнали, убили и обобрали догола. Я на другой же день отправил жалобу Чингиз-хану при хорошем подарке, прося его наказать курдов. Подарки мои, должно быть, понравились хану, а на курдов он и сам сердит за их постоянные разбои, а потому проклятый язычник не заставил долго ожидать и тотчас же прислал сюда своих сарбазов, приказав им, по моему указанию, схватить убийц и казнить их огнём. Я указал на этого старика и его двух сыновей. Их сейчас же схватили, подвергли пытке в подвалах монастыря, а сегодня сожгли.

— Каким же образом вам удалось разыскать убийц? Ведь это очень трудно. Курды никогда не выдают своих!

Настоятель злобно расхохотался.

— Да я и не думал разыскивать! Какое мне дело, кто именно из этих негодяев совершил убийство, все они мои заклятые враги, и я охотно истребил бы их всех до последнего младенца. Я указал на этого старика потому, что он пользовался большим значением среди своих, казнь его наведёт на курдов особенный страх, показав им, что если уже с таким почётным стариком, как Худадар, не пощережились, то с другими и подавно не станут много разговаривать. Курды до последней минуты не верили, чтобы сарбазы решились сжечь Худадара, но я дал султану хороший бэшкэш, и он исполнил моё требование, хотя, я знаю, Чингиз-хан будет недоволен: он бы едва ли разрешил казнить Худадара.

— Я слышал, Чингиз-хан за последнее время стал очень строг с курдами и за всякую безделицу жжёт их или бросает со скалы в пропасть, а между тем они по-прежнему продолжают грабить и здесь, и в России, куда переправляются целыми шайками... Бедовый народ!

— Чингиз-хану очень-то верить нельзя: он одной рукой казнит, а другой — в то же время поощряет всякие насилия, совершаемые курдами. Казнит не за то, что грабят, и не тех, кто грабит, а тех, кто попадает. Курды это отлично понимают и нисколько не в претензии на правителя. Проклятая страна! — со вздохом заключил настоятель. — Только тогда и будет порядок, когда русские отнимут её у Персии!

— Ну, это ещё не скоро! Русским не до Персии, у них теперь на шее близкая война с Турцией. Это очень хорошо для наших, живущих в Турции. Если Россия побьёт турок, а в этом нельзя и сомневаться, она освободит от турецкого ига всех христиан, а в том числе и армян!

— Вы думаете? — скептически усмехнулся Хачатурьянц. — А я уверен, что армяне ничего не выиграют от этой войны, своих родных братьев-болгар Россия освободит, это наверно, мы же по-прежнему останемся рабами турок. Будет ве-



личайшим счастьем, если самой незначительной части нашего народа удастся вырваться из-под мусульманского ига, большая же часть останется при прежнем своём положении, если ещё не в худшем.

По мере того как настоятель говорил, бледное лицо его ещё больше бледнело, а глаза разгорелись пылким огнём вдохновения, он весь дрожал, протянув вперёд костлявую руку, как бы угрожая кому-то или кого-то отстраняя. Мнацеканов с невольным страхом глядел ему в лицо, чутко прислушиваясь к его пророчествам.

— Полноте, отец! — попробовал он успокоить взволнованного монаха. — Зачем питать в себе такие мрачные мысли? Бог даст, так не будет, но для того чтобы так не было, армяне должны со своей стороны всеми силами помочь русским в предстоящей войне. Чем больше мы сделаем сами для нашего освобождения, чем больше принесём жертв, тем настойчивей можем требовать расплаты за них. По крайней мере, я такого убеждения, вот почему я и взялся за то опасное, рискованное дело, о котором говорил вам давеча!

— Смотрите, как бы вам не погибнуть! Турки хитры и беспощадны, если они догадываются, кто вы и зачем к ним приехали, они посадят вас на кол, верьте мне!

— Зачем вы говорите так, — с неудовольствием произнёс Карапет, — зачем понапрасну пугать? Я без вас отлично знаю, какой опасности подвергаюсь, и не об этом хотел говорить с вами, мне нужно узнать ваше мнение, можно ли довериться Чингиз-хану. Генерал посылает ему со мной прекрасный подарок: дорогие золотые английские часы и пару богато украшенных револьверов, вместе с тем просит помочь мне безопасно под его покровительством проехать в Турцию для собрания кое-каких важных сведений, весь вопрос — насколько можно довериться Чингиз-хану? Вы лучше моего знаете хана, имеете постоянно с ним дела, потому-то я и обращаюсь к вам за советом!

— Видите ли, — помолчав немного, начал настоятель, в раздумье пощипывая свою бороду. — Чингиз-хану, как и всякому персианину, верить, разумеется, нельзя, ни единому слову. Нет той страшной клятвы, которая могла бы связать его и заставить честно выполнить принятое на себя обязательство, в этом отношении они все поголовно лжецы и клятвопреступники, а Чингиз-хан, пожалуй, ещё хуже других будет. Но когда от соблюдения обещания он ожидает себе какую-нибудь выгоду, то трудно найти человека более верного, чем он. В этих случаях он просто не оценит и готов служить всем, чем может, а так как он страшно хитёр и по своему умён, то помощь его может быть весьма существенной. Теперь, обсуждая ваше дело, я думаю, что Чингиз-хану нет причины идти против вас в пользу турок. Во-первых, турок он терпеть не может и не боится, тогда, как русских он, хотя тоже ненавидит, но очень трусит и заискивает перед ними, особенно теперь, ввиду могущей быть войны. Во-вторых, от турок он ничего особенного ждать себе не может, не только никаких выгод, но даже и порядочных подарков, русские же ему могут к тем подаркам, которые вы везёте, прислать ещё столько же. Наконец услуживая



России против турок, он ничем не рискует, в обратном же случае, напротив, риск его очень велик: Россия мимоходом может захватить его ханство и стереть его самого с лица земли. Из всех этих соображений выходит, что Чингиз-хану нет никакого расчёта не быть для вас верным и преданным союзником и помощником. По-моему, генерал очень умно поступил, послав вас в Турцию через Персию, тут вы проедете, не возбудив ни в ком никакого подозрения, тогда как на русско-турецкой границе, я думаю, турки, при всей своей беспечности, глядят в оба.

— Вы правы. На русско-турецкой границе теперь очень опасно. Недавно один абасгельский армянин хотел пройти в Карс по своему личному делу, турки приняли его за шпиона и, недолго думая, повесили на телеграфном столбе!

— Бедняга! — вздохнул настоятель. — Ещё одна жертва и далеко не последняя!

— Без жертв никакое дело не обходится. У русских есть хорошая поговорка, смысл которой таков: когда рубят дерево, остаются щепки.

— Это всё так, но вопрос: принесут ли все эти жертвы ожидаемую пользу?

— Надо надеяться!

— Аминь! Теперь скажите мне, пожалуйста, что это за человек пришёл с вами? По виду он не армянин и не татарин, на настоящего русского он тоже не похож.

— Хорошенько я и сам не знаю. Я его спрашивал, но, очевидно, он не хочет говорить всей правды. Называет себя Иваном, русским беглым солдатом, по-армянски не понимает ни одного слова, а по-татарски говорит недурно, хотя и не по-здешнему, а как говорят в окрестностях Тифлиса. Я его встретил недалеко уже от границы, в Аладжинском ущелье, едва живого от голода и усталости. После того как я его накормил, он стал проситься со мной в Персию, сначала я было не хотел его брать, но, увидав, как он замечательно хорошо стреляет из ружья, рассудил, что на случай встречи с курдами-разбойниками он мне может быть очень полезен, и согласился взять его с собой. Вот всё, что я могу сказать вам об этом человеке.

— Но в Турцию, надеюсь, вы не собираетесь его везти? Там он может возбудить подозрение, а к тому же, кто его знает, что он за человек, чего доброго, ещё выдаст вас туркам!

— Нет, само собой понятно, в Турцию мне нет причин его брать. Я думаю предложить Чингиз-хану взять его в число своих сарбазов, он может даже сделать его султаном и поручить учить своих «ослов» настоящему военному искусству...

— Или облить керосином и сжечь!

— Если захочет сжечь, пусть жжёт, мне всё равно и не я, конечно, буду перечить в этом Чингиз-хану. Пусть делает с ним, что хочет!

— Насколько я могу судить, он не из простых, — заметил настоятель, — интересно бы знать, зачем он бежал из России, и что он там наделал?

— Ну, это едва ли возможно, так как он, хотя и молод, но не из болтливых: язык держит хорошо на привязи.



— Стоит захотеть, — сквозь зубы, как бы про себя процедил настоятель, — а то всякий язык можно развязать. В прошлом году я приказал захватить мальчишку курда, надо было кое-что допытаться от него, на что уж упрямый был бесёнок, целый день мучались, а к вечеру и он заговорил. Всё рассказал, что нам надо было!

— Что же вы с ним сделали потом? — заинтересовался Мнацеканов. — Неужели выпустили?

— Как можно выпустить! Он бы пошёл родным своим рассказал, те бы мстить начали. Нет, мы просто его придушили и закопали там же, в подвале. Никто и не узнал!

— Так с ними, злодеями, и надо! — воскликнул Мнацеканов. — Курды — наши злейшие враги!

В Судже у грозного Чингиз-хана

Селение Суджа, столица полунезависимого разбойничьего ханства Суджинского и резиденция его сурового властелина Чингиз-хана, расположена частью в долине, частью по склонам гор, окружающих со всех сторон это селение, которое персияне именуют, впрочем, городом. Оно состоит из целого ряда беспорядочно разбросанных и нагромождённых друг над другом каменных хижин, с плоскими земляными крышами и грязными узенькими двориками.

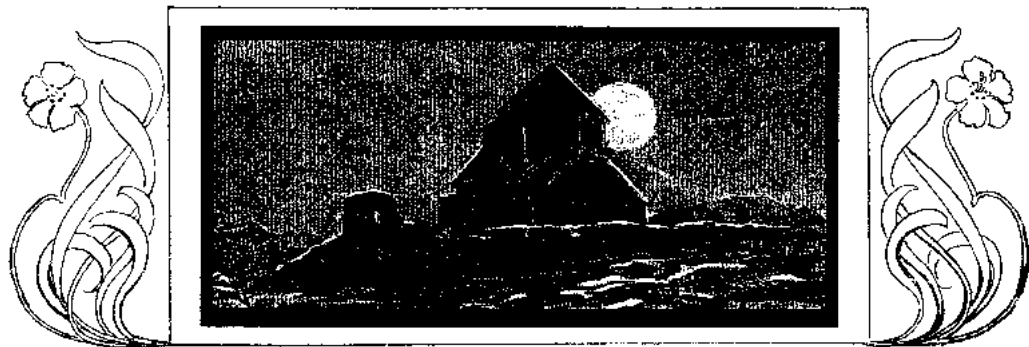
Среди этих жалких лачуг, наполненных голодными, полунагими, невозможно грязными ребятишками, праздными, ленивыми мужчинами и отупевшими от непосильной работы и грубого обращения женщинами, горделиво возвышаются, утопая в зелени роскошных садов, белоснежные, высокие, вместительные дворцы, как самого владыки Суджей Сардаря Чингиз-хана, так и ближайших его родственников, носящих одну общую фамилию ханов Суджинских.

Дворцы эти, украшенные колоннадами, причудливыми арабесками на фронтонах и по карнизам, с целым рядом огромных окон из мелких разноцветных стёкол, выглядят особенно величественно и роскошно по сравнению с робко жмушкшимися вокруг них жалкими мазанками.

Была уже ночь, когда Карапет с Иваном прибыли в Суджу и остановились в одном из караван-сараев, где им отвели клетушку, похожую на каменный ящик, с единственной входной дверью и узким, заделанным железной решёткой окном. Клетушка была совершенно пуста и лишена какой бы то ни было мебели и убранства. На каменном полу, поверх камышовых циновок, были разостланы изодранные, невозможно грязные паласы, в изобилии населённые всевозможными насекомыми. Надо иметь шкуру туземцев, чтобы заснуть в таком клоповнике.

За особую плату Карапету Мнацеканову караван-сарайщик притащил ситцевый засаленный тюфяк, набитый хлопком, и ситцевые же жиденькие продолговатые подушки. О постельном белье, наволочках, простынях, разумеется, никто и





понятия не имел, всё это заменялось засаленным ситцевым стёганным одеялом. Что же касается Ивана, то ему пришлось лечь прямо на полу, подложив свою черкеску под голову. Несмотря на всю свою усталость, он, однако, не в состоянии был уснуть: несметные легионы всевозможных паразитов с жадностью атаковали его, да к довершению всего и беспощадная мошка давала себя чувствовать. Всё тело его горело, как в огне, и нестерпимо зудело, он ворочался с боку на бок, близкий к отчаянию, и с завистью поглядывал на Мнацеканова, беззаботно и крепко спавшего, несмотря ни на какие беспощадные нападения, на своём грязном до отвращения матрасике. Только под утро удалось Ивану забыться беспокойным тревожным сном, да и то ненадолго, так как Мнацеканов проснулся очень рано, чтобы идти во дворец Чингиз-хана, причём приказал и ему следовать за собой.

Молчаливый слугитель в тёмно-синем казакине, застёгнутом только на одну верхнюю пуговицу, с изображением на ней Льва и Солнца, и в конусообразной мерлушковой папахе, на которой красовался медный герб того же Льва и Солнца, провёл их в приёмную комнату. Иван остался за дверями, а Мнацеканов прошёл вперёд и присоединился к группе лиц, сидевших полукругом посредине. Тут было два персидских купца в верблюжьих халатах и папах, мулла, седой, как лунь, в белоснежной аббе и белой огромной чалме, тучный, чернобородый сеид¹⁴ в тёмно-синей чалме и синем же халате, и худой, как скелет, оборванный дервиш с полупомешанными глазами, крайне нервный, точно одержимый пляской св. Витта. Остальные принадлежали, очевидно, к свите Сардаря и одеты были в одинаковые тёмно-синие полукафтаны, с красными кантами и с медными гербовыми пуговицами. Кафтаны эти, с широкой юбкой на сборках и непомерно высокой талией, застёгивались только на одну верхнюю пуговицу, под кафтаном были надеты шёлковые, чёрные с цветочками или горошками бешметы; люстриновые чёрные шаровары на выпуск и шерстяные разноцветные джурайки¹⁵ дополняли костюм. На головах они носили мерлушковые папахи с медным гербом, на котором был изображён Лев с обнажённым мечом в поднятой передней лапе, из-за спины Льва виднелся круглый диск Солнца с исходящими от него во все стороны лучами.



Вся эта компания сидела чинно, поджав под себя ноги, сложив на животах руки, и хранила глубокое молчание, только купцы время от времени перебрасывались между собой полушёпотом отрывистыми фразами. Мнацеканов, перед тем как усесться, отвесил всем низкий поклон, на который ему ответили плавным наклоном головы, причём каждый концами пальцев коснулся своего лба и груди, только полоумный дервиш вместо приветствия оскалил зубы и соорудил какую-то нелепую гримасу.

Опустившись на ковёр, Мнацеканов внимательно оглядел комнату, показавшуюся ему довольно невзрачной. Низкий бревенчатый потолок, обмазанные гажей¹⁶ стены, каменный пол, застланный старыми паласами и отсутствие всякой мебели — делали её вовсе не уютной, похожей скорее на сарай, чем на жилое помещение. Единственным украшением этой комнаты было большое окно во всю наружную стену, оно помещалось в решётчатой узорной раме, составленной из бесчисленного множества цветных стёклышек, разных величин и рисунков.

Само окно, настолько большое, что в него мог свободно пройти человек, не склоняя головы, не отворялось ни наружу, ни вовнутрь, а раздвигалось на две половинки. Из него открывался красивый вид на ханский сад. Особенно изящна была передняя часть сада, примыкавшая к дому. Правильно распланированные дорожки были расчищены и усыпаны золотистым песком, на расположенных между ними ярко-зелёных лужайках красовались пышно разросшиеся кусты белых, алых, жёлтых и чёрно-малиновых роз, вокруг которых шли клумбы из самых разнообразных цветов. Фруктовые деревья, персики, алыча, курага и кизил были аккуратно подстрижены, причём некоторым из них приданы причудливые формы птиц и каких-то чудовищ. Два огромных густых нарбанта, подобно гигантским шатрам, стояли посередине, далеко распространяя вокруг себя прохладную тень, под сенью которой робко журчали небольшие фонтанчики в мраморных бассейнах, наполненных холодной, прозрачной, как кристалл, водой. За садом темнел густой парк, тоже весьма аккуратно содержимый. Мнацеканову, слишком хорошо знакомому с тем, насколько персиане по природе своей ленивы и крайне неряшливы, с каким физическим отвращением относятся они ко всякому порядку и чистоте, просто не хотелось верить собственным глазам, глядя на этот удивительный порядок, царивший в ханском саду. Он искренне недоумевал, какая волшебная сила могла создать такой парк в этой глухой, дикой стране. Впрочем, если бы он мог проникнуть в глубь парка, где на небольшой полянке молча и угрюмо работало десятка полтора мушей¹⁷, он бы воочию увидел эту самую волшебную силу. Она представилась бы ему в виде высокого толстого господина с рыжей бородкой и красным веснушчатым лицом, одетого в чесучовый просторный костюм и пробковый шлем, с обвязанным вокруг тульи зелёным вуалем. В руках господин в чесуче держал толстую узловатую палку. По тому, как рабочие пугливо косились на эту палку всякий раз, когда обладатель её, медленно прохаживавшийся взад и вперёд в сторонке, приближался к ним, можно



было безошибочно заключить, что они в достаточной степени знакомы со свойствами этой палки, крепкой и упругой, как сталь.

Действительно, мистер Джон, или, как его звали в Суджах, Джон-ага, главный садовник Чингиз-хана, даже по персидским понятиям считался человеком крайне жестоким. С отданными в его распоряжение рабочими он обращался хуже, чем со зверями. Самым мелким наказанием у него считалось немилосердное избивание палкой, преимущественно по темени, после которого человек несколько дней ходил как в тумане, не будучи в состоянии шевельнуть головой от нестерпимой боли. За более крупные проступки провинившегося спускали в глубокую яму и держали там без пищи и воды по нескольку суток. При нестерпимой духоте и жаре, царившей в этом своеобразном карцере, переполненном к тому же земляными клопами и другими насекомыми, это наказание влекло за собой тяжкое заболевание и даже смерть. Когда же, по мнению Джон-аги, и такое наказание было недостаточным, он шёл к Чингиз-хану с жалобой, результат которой был всегда одинаков — воздушное путешествие и дно пропасти из амбразуры углового окна ханского дворца.

При таких условиях не было ничего удивительного, что сад Чингиз-хана мог считаться настоящим земным раем по своей чистоте и благоустройству.

Прошло около часа. Сидевшие в приёмной комнате продолжали терпеливо дожидаться, перебрасываясь между собой короткими фразами, и изредка взглядывая на массивную дубовую дверь, ведущую во внутренние покои.

Вдруг она стремительно распахнулась, и в предшестве двух нукеров в комнату вошёл высокий плечистый старик в кафтане шоколадного цвета из дорогого английского сукна, с высокой талией, застёгнутом на одну верхнюю пуговицу, в тёмно-зелёном шёлковом бешмете, каждая пуговка которого была из золота с вставленным в неё маленьким бриллиантом. Герб на шапке тоже золотой, на левой стороне груди сверкала, переливаясь тысячью огней, большая бриллиантовая звезда Льва и Солнца. Все десять пальцев были унизаны массивными золотыми кольцами с дра-



гоценными камнями. На шее была надета толстая часовая цепочка, перехваченная аграфом из замечательно красивой и драгоценной бирюзы.

Лицо вошедшего было угрюмо, покрыто множеством морщин и носило на себе выражение холодной непроницаемости. Глядя на это лицо, на эти полуприкрытые длинными ресницами загадочные глаза, нельзя было решить, что думает этот человек, но в то же время весь он был, как бы пропитан жестокостью, неумолимой, необузданной, той восточной, бесстрастной и холодной жестокостью, какой озаменовали себя в истории азиатские владыки, устраивавшие пирамиды из сотен тысяч голов своих пленников¹⁸ и наполнявшие мешки человеческими глазами.

Войдя в комнату, Чингиз-хан быстро окинул присутствовавших тяжёлым взглядом, на мгновение сверкнувшим из-под нависших бровей. Небрежно кивнув в ответ на низкий и почтительный, чуть не земной поклон своих гостей и подданных, он медленно опустился на подсунутую одним из нукеров подушку.

Кроме Карапета Мнацеканова, остальных всех Чингиз-хан видел уже не в первый раз, а потому не обратил на них внимания, сосредоточил на армянине свой упорный, тяжёлый взгляд, молча выжидая, что он скажет ему. Тот, однако, продолжал молчать, почтительно сложив на груди руки и слегка наклонив голову.

— Кто ты, откуда и зачем? — обратился наконец к нему с вопросом Чингиз-хан.

— Я русский подданный, зовут меня Карапетом Мнацекановым, светлейший хан, а приехал я к тебе по особо важному делу, о котором могу сказать только наедине.

При этом ответе Чингиз-хан ещё пристальней заглянул в глаза Мнацеканову и, подумав с минуту, хлопнул в ладоши. На этот призыв из-за дверей появился поразительной красоты мальчик лет двенадцати, с нежным, женственным личиком и огромными тёмными глазами. Он наклонил своё ухо к лицу Чингиз-хана, и тот шепнул ему что-то, после чего мальчик подошёл к Карапету и жестом пригласил его следовать за ним.

Выйдя из комнаты, мальчик повёл Мнацеканова крытой стеклянной галереей с окнами в сад; галерея выходила на небольшой дворик, обнесённый высокой стеной. За этим двориком возвышалась красного кирпича башенка с винтообразной лестницей внутри. Поднявшись по лестнице ступеней пятьдесят, они очутились в совершенно круглой комнате, похожей на фонарь, стены и потолок которой состояли из деревянных резных рам с разноцветными стёклами. Пол комнаты был устлан коврами, а у большого окна лежало два бархатных матраца, составлявшие единственную мебель, если так можно назвать, этой комнаты.

Окно, как и большинство окон в дворцах персидских ханов, было раздвижное и похоже скорее на дверь, чем на окно, и перед ним был устроен небольшой висячий деревянный балкончик. Пригласив Карапета сесть на один из матрацев, мальчик слегка кивнул головой.





Оставшись один, Мнацеканов от нечего делать вышел на балкон оглядеться.

Дворец Чингиз-хана стоял на горе, причём задний фасад с прилегающим к нему садом и парком обращён был к отлогой её стороне, задняя же стена, где помещалась башня, выходила на противоположную сторону горы, причём стены здания, сливаясь с обрывом скалы, составляли с нею как бы одну общую отвесную стену.

С чувством невольного страха заглянул Карапет через перила вниз. Под ним зияла глубокая пропасть. Красновато-жёлтые камни, в хаотическом беспорядке набросанные друг на друга, лежали в вечном покое, палимые жгучими лучами солнца. Кругом была мёртвая пустыня: ни одного живого существа, ни малейшего движения, ни одного звука. Только под самой площадкой балкончика на остром выступе скалы молчаливо копошилось тесной кучкой несколько штук тёмно-бурых, белоголовых безобразных грифов. Сначала Мнацеканов долго не мог понять, что они там делают, но, взглядевшись пристальней, с ужасом рассмотрел распростёртый внизу на камнях труп человека, лежащего навзничь. Лицо трупа было истерзано когтями и клювами, рёбра обнажены, кругом чернели засохшие лужи крови. Несколько поодаль белела другая груда человеческих костей, очевидно, растасканных хищными птицами и животными. Они виднелись то там, то здесь по всему каменистому пространству этой долины смерти.



Мнацеканов с омерзением отвернулся и поспешил с балкончика в комнату, где навстречу ему появился тот же мальчик с подносом в руках, на котором стояла крошечная чашечка крепкого кофе, стеклянная вазочка с вареньем, небольшая медная миска, до краев наполненная душистой, сладковатой, холодной, как лёд, водой, и блюдечко с приторными сладкими персидскими конфетками из сахара, муки и имбиря.

— Буюр¹⁹, ага! — тихим, вкрадчивым голосом произнёс мальчик, ставя поднос на ковёр перед Мнацекановым. Хотя Карапету после только что виденного им зрелища было и не до еды, но отказаться от угощения он не мог, оскорбив тем хана, а потому ему ничего не оставалось иного, как рассыпаться в благодарностях.

— Чох-саол, чох-чо-х-саол²⁰, — произнёс он несколько раз, приложив руку к сердцу и принимаясь за кофе.

Не успел он выпить первой чашки, как в комнату неслышными шагами вошёл Чингиз-хан и, приблизившись к окну, опустил на матрац. Мальчик тотчас же подал ему кофе и кальян, после чего исчез за дверями, плотно прикрыв их за собой.

Политика

— Ну, в чём твоё дело? — далеко не дружелюбным тоном произнёс Чингиз-хан, в упор глядя в лицо Карапету и затягиваясь дымом кальяна.

— Я, светлейший хан, к тебе от генерала с письмом, — Карапет назвал одного из славных тогдашних боевых имен Кавказа, — и подарком. Когда ты прочтёшь письмо, твоя мудрость сама изъяснит тебе то дело, за которым я прибыл!

Говоря таким образом, Мнацеканов достал из-за пазухи завернутый в кусок белого сафьяна пакет с тремя печатями и подал его хану, затем из висевшей на боку сумки достал небольшой футляр, бережно завернутый в толстую глянцевитую бумагу и перевязанный красной ленточкой. Сорвав бумагу, он футляр положил к ногам хана.

Чингиз-хан, стараясь казаться равнодушным, медленным, ленивым жестом взял футляр в руки, но когда он раскрыл его, выражение алчной радости, помимо его воли, на мгновение мелькнуло в его лице. Впрочем, он тут же поспешил тщательно затаить в себе свои чувства и с напускным бесстрастием, но тем не менее весьма внимательно принялся разглядывать великолепные золотые часы с изящной короной из мелких бриллиантов на верхней узорчатой крышке. Сосредоточенно нахмурия брови, Чингиз-хан долго вертел часы в руках, то и дело прикладывая их к уху и внимательно прислушиваясь к звонкому, мелодичному бою, открывал и закрывал массивные крышки и подолгу разглядывал серебряный арабский циферблат со стрелками в виде змеек с бриллиантовыми головками.

Как ни старался хитрый полудикарь скрыть впечатление, произведённое на него подарком, Карапет мог ясно заметить, насколько он остался им доволен, потому счёл за лучшее не отдавать теперь же другого подарка — двух револьверов, оставив их на после, до другого раза.



Насмотревшись вдоволь на часы, Чингиз-хан бережно уложил их в футляр и, спрятав в бездонный карман своего кафтана, принялся за чтение письма.

Письмо было написано по-татарски на изящном арабейджанском наречии и, как все восточного характера письма, начиналось многочисленными добрыми пожеланиями и всякого рода учтивостями. По мере того как Чингиз-хан читал длинное и обстоятельное послание генерала, лицо его, и без того всегда суровое, делалось всё угрюмей и озабоченней. Некоторые строки письма он перечитывал по два раза, как бы желая лучше запечатлеть их в своей памяти.

— Генерал хочет, чтобы я помог тебе пробраться в Турцию, дал возможность пожить там недели две и затем опять вернуться обратно, — заговорил Чингиз-хан после непродолжительного молчания, последовавшего за прочтением письма, — хорошо, я согласен. Я отправлю тебя в Турцию как своё доверенное лицо, персидско-подданного, для закупок разных предметов. У меня там, в Санджанском вилайете, есть хороший друг — Зафэр-паша, я пошлю ему с тобой письмо и попрошу его помочь тебе купить нужные мне товары. Я приступаю к перестройке своего дворца, тебе надо будет приискать мне хороших мастеров, для этого придётся много поездить туда и сюда, хороших мастеров мало, а я строг, и мне угодить трудно... Понимаешь?

— Понимаю, светлейший хан. Это всё, что только мне нужно от твоей милости. Остальное уже моё дело!

— Отлично! Итак, ты можешь ехать, когда хочешь, я дам тебе надёжных проводников, храбрых и молчаливых. Письмо Зафэр-паше будет готово сегодня вечером. Когда солнце зайдёт, приходи к моему секретарю Эмин-Эфенди и сообщи ему час твоего отъезда, он уже распорядится. Чем меньше времени пробудешь ты в Судже и чем скорее проедешь в Турцию, тем будет лучше, надо спешить, пока люди не развяжут путь своим языкам... Понял?

Мнацеканов в знак согласия почтительно наклонил голову. На несколько минут воцарилось молчание.

— Итак, война будет, — заговорил снова Чингиз-хан, — глупые же советчики у Пади-шаха, если не сумели и не захотели отговорить его от такого безумия — воевать с русскими. Он не успеет свершить трёх намазов, как русские войдут в Константинополь!

— На все воля Аллаха! — осторожно заметил Мнацеканов, не вполне доверяя искренности слов Чингиз-хана.

— Конечно, воля Аллаха первое дело, — усмехнулся тот, — но почему-то всегда так бывает, что воля Аллаха склоняется постоянно на сторону того, у кого войска больше и обучены они лучше. Когда волк схватывается с лисицей, то Аллах каждый раз помогает первому, и он легко разрывает лисицу зубами, несмотря на то что она, по всей вероятности, не менее усердно молится Аллаху о даровании ей победы. С турками будет то же, что и с лисицей. Аллах, наверно, не будет на их стороне!





Опять наступило молчание. Чингиз-хан, очевидно, хотел заговорить о чём-то, но не находил подходящей нити для начала разговора, а Мнацеканов нарочно и упорно молчал, избегая расспросов, на которые ему было бы трудно или совершенно невозможно отвечать.

— Скажи, почему русские мной недовольны? — решил, наконец, Чингиз-хан. — За что мне постоянно шлют угрозы и жалуются на меня Шах-ин-Шаху? Разве я плохой сосед?

— Помилуй, хан, откуда могут происходить такие мысли, — даже всплеснул руками Карапет, — разве мы все не знаем, насколько твоя светлость истинный друг русских? Но если позволишь сказать правду — твои курды действительно причиняют много хлопот и беспокойства приграничным жителям в России. Они то и дело целыми шайками переправляются на ту сторону, грабят селения, угоняют скот, а нередко совершают и убийства!

— Ну, это ещё кто кого, — мрачно произнёс Чингиз-хан, — если суджинские курды и нападают на пограничных жителей России, то ведь то же делают и русские курды. Разве они не переходят на нашу сторону, не нападают на моих людей и не грабят их? А казаки? Сколько перестреляли они моих поселян, татар? Никто не смеет подойти днём к Араксу поить скот, — казаки ради потехи стреляют не только в мужчин, но даже и в женщин, и детей!

— Почему хан не напишет об этом генералу? — спросил Мнацеканов.

— А разве мне поверят? Про меня распустили молву как о разбойнике, будто бы я делюсь с курдами награбленным добром, и каждую минуту готов сам совершить набег на русские кордоны. Поэтому-то на все мои жалобы глядят как на ложь и клевету!

Он сердито замолчал и с ожесточением принялся пыхтеть кальяном.

Карапет молчал. В словах хана была доля правды. Казаки, а в особенности пластуны, занимавшие в те времена кордонную пограничную линию, действительно мало церемонились с «проклятыми бусурманами» и при всяком удобном случае не прочь были подстрелить «персюшку», мало интересуясь тем, «мирные» они или «не мирные». Офицеры в этом случае нередко сами показывали пример жестокости. Так, например, про одного пластуна-офицера рассказывали, будто бы он поставил на крыше своего поста прицельный станок и, точно размерив различные расстояния на противоположном берегу, устраивал для своего развлечения стрельбу по появившимся на той стороне курдам и персам. Сидя на стуле и положив винтовку на станок, он, ориентируясь на измеренные заранее предметы, ставил правильный прицел и без промаха «подрезывал» намеченные им жертвы. Впрочем, справедливость требует сказать, что, по-видимому, беспричинная жестокость имела своё весьма резонное основание. Разбросанные далеко друг от друга малочисленные казачьи пикеты и кордоны жили под постоянной угрозой быть вырезанными персиянами и курдами и только террором могли сдерживать кровожадность и фанатизм зарубеж-



ных дикарей. Случаи нападения и поголовного вырезания целых казачьих постов были не редкость. Конечно, после всякого такого происшествия между соседями разыгрывалось беспощадное кровомщение. Одна сторона жестоко мстила другой, и разобрать тогда, на чьей стороне была правда и кто, в сущности, является зачинщиком, представлялось положительно невозможным. С усилением русской власти на границе, а затем с передачей охраны границы Пограничной страже отношения между двумя пограничными народностями сделались гораздо лучше.

С каждым днём растёт между ними доверие, и теперь уже жизнь на этих далёких окраинах во многих местах не более опасна, чем в центральных губерниях России.

— Что это за человек с тобой? — спросил Чингиз-хан, уже успевший своим всезамечающим глазом увидеть Ивана. — Он не армянин?

— Нет, это русский беглый солдат. Я его встретил почти на самой границе! — ответил Мнацеканов и тут же рассказал Чингиз-хану все, что сам знал о человеке, прозванном им Иваном.

Чингиз-хан слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

— Ты что же, хочешь взять его в Турцию?

— Нет, ага, это невозможно! В Турции он легко возбудит подозрение, там сейчас же угадают в нём русского и примут нас за шпионов. Я хотел предложить твоей светлости принять его в число твоих нукеров, он может даже обучать твоих сарбазов военной службе на русский манер, насколько я успел понять, он храбрый и умный человек!

— Что же, пожалуй, я возьму его, — в раздумье произнёс Чингиз-хан, — прикажи привести его сюда, я поговорю с ним, а сам можешь идти теперь. Помни же, вечером приходи к Эмин-Эфенди, он передаст тебе всё, что нужно. Прощай!

На этот раз хан милостиво протянул руку Мнацеканову, который поспешил осторожно и подобострастно пожать концы ханских пальцев.

Ренегат

— Кто ты такой? — грозно насупя брови, с величественной небрежностью спросил Чингиз-хан, окидывая пристальным взглядом стоявшего перед ним Ивана.

— Беглый солдат, унтер-офицер! — ответил тот по-татарски совершенно спокойно.

— Где ты выучился по-татарски? Ты ведь не мусульманин?

— Нет, я русский. Но там, где я жил, многие русские умеют говорить по-татарски.

— А где же ты жил?

— Недалеко от Тифлиса.

— Зачем ты бежал из полка?



— Этого я не скажу. Я, конечно, мог бы соврать тебе, хан, и наговорить сказок, но врать я не люблю, а правду сказать тоже не могу. Мне это слишком тяжело, а для тебя безразлично знать или не знать причину, заставившую меня бежать из России!

Чингиз-хан, приученный к раболепству, вовсе не ожидал такого смелого ответа. Он вспылал, и глаза его бешено сверкнули.

— Собака! — закричал он, топнув ногой. — Как ты смеешь отвечать мне подобным образом? Видишь это окно, — он указал пальцем на окно с балкончиком, с которого перед тем смотрел Карапет, — поди взгляни, сколько трупов валяется внизу, мне стоит сделать одно движение бровью, и ты будешь лежать там же, как падаль!

— Конечно, ты волен убить меня, — с тем же невозмутимым хладнокровием ответил Иван, не удостоив рокового окна взглядом, — но тогда, стало быть, всё, что я слышал про тебя, враньё, пустая бабья болтовня, и ты вовсе не таков, каким тебя описывают. Когда я шёл к тебе, мне говорили про тебя как про самого умного и проницательного человека в Персии. Тебя называли орлом, видящим насквозь каждого человека, с которым ты встречаешься, и что же, — ты с первых же слов собираешься выкинуть в окно, как ненужную тряпку, человека, могущего быть тебе весьма полезным, за которого, если бы ты отдал всех твоих глупых нукеров, и то было бы мало!

— Чем же ты можешь быть мне уж таким полезным? — с иронией в голосе, но тем не менее поражённый его смелостью, спросил Чингиз-хан.

— Сделай меня твоим телохранителем и дай мне команду человек сто, я тебе приготовлю такую лихую, хорошо обученную сотню, какой нет у самого шаха. Пусть тогда осмелится кто-нибудь взбунтоваться против тебя, с одной этой сотней можно будет разместить тысячу человек!

Чингиз-хан молча и пытливо глядел в лицо Ивана, обдумывая про себя его предложение. Тот стоял, смело и гордо, подняв голову, не опуская глаз под тяжёлым, недобрым взглядом сардаря.

— Ты христианин, — неопределённо произнёс, наконец, Чингиз-хан, — могут ли я тебе верить? Если хочешь заслужить моё доверие, сделайся правоверным, и тогда увидим, в противном случае ступай с моих глаз и знай, если русские потребуют твоей выдачи, я прикажу тебя связать и отправить на ту сторону. Понял?

— Бог один, и у мусульман, и у христиан, — вера разная, — ответил Иван, — если я пришёл к тебе, хан, то отныне твоя страна — моя страна, твоя вера — моя вера, твои обычаи — мои обычаи. Я ушёл со своей родины, чтобы никогда не возвращаться назад, я порвал с ней окончательно. Если ты, хан, не примешь меня, я уйду в Турцию!

Чингиз-хану, очевидно, понравился ответ Ивана, хмурое лицо его на мгновение прояснилось.



— Хорошо, — сказал он, — оставайся. Отрекись от гяуров, стань добрым мусульманином, и я приближу тебя к себе, я дам тебе дом, землю, жену, ты не будешь нуждаться, но помни, — и в голосе хана зазвучала зловеющая нотка, — вся твоя жизнь, всё твоё дыхание, голова и сердце — мои! Ты должен знать только меня, и только на меня должны устремляться твои очи! Что бы я ни приказал тебе, ты должен исполнять не колеблясь, как рука исполняет волю головы, иначе — смерть, лютая, жестокая смерть! Запомни хорошо мои слова. А теперь иди к моим нукерам, скажи, что я прислал тебя, и жди дальнейших приказаний!

Через много лет

Большое селение Шах-Абад красиво раскинулось по склону высокого холма, спускающегося отлогими террасами к самой реке Аракс. Вблизи крайне безобразные, слепленные из грязи²¹ и кое-как побеленные, с земляными, всегда полуразрушенными крышами и чёрными дырами вместо окон, жалкие лачуги селения издали, благодаря, главным образом, густой зелени садов выглядят очень живописно. Бесчисленное множество ручейков, сверкая резвыми струями, прихотливо бегут по выложенному камнем руслу и то пропадают под землёй, то снова вырываются наружу и, наконец, соединяются в разбросанных по разным концам селения водоёмах. На самой вершине холма, в стороне от прочих построек, расположен целый ряд домиков, по внешнему своему виду и архитектуре напоминающих европейские строения. Высокий каменный фундамент, гладкие кирпичные стены под штукатурку, большие окна с деревянными рамами, трубы на крышах и, наконец, просторные, высокие входные двери, с медными скобами и внутренними замками, а главное — общее строгое однообразие всех построек ясно говорили всякому, что в этих зданиях помещается какое-нибудь казённое учреждение. Высокая мачта с развевающимся на её верхушке флагом окончательно подтверждала это предположение.

Действительно, здания эти вмещали в себе шах-абадскую таможню с пакгаузом, канцелярией, квартирами чиновников и казармой таможенных солдат. Перед главным домом, где помещались канцелярия и находящаяся рядом с ней квартира управляющего таможней, был раскинут не особенно большой, но чрезвычайно густой и тенистый сад, изрезанный по всем направлениям дорожками, вдоль которых сплошной стеной шли розовые и гранатовые кусты. Под стенами дома был разбит красивый палисадник, с множеством чрезвычайно разнообразных цветов, а в противоположной стороне у задней стены живой изгороди виднелся тщательно возделанный огород. По середине сада был устроен каменный бассейн, доставлявший всему саду обильное орошение. В стороне от бассейна, обращённая к нему входом, возвышалась под сенью двух густых тутовых деревьев круглая конусообразная парусиновая палатка, внутри которой стояли небольшой стол, тахта, застланная ковром, и два-три венских стула. Бока палатки с двух противоположных сторон были



откинута, отчего получалась небольшая сквозная тяга воздуха, немного умерявшая зной: несмотря на конец августа и на то, что день склонялся к вечеру, жара стояла нестерпимая.

За столом сидела девушка. Простенькое белое кисейное платье с открытым воротом плотно облегалo её стройную, немного худощавую фигуру. Поглощённая всецело своим писанием, девушка не поднимала головы и только изредка досадливо отбрасывала рукой со лба волнистую прядь волос, упрямо лезшую ей прямо в глаза. Она, очевидно, очень торопилась. Рука её быстро и нервно мелькала, выводя мелкими буквами строчку за строчкой на странице толстой переплетённой тетради. Закончив страничку, она тщательно присушила её листком протечной бумаги и только хотела перевернуть, чтобы продолжать дальше, как из дома вышла молодая полная дама без шляпы, но под зонтиком.

— Лидия, а я к тебе! — крикнула молодая дама, сходя по ступенькам в сад, — в комнатах просто нет возможности сидеть, так душно. В палатке, наверно, гораздо прохладней.

— Милости просим, — ответила девушка, — здесь действительно ещё сносно, с грехом пополам сидеть можно, не рискуя быть совершенно испечённой.

— Господи, — искренне изумилась молодая женщина, входя в палатку, — ты в такую адскую жару находишь возможным ещё писать, не понимаю... я так просто пальцем не могу шевельнуть. Поверишь, мне даже думать жарко.

Лидия весело расхохоталась.

— Положим, Оля, ты всегда была немного Обломовым, даже барышней, а теперь, сделавшись мадам Щербо-Рожновской, совершенно обабилась.

— Фу, «обабилась», коль выражаясь, — шутливо поморщилась Щербо-Рожновская, — а ещё институтка! Ну, нечего сказать, изящному *façon de parler*¹ учат в институтах нынешнего времени!

— Ах, боже мой, «институтка нынешнего времени»: подумаешь, сама давно кончила! У нас, наверно, ещё и парту-то, на которой ты сидела в выпускном классе, перекрасить не успели.

— Нет, друг мой, — слегка вздохнула Ольга, — наверно, перекрасили и не одни раз. Это только так кажется, будто бы недавно, а подсчитай-ка: почти пять лет прошло, как я замужем и живу на Закавказье, да дома в девушках около года, и выходит без малого шесть лет со дня моего выхода из института. Время летит, как птица, не заметишь, как начнёшь стариться, особенно при такой однообразной, монотонной жизни в таком убийственном климате. Обидней всего то, что состаришься, не выдавши молодости, среди пошлости и скуки провинциального прозябания. Впрочем, нашу трущобу даже и провинцией нельзя назвать, просто-напросто безлюдная глушь, дикая пустыня и ничего больше!

¹ *Façon de parler* — манерам (фр.).





— Ну, полно, что за мрачные мысли! По-моему, здесь жизнь вовсе не так уж однообразна, как ты говоришь, что касается меня, то, признаюсь, я с большим интересом приглядываюсь ко всему окружающему и нахожу как людей, так и местный быт, заслуживающими большого внимания. Каждый день мне приносит массу новых, оригинальных впечатлений, одни здешние типы чего стоят!

— Ах, полно, — с досадой перебила Лидию Ольга, — всех этих впечатлений хватит не более как на один год, потом всё это так надоест, что глаза не глядели бы. Ты думаешь, я, когда в первый раз приехала на Закавказье, не испытала того же? Испытала в лучшем виде: при взгляде на верблюда в умиление приходила, а на всякого пройдоху в черкеске смотрела, как на какого-нибудь Бей-Булата и Хаджи-Абрека, духанщиков, армяшек лживых, трусливых, ничтожных, принимала за черкесов... Ах, да всего и не вспомнишь! Это общая болезнь всех русских, приезжающих из центральных губерний поэтизировать Кавказ и глядеть на него сквозь лермонтовские очки, но при дальнейшем знакомстве эта блажь скоро соскакивает, глаза проясняются, и начинаешь видеть всё в настоящем его свете.

— Ну, уж ты чересчур! — укоризненно покачала головой Лидия. — Тебе просто захотелось пожить в большом городе с его увеселениями и сутолокой, оттого тебе и кажется всё гадким. Ты озлобилась и на природу, и на людей, бранишь армян, бранишь татар, даже здешними русскими молочанами, и теми недовольна, а я скажу, что армяне далеко уж не так худы, как про них говорят, в них много природного радушия, гостеприимства, весёлости, они чрезвычайно трудолюбивы и способны, что же касается татар, — мне в них нравится религиозность, безропотная покорность судьбе, величая важность во всех движениях и их беззаботность в завтрашнем дне, они истые философы, чуждые европейской меркантильности...

— Довольно, довольно, будет, уши вянут, — с явным раздражением замахала руками Ольга, — такую чепуху можно говорить только на пятый день по приезде на Закавказье, а ты уже, слава богу, три месяца живёшь здесь! Вот никак не ожидала видеть в тебе такую институтскую восторженность. Впрочем, у тебя это отцовская черта. Наш отец в восторг приходил от Финляндии и находил её самой живописной, самой лучшей страной в мире. Я только одно лето прожила там, и мне она вовсе не понравилась. Угрюмое, серое небо, тусклое солнце, голые скалы, люди точно пещерного периода: хмурые, молчаливые, обросшие мохом, с вонючими трубами в зубах... Брр...

— А где же хорошо по-твоему? Мабудь под Полтавой? — лукаво подмигнула Лидия.

— А то ж и взаправду, — оживилась Ольга, — разве же можно сравнить нашу чудную Украину с какой-нибудь Чухляндией или тем более с этим басурманским Закавказьем. Что ни возьми, климат ли — превосходный, природу ли — богатейшая, людей ли — и люди прекраснейшие! Так вот и вижу перед собой нашего хохла: широкоплечий, богатырски сложенный, неповоротливый с виду, чудакова-



тый, а в сущности, большая умница, природный юморист и комик, с поэтической, отзывчивой душой и железным характером, благодаря которому он вынес на своих могучих плечах татарские набеги, турецкие погромы, гнёт панов-ляхов и всякие правды и неправды московских бояр, вынес и остался тем же, чем был, не изменил себе, своей самобытности. Ну, скажи сама, это ли не народ-богатырь?

Ольга говорила с увлечением. Лицо её раскраснелось, а большие тёмные глаза разгорелись.

Лидия не выдержала и громко и весело расхохоталась.

— Чему ты? — удивилась Ольга.

— Ну и курьёзная же наша семья, как подумаешь, — отвечала сквозь смех Лидия, — во всё крайности и несообразности! Ты истая хохлушка и душой, и наружностью, тебе бы быть какой-нибудь Ганьзей Перерепенко, а ты урождённая Норден-Штраль, Ольга Оскаровна, я, твоя родная сестра, ни капли на тебя не похожая, лицом и характером настоящая шведка. Отец наш, живя в Малороссии, грезил далекой, холодной Финляндией, а мать, когда ей пришлось на несколько лет переехать в Финляндию, чуть не умерла с тоски по родной Украине.

— Что ж тут удивительного, — задумчиво произнесла Ольга, — это так бывает почти всегда при смешанных браках!

— У отца жена должна была быть шведкой, и жить им следовало в Финляндии, матери нашей нужно было выйти замуж за какого-нибудь Тараса Ковтуна и не покидать своей Украины. Я вот поступила разумней, сама хохлушка, и мой Осип Петрович — тоже заправдашний хохол. Когда-нибудь под старость, как заслужим пенсию, уедем в Киевскую, Полтавскую или Черниговскую губернию, купим хуторок, да и будем пануваты!

— А я здесь останусь, на Закавказье, мне здесь нравится, влюблюсь в какого-нибудь черкесского армянина или татарского хана, и прекрасно!

— Смейся, смейся, а я, признаться, очень недовольна твоей дружбой со всеми здешними беками и ханками, мусульмане вовсе не компания нам, русским, между ними есть, конечно, хорошие люди, хотя бы, например, наш комиссионер Али-бек, но большинство из них настоящие дикари.

— Это-то в них и интересно. На цивилизованных кавалеров я уже в Москве нагляделась и мне, право, гораздо больше нравятся сыны природы, как, например, хотя бы сыновья местного хана Тимур и Джаагир шах-абадские.

— Ты всё шутишь, — уже с некоторой досадой произнесла Ольга, — а я вовсе не шучу, напротив, серьёзно и убедительно прошу тебя, держи себя подальше вот от этих-то самых Джаагира и Тимура. Оба они порядочные негодяи и головорезы.

— Что же, ты боишься, как бы меня не похитили? — усмехнулась Лидия.

— Похитить не похитят, а от каждого местного татарина всегда можно ожидать всякой пакости. К тому же твоё вольное обращение с ними вызывает сплетни и пересуды между чиновниками. Что за охота компрометировать себя из-за каких-то оболтусов?



— Недоставало, чтобы я стала обращать внимание на пересуды ваших чиновников и чиновниц, — капризно топнула ногой Лидия, — подумаешь, какие?

— А взаправду хорошие люди кажут, где соберутся две бабы, там уже и ярмарка, шо таки туточки раскудахтались?

С этими словами в палатку вошёл высокий, плотный мужчина лет сорока, бритый, с длинными казацкими усами, одетый в чечунчовую тужурку таможенного ведомства. Это был сам Осип Петрович Щербо-Рожновский, муж Ольги Оскаровны и управляющий шах-абадской таможней. Он только что окончил занятия и вышел в сад подышать свежим воздухом после долгого, утомительного сидения в канцелярии.

Сосед

— Да вот, Остап, — пожаловалась Ольга мужу, — всё с Лидией спорю. Ну, скажи, не права я? Разве хорошо она делает, выказывая так явно свои симпатии местным татарам и армянам, особенно этим двум ханкам Тимуру и Джаагиру шах-абадским?! Она постоянно с ними гуляет, ездит с ними верхом, точно с какими-то своими пажамы, в конце концов люди бог знает что могут подумать.

— Ну, и пусть их, на здоровье, — с капризной настойчивостью качнула головой Лидия, — очень меня это интересует!

Осип Петрович добродушно ухмыльнулся.

— Ничего, жинка, брось, дай срок, Лидии Оскаровне самой все эти господа азиаты скоро хуже горькой редьки обрыдлят. Теперь, пока внове, её всё интересует и в ином лучшем свете, кажется, а приглядится — как и мы грешные, всю эту басурманщину возненавидит.

Лидия хотела что-то возразить, но в эту минуту около калитки раздался топот лошади и чей-то симпатичный голос громко и весело крикнул:

— Можно?

— А, это вы, Аркадий Владимирович! — радостно откликнулся Щербо-Рожновский. — Разумеется, можно, что за вопросы, разве не знаете, какой вы для нас всегда дорогой гость?

Говоря таким образом, Осип Петрович торопливо пошёл навстречу высокому, белокурому пограничному офицеру в кителе и белой фуражке. Встретясь с ним, он крепко пожал ему руку, на что офицер с ласковой улыбкой ответил тем же, а затем подошёл к дамам и вежливо поздоровался с ними. В ту минуту, когда он слегка сжал пальчики Лидии, в лице его на мгновение промелькнуло выражение затаённого, худо скрытого восхищения.

— Как кстати вы приехали, Аркадий Владимирович, — ласково улыбнулась Ольга Оскаровна, — мы сейчас будем чай пить, и вы — за компанию.

— Не откажусь. Признаться, я дома не пил!



— Ну, что нового? — спросил Щербо-Рожновский, садясь рядом и дружелюбно похлопывая Аркадия Владимировича по колену. Тот добродушно усмехнулся.

— Нового? — переспросил он, — да какие новости могут быть у нас здесь, в этой трущобе. Всё то же, что и вчера, и десять — двадцать дней тому назад. Встал утром, пил чай, писал разные входящие и исходящие, завтракал, после завтрака ездил в разъезд, вернулся к обеду, отобедал, после обеда, простите, поспал немножко, затем приказал оседлать Руслана и приехал к вам. Вот весь мой день. А у вас как?

— То же самое, с тою только разницей, что вместо разъезда хожу в пакгауз или на паром. Да, батенька, жизнь как веретено вертится, а всё на одном месте. Однообразие полнейшее. В прошлом году, вас ещё не было, проезжал тут в Персию один миссионер-англичанин, заболел лихорадкой и прожил у меня дня 3—4, недурно говорил по-немецки, расспрашивал, как мы живём, что делаем, как время проводим, и когда я ему подробно рассказал о нашем житье-бытье, знаете, что он мне отчубучил? «Вот, — говорит, — вы, русские, обижаетесь, когда мы, понимай, Западная Европа, не считаем вас за европейцев. Ну, согласитесь сами, если бы вы были действительно европейцы, могли ли бы вы жить при таких условиях, вне всякой культуры и культурных потребностей?»».

— Ну, а вы что ему на это? — заинтересовался Аркадий Владимирович.

— А что я мог ему ответить? Он же, безусловно прав. Вообразите себе англичанина без какого-нибудь, хоть маленького, клуба, без ежедневной почты, без церкви, без всякого развлечения, хотя бы лаун-тенниса или футбола, и при том не в течение известного какого-нибудь, заранее определённого времени, а на всю жизнь, без надежды когда-либо очутиться в лучших, более человеческих условиях. К довершению всего, получающего за всё за это гроши, которых едва-едва хватает на предметы первой необходимости. Согласитесь, что это даже и вообразить себе невозможно. Ни англичанин, ни француз, ни немец ни за что бы не согласились на подобную жизнь; мы живём и хлеб жуём и даже не находим нужным влиять на окружающих нас полудикарей в смысле их цивилизации. Вместо того чтобы их заставить усвоить наши привычки и обычаи, мы сами снисходим до них, применяемся к их вкусам, обычаям, понятиям. Англичане в Индии, французы — в Алжире, немцы — в Камеруне продолжают жить, как жили в Лондоне, Париже, Берлине, приучая туземцев к своим привычкам. А мы, русские, как только приезжаем сюда, хватаемся за панырь, лаваш, тархун, день распределяем по мулле и об одном только и заботимся, чтобы как-нибудь не нарушить привычек туземцев, не оскорбить их религиозных взглядов, не задеть их обычаи. Какой же всему этому результат? Самый печальный, и для нас самих, и для попавших нам в руки дикарей. Вот мы Закавказьем владеем более полувека, но если бы каким-нибудь чудом нас выбросили отсюда, то через год не осталось бы и следа нашего полувекового владычества, ни в чём решительно. Никто бы и не поверил даже, будто бы эта страна находилась пятьдесят лет под управлением европейского цивилизованного государства, точно



нас и не было никогда. Да, батюшка, плохие мы, русские, цивилизаторы, и не знаю, будем ли когда-нибудь лучшими. Вот возьмите, далеко не ходить, мою прелестную Лидию Оскаровну. Москвичка, хохлушка, всё, что хотите, приехала на Закавказье и в восторге от всего здешнего. Ишаки — прелесть, ханки полуграмотные — душки, в грязном, полоумном дервише видит что-то библейское, чуть ли не чадру готова надеть и мусульманкой сделаться... Ну, скажите, пожалуйста, мыслим ли среди англичанок такой тип?

— Ну, вы, кажется, уже чересчур нападаете на Лидию Оскаровну, — улыбнулся Аркадий Владимирович, — я вовсе не замечаю в них такого стремления к ренегатству.

— А вы прочтите её дневник, который она ведёт со дня приезда на Закавказье, тогда и узнаете.

— А вы читали? — немного задетая за живое, спросила Лидия.

— Сам не читал, Оля говорила. Она читала.

— А со стороны Оли это очень нехорошо: если я ей доверилась и дала ей прочесть свой дневник, то она должна была держать это в секрете.

— Да я ничего особенного и не рассказывала, — начала оправдываться Ольга Оскаровна, — просто к слову сказала, что у тебя во всём проглядывает какая-то особая страсть и приверженность к туземному, да ты этого и сама не скрываешь.

— Ну, и что же из этого! — горячо воскликнула молодая девушка, — не скрываю и не нахожу надобности скрывать. Да, мне здесь нравится, и знаете ли, главным образом, что именно нравится? Несложность и простота жизненных условий! Вы вот все, господа, взапуски браните туземцев и готовы чуть ли не под угрозой смерти навязать им европейскую культуру, а между тем отсутствие этой культуры и есть величайшее благо. Туземец ближе к природе и через это правдивее и прямолинейнее, чем мы, европейцы. Здесь ещё не создалась та чудовищная разница в положениях людей, какую мы видим в наших городах, ну хотя бы, например, в Москве. Здешний бедняк муша несравненно ближе и по своему образу жизни, и по своим требованиям к самому богатейшему и знатнейшему хану, чем босяк с Хитрова рынка — к князю Трубецкому или даже какому-нибудь перво-гильдейскому купчине, утопающему в самой изысканной роскоши. Здесь вам не случается наталкиваться на такие контрасты: в подвале, у какой-нибудь несчастной прачки умирает от истощения единственное дитя. Умирает потому лишь, что у бедной матери не только нет средств покупать ему каждый день молоко, мясо, булку, но она не в состоянии даже пригласить доктора, чтобы тот хотя бы чем-нибудь облегчил страдания малютки. А в том же доме, но в бельэтаже, избалованная, раскормленная до пресыщения болонка или моська, любимица какой-нибудь знатной барыни-миллионерши, брезгливо отворачивает мордочку от чудеснейших густых сливок, с намоченными в них бисквитами, по восемь гривен фунт. Встревоженная отсутствием аппетита своей любимицы, самодурка-хозяйка немедленно посылает горничную в карете за молодым



ветеринаром, тот приезжает, глубокомысленно осматривает объевшееся животное, прописывает ему золотёные пилюли по три рубля коробка и важно удаляется, небрежно пряча в жилетный карман пять—десять рублей за визит. На негодную, дряхлую, полуслепую собачонку, долженствующую всё равно не сегодня-завтра умереть от старости, тратится сумма, могущая спасти ребенка, в котором, может быть, таится зародыш гения! Ну, скажите, разве же это не чудовищно?! Разве можно желать торжества такой цивилизации?

— Ба, ба, ба, да вы, Лидия Оскаровна, совсем толстовка, — весело засмеялся Воинов, — такую нам картинку нарисовали, хоть в Крёйцерову сонату включай!

Молодая девушка сделала презрительную гримасу.

— Как немного надо, чтобы прослыть толстовкой, — небрежно уронила она, — достаточно в известном случае про белое сказать, что оно бело, не серо и не жёлто!

— Положим, не совсем так, — возразил Воинов, слегка задетый небрежностью её тона, — на ваш пример я бы мог многое ответить. Хотя бы уже и то, что рядом с барыней-собачницей, приводимой вами как пример, есть сотня других барынь, на средства и хлопотами которых существуют в той же Москве бесплатные лечебницы, приюты для сирот, богадельни для старцев и калек, о чём ваши, стоящие близко к природе, полудикари понятия не имеют. В Персии сумасшедшие ходят по воле, и когда ими овладевают припадки буйства, их бьют палками и камнями, в конце концов забивают насмерть. Далее, я лично своими глазами видел заболевших бедняков или дряхлых старцев, беспомощно умиравших, подобно собакам, в кустах, у большой дороги, если только они не имели своего дома или хотя бы имущих родственников, так как ни больниц, ни каких бы то ни было общественных призрений там нет, и не водится. Впрочем, не в этом дело и не об этом речь, а в том, что вы, Лидия Оскаровна, действительно чересчур доверчиво относитесь к туземцам, не зная их вовсе...

— Хотя бы, например, к двум здешним ханкам шах-абадским, — перебил Осип Петрович, — ну, скажите сами, Аркадий Владимирович, — отнёсся он к Воинову, — разве же я не прав, утверждая, что они страшная дрянь?! Ленивые, праздные, лживые и даже вороватые. А вот Лидия Оскаровна не хочет этому верить и видит в них каких-то героев из романов Марлинского.

— Ну, уж на героев-то в духе Марлинского они меньше всего похожи, — засмеялся Воинов, — хотя бы уже в виду их позорнейшей трусости. Вы, Лидия Оскаровна, не дивитесь, что у них кинжалы по аршину длиной и все в серебре, револьверы на боку и папахи на затылке, не смотрите и на их удалое гарцевание. Гарцевать-то они мастера. Поглядеть, как они галопируют и джигитуют на своих красивых конях, подумаешь, центавры да и только, джигиты, но пусть-ка любая баба с коромыслом поэнергичнее напустится на них, живо, как петухи индейские, подберут крылья и дерка зададут. Знаете, что мне здесь, на Закавказье, всегда казалось курьёзным, — обратился Воинов к Осипу Петровичу, — взаимное



отношение местных жителей к местным разбойникам. Между ними точно раз навсегда уговор заключён: так как вы, мол, разбойники, то мы вас обязуемся бояться. Просто смеха достойно, — пять-шесть мерзавцев являются в селение, где сотни полторы одних мужчин, поголовно вооружённых кинжалами, а у многих даже и ружья есть, и бесцеремонно грабят их, а те или проявляют баранью покорность, или, что, впрочем, редко, оказывают какое-то опереточное сопротивление, издали потрясают оружием, кружатся на своих клячах и не без эффекта стреляют в небо. Добро бы и разбойники-то были головорезы, а то такие же трусы. В прошлом году, в Албадже, мой разъезд из трёх человек случайно наткнулся на целую шайку кочков²², солдаты ружей из-за плеч поснимать не успели, как вся шайка разбежалась во все стороны, побросав лошадей, навьюченных разной награбленной рухлядью. Некоторые из разбойников даже оружие побросали с себя: кинжалы, винтовки и пояса с патронами. В довершение всего все они, как бараны, кинулись в паническом страхе, очертя голову, в реку, не разобрав брода, причём трое из них утонуло, а было их человек пятнадцать, по крайней мере. Ужасная дрянь, мирные же татары даже таких боятся. Поверьте, если в то время, когда вы ездите кататься в сопровождении этих самых ханков шах-абадских, вам встретится один хотя бы самый замухристый кочак, даже без оружия, при одной дубине, ваши кавалеры, как зайцы, дадут стрелка, забудут и о своих серебряных кинжалах и о револьверах, бросят вас на произвол судьбы, а сами укачут.

— Вот и я то же говорю, — вмешалась молчавшая до того Ольга Оскаровна, — но Лидия не хочет верить.

— Не хочу, а не могу поверить, чтобы весь народ поголовно был одинаков, конечно, есть и трусы, но наверно есть же и храбрецы! — горячо возразила Лидия.

— Между персидскими татарами нет храбрецов, поверьте мне, — уверенно произнёс Воинов, — вот курды, те ещё ничего, да и их храбрость скорее сравнительная. Наряду с персами они, конечно, храбрецы, но сами по себе тоже трусы порядочные. Впрочем, я знаю одного человека в Персии, некоего Муртуз-агу, этот, пожалуй, будет храбрец недюжинный.

— Вот, видите ли, значит, есть между персами храбрые люди! — воскликнула Лидия.

— В том-то и штука, что неизвестно, кто он такой, только едва ли перс. Про него разно рассказывают: одни говорят, будто бы он беглый русский, другие подозревают в нём обасурманившегося турецкого армянина или даже грека, сам же он выдаёт себя за перса, долго жившего в России. По-русски говорит прекрасно. Уверяет, будто бы выучился за бытность свою в России. Словом, бог его ведаёт, кто он такой. Я познакомился с ним недавно и признаюсь, он на меня произвёл сильное впечатление, субъект весьма интересный. Вот бы вам, Лидия Оскаровна, познакомиться с ним. Про него, пожалуй, и я скажу, что он личность вполне романтическая, решительно непохожая ни на кого из здешних.

— Да кто он такой и как вы с ним познакомились?



Шуртуз-ага

— Кто он такой — я не знаю, а познакомился я с ним следующим образом. Несколько дней тому назад на рассвете я был разбужен выстрелами. Сначала мне представилось, что это идёт перестрелка на ближайшем участке моего отряда, но оказалось, стрельба шла на персидской стороне. Я живо оделся и бросился на крышу своего поста. Но раньше, чем продолжать, позвольте познакомить вас немного с местностью. Мой пост с офицерской квартирой, где я живу, Урюк-Даг, как вам известно, отсюда вёрст на пять с небольшим и построен на высоком, крутом холме, мысом вдающемся в реку Аракс. Противоположная, персидская, сторона представляет из себя равнину, ограниченную с одной стороны цепью гор, удалённых от реки вёрст на пять, на шесть, не больше. Долина эта лишена всякой растительности и усеяна камнями и местами — солончаками, издали похожими на пласты только что выпавшего снега. На всём пространстве, куда только достигает глаз, вы не заметите ни одного дерева, ни одного кустика, ни одной зеленеющей полянки; песок, камни и небо, и больше ничего. Только по самому берегу реки, версты на две вглубь, идут сплошные, густые, непролазные заросли камыша. Камыш так высок, что в нём легко может спрятаться всадник на лошади, а о густоте его можно судить, только побывавши там, просто стена сплошная, да и только. Местность, на которой камыш растёт, вся изрыта глубокими канавами, оврагами, рытвинами, изобилует небольшими болотцами, излюбленным местом диких кабанов, во множестве водящихся в этих камышах. Когда я с биноклем в руках вышел на крышу, то увидел толпу всадников, человек тридцать, по крайней мере, одетых в одинаковые тёмно-синие кафтаны и бараньи шапки. Разбившись на небольшие группы, они носились по полю как угорелые, оглашая воздух криком и визгом. Время от времени они поодиночке или небольшими группами, человека по два — три, сломя голову, неслись к камышам, но, не доскакав до них шагов двести — триста, останавливались и принимались стрелять; в ответ на эту стрельбу из камышей тоже гремели выстрелы, после чего всадники поворачивали лошадей и мчались обратно. Смотреть со стороны было очень красиво. Снующие взад и вперёд тёмные фигуры на разномастных лошадях, блеск оружия, блях и пуговиц, взрывающиеся то там, то здесь белые дымки выстрелов — и над всем над этим ясно-голубое, безоблачное небо. Солнечные лучи ярко освещали всю эту картину и придавали ей какой-то праздничный вид. Точно театр марионеток.

Я долго не понимал, что за штука происходит передо мной, и сначала был склонен принять всё это за какую-нибудь военную игру, род нашей казачьей джигитовки, но скоро должен был убедиться в том, что присутствую далеко не при мирной забаве. Я увидел, как один из всадников, вынесшийся далеко впереди других, осадил на всём скаку своего коня и молодежато прицелился, но не успел он спустить курок, как из зарослей грянул дружный залп, зловещим эхом прокатившийся по



долине. На одно мгновение я видел, как лошадь всадника взвилась на дыбы и затем тяжело опрокинулась навзничь, вместе с ездоком. Упав на землю, оба остались неподвижны, очевидно, убитые наповал. Признаюсь, при виде этих двух трупов, распростёртых на горячих камнях, ещё за минуту перед тем полных такой жизненной энергии и увлечения, мне стало жутко и вместе с тем безотчётно жалко убитого перса. На остальных всадников гибель товарища подействовала поджигающе, я думал, они рассыплются во все стороны, как воробьи, но ошибся. Как только ездок и лошадь упали, все остальные всадники издали пронзительный визг и как один со всех сторон понеслись к камышам, откуда навстречу им, не переставая, трещала частая, но, очевидно, бестолковая ружейная пальба.

Впереди атакующих скакал человек на белом рослом коне. Издали он не отличался от остальных, такой же тёмный кафтан с блестящими пуговицами, такая же конусообразная папаха с горевшим на солнце медным гербом, но по тому, как он энергично размахивал кривой шашкой и, оборачиваясь назад, громко и повелительно кричал на поспешавших за ним других всадников, я угадал в нём предводителя. Сзади всадника на белой лошади скакал другой с чем-то вроде знамени в руках: недлинная палка с развевающимся на её конце густым конским хвостом и какими-то пёстрыми лентами.

В ту минуту, когда всадники были уже в нескольких шагах от камышей, двое из них вдруг закачались на сёдлах и кубарем покатались вниз под копыта коней, которые, почуя свободу, шарахнулись в сторону и понеслись по полю, испуганно подняв головы и разметав по ветру длинные хвосты.

Ближайшие к убитым всадники не выдержали и, круто повернув лошадей, со своим предводителем во главе лихо ворвались в камыши и почти одновременно с этим оттуда, как зайцы, во все стороны посыпались спасающиеся бегством пешие и конные курды. Несколько человек кинулось в степь, другие пустились вдоль берега по камышам, точно преследуемые охотниками кабаны, но большинство решилось пробиваться к горам. С пронзительным воем, стреляя на скаку из ружей, набросились курды на ближайших всадников и, в мгновение ока, прорвавши их негустую цепь, помчались к горам, где они могли считать себя вне опасности. Двое со страху, как слепые, кинулись в Аракс, очень быстрый и глубокий в этом месте, но их тотчас же захлестнуло волнами, стремительно сорвало с лошадей, закрутило, завертело как щепки и потащило вниз на острые выступы подводных скал. Несколько минут утопающие отчаянно боролись с яростным течением, но скоро выбились из сил и скрылись под водой. Я видел, как раза два высунулись над водой их искажённые страхом лица, как мелькнули в воздухе ослабевшие руки, и затем всё исчезло. Река поглотила свои жертвы. Тем временем лошади всадников, освободившись от тяжести, благополучно, хотя и с трудом, приближались к нашему берегу. Их сильно сносило течением, по крайней мере, версты на три ниже поста. Я приказал вахмистру послать несколько человек конных перенять их, что и было исполнено.



Тем временем прорвавшаяся кучка курдов бешеным галопом неслась по горам, преследуемая по пятам всадниками. Вот тут-то во время этого преследования, я и убедился в том, насколько начальствовавший над персами в синих кафтанах предводитель был истый герой и молодец. Не обращая внимания на то, следуют ли за ним, в каком числе и на каком расстоянии его люди, он с беззаветной храбростью, как коршун, бросился в самую середину врагов. Я видел, как он наскочил на одного огромного курда, свалив его с лошади сильным ударом шашки по голове, не останавливаясь, ринулся на другого. Завидя его, курд, как кошка, перекинулся на другую сторону седла и направил в предводителя дуло своего пистолета, но тот грудью своей массивной лошади опрокинул жалкую курдскую клячонку и в то время, как лошадь и всадник кубарем летели на землю, он выстрелом из револьвера размоzzжил голову последнему. Покончив и с этим, он пустился за остальными и вмиг догнал их, но курды потеряли уже совсем головы. Паника всецело охватила их, и все они как по команде неожиданно побросали ружья и повалились с лошадей на землю. Уткнувшись лицом в землю, стояли они на коленях, жалобно вопя о пощаде. Персы мигом окружили их и с криком и гвалтом принялись крутить им руки. Теперь, когда уже курды покорились, преследователи их показывали большую энергию и храбрость, но я уверен, не будь предводителя, они бы ни за что не дерзнули задержать отчаянных разбойников. Таким образом, можно сказать, что начальник одной своей беззаветной храбростью и умением лихо рубиться принудил человек пятнадцать отчаяннейших головорезов положить оружие и отдаться в руки его людям. Предводитель этот, проявивший такое мужество, удаль и находчивость, и есть тот самый Муртуз-ага, о котором я упоминал как о единственном храбром персе, встретившимся мне в жизни. Я в тот же день познакомился с ним и вот при каких обстоятельствах.

Когда курды были все перевязаны, начальник распорядился отправить их под сильным конвоем, большей половины своих людей куда-то внутрь страны, очевидно, в Суджу, а сам с остальными вернулся назад к реке распорядиться захватить мёртвых и раненых. Я не мог преодолеть своего любопытства узнать в точности, что это было за происшествие, которому я был свидетель. Я приказал приготовить лодку и, взяв с собой вахмистра и трёх рядовых, поехал на ту сторону. Когда мы подъехали, то увидели всадников, уже выстроенных в одну шеренгу, шагах в двадцати от берега, предводитель на серой лошади стоял впереди, и только мы вышли из лодки, он что-то крикнул своим, похожее на команду. По этому окрику всадники выхватили свои шашки и, подняв их высоко над головой, взяли ими на плечо, наподобие того, как мужики и бабы носят серпы.

После этого предводитель повернул на меня свою лошадь и, подскакав, на всём карьере осадил её перед самым моим носом.

— Имею честь представиться, — прикладывая руку ко лбу, произнёс он на чистом русском языке, — Муртуз-ага, сарбаз-султан²³ Сардаря Хайлар-хана Суджинского.



Мы поздоровались, после чего он соскочил с лошади, приказал принести ковёр и пригласил меня сесть.

Откуда-то взялся изящный кальян, и между нами завязалась беседа. На мой вопрос о только что виденном он дал мне следующее объяснение. Несколько дней тому назад партия турецких курдов, прорвавшись через персидскую границу, напала на приграничных жителей, ограбила их. После чего часть партии с награбленным добром поспешно вернулась восвояси, а часть направилась вдоль реки, в расчёте, вероятно, сделать набег ещё на какие-нибудь селения или даже попытаться переправиться на русскую сторону и, свершив там ряд грабежей, уйти обратно в Турцию.

Узнав о произведённых курдами бесчинствах, Хайлар-хан Сардар Суджинский приказал Муртуз-аге, исполняющему должность командира единственной в Судже и им самим сформированной полурегулярной сотни телохранителей Сардара, идти в погоню за оставшейся в пределах шайкой и уничтожить её. Три дня Муртуз-ага шёл по следам курдов, которые, заметив погоню, решили, ради своего спасения, перебраться на русскую сторону и скрыться в непроходимых, девственных горах Адарбаха. Для переправы они выбрали густые камыши, на несколько вёрст тянущиеся вдоль границы в глухой, безлюдной пустыне Беюк-Дага, против дистанции моего отряда. Приди они немного раньше, ещё ночью, им бы, пожалуй, удалось благополучно прорваться, благодаря малочисленности солдат, особенно в настоящее время, в период повальной малярии, когда большая половина людей в беспамятстве валяется на постах. Но, на их несчастье, они запоздали и, когда достигли берега, то уже ночь подходила к концу. Разбойники не решились начать переправу, твёрдо убеждённые в невозможности проскользнуть на рассвете незамеченными пикетами пограничной стражи. Зная трусливую медлительность персов, курды были уверены, что посланные в погоню за ними сарбазы Сардара, в свою очередь, днём не посмеют атаковать их открытой силой, а дождутся ночи, когда и откроют бесцельную перестрелку, под прикрытием которой преследуемым легко будет уйти в какую угодно сторону. Так бы оно и вышло, если бы сарбазами командовал не Муртуз-ага. Отчасти личным примером мужества, а главным образом, обещанием подвергнуть тех, кто выкажет трусость, жестоким наказаниям, он сумел возбудить в своих людях прилив мало свойственной им отваги, результатом чего и был полнейший разгром шайки.

Слушая Муртуз-агу, я внимательно приглядывался к нему, и, признаться, он мне в высшей степени понравился и заинтересовал меня. Это был человек среднего роста, лет тридцати восьми, с красивыми усами, большеглазый, худощавый, нервно-подвижный, с изящными жестами.

— Где вы выучились так хорошо говорить по-русски? — спросил я его.

Он лукаво улыбнулся и не сразу ответил.

— Мой дядя был тифлисским торговцем, и я долго жил с ним в Тифлисе, а раз даже ездил в Москву, — произнёс он, наконец, и затем уже больше к этому





вопросу не возвращался. Мы просидели часа три и расстались друзьями, по крайней мере, я положительно от него в восторге. Затем я спрашивал его, почему он не ездит на нашу сторону.

— Хан не любит, когда его приближённые без особенной нужды посещают Россию! — ответил он мне.

— Почему же? — задал я вопрос.

— Боится измены, — улыбнулся Муртуз-ага, — он, говоря между нами, страшно опасается, чтобы русские не вздумали захватить Суджу. На шаха надежда плохая; мы достоверно знаем, что несколько лет тому назад он тайно предлагал русскому правительству уступить Суджу за известную сумму, но русские не согласились.

— При расставании он взял с меня слово приехать на кабанью охоту. Я уже написал нашему командиру отдела, он давно собирается на кабанов, вы, Осип Петрович, тоже, наверно, не откажетесь?!

— Отчего же, я с удовольствием! — согласился Щербо-Рожновский.

— А нам с Олей можно будет поехать? — спросила Лидия.

— Это зависит от командира отдела, — сказал Воинов, — если он ничего не будет иметь против присутствия дам на охоте, то почему же вам и не ехать. Мы вам выберем безопасное место, с которого вы всё прекрасно увидите!

— Ну, за нашего милого Павла Павловича я вперёд уверена, — засмеялась Ольга, — он такой любезный дамский кавалер, что, наверное, не откажет. А как же мы поедем?

— До моего поста можно в экипажах, тут недалеко, всего вёрст пять, а там через Аракс на лодках, лошадей же наших солдаты переправят вброд!

— Вот отлично-то, — захолопала в ладоши Лидия, — ах, как будет весело! О, — обрадовалась она, — мы увидим кабанов?!

— Если только они будут, то, разумеется, увидите. Мы поставим вас где-нибудь на возвышении на линии стрелков, так, чтобы загон прошёл мимо вас!

На охоту

На посту Урюк-Даг с раннего утра идёт суматоха.

Ещё с вечера к Воинову, в его холостяцкую квартиру, собралась целая компания. Из г. Нацваллы приехал командир отдела Павел Павлович Ожогов с военным врачом Ладожинским, а из Шах-Абада — Осип Петрович с женой и Лидией. Вечер прошёл очень оживленно. Смеху и шуткам не было конца.

Павел Павлович, бывший лейб-улан, спустивший в своё время большое состояние, имел дар оживлять всякое общество, что же касается дам, то с ними он был изысканно любезен и своим обращением, веселыми шутками, умением ухаживать тонко и деликатно, заставлял забывать и свою большую лысину, и седину пятидесятилетнего старика, впрочем, ещё весьма хорошо сохранившегося.



Для ночлега Воинов уступил дамам свой кабинет, мужчины же спали на крыше. В Закавказье летом редко кто из мужчин спит в комнатах, где из-за мошкеры нельзя спать иначе, как под густым пологом, поэтому многие предпочитают сон на свежем воздухе, на крышах или на особенно устроенных высоких вышках, откуда мошку сдувает ветром. Как обыкновенно бывает, когда соберётся компания мужчин, половина ночи прошла в рассказывании анекдотов, на которые был особенно мастером Павел Павлович, а с появлением рассвета на посту поднялась такая суета, что заснуть не было никакой возможности.

Первым делом, пока ещё барыни не встали, надо было переправить лошадей. Человек десять солдат искуснейших пловцов, раздевшись донага, под наблюдением вахмистра Терлецкого, сидя на неосёдланных лошадях, собрались на берегу. Дня за два перед этим в горах выпали сильные дожди, отчего уровень Аракса значительно повысился, что в соединении с быстротой течения и изменчивостью дна делало переправу не совсем безопасной, но для закалённых боевой обстановкой их жизни пограничных солдат это казалось сущим пустяком. Весело смеясь и перекикаясь между собой, смело двинулись они длинной вереницей один за другим в реку. Их голые мускулистые тела, с медными тельниками на шее, обрызганные летящими из-под конских ног каплями воды, блестели в ярких лучах величественно восходящего солнца, и громкие, удалые возгласы задорно неслись над широкой поверхностью реки. Потемневшие от воды лошади громко фыркали и храпели, косясь на бурлящие у их ног мутные волны.

На середине реки, когда вода начала уже заливать круп лошади, передний всадник ловко соскользнул с её спины в реку и поплыл рядом, держась правой рукой за гриву, а левой брызгая коню на морду, чтобы этим заставить его плыть прямо.

Остальные, по мере того как доезжали до того места, где передовой соскочил с лошади, следовали его примеру. Красиво было смотреть со стороны на эти торчащие из воды конские морды с широко раздутыми ноздрями и тревожно вытаращенными глазами, на правильном расстоянии следовавшие друг за другом, а подле них — русые, черные, белокурые гладко остриженные человеческие головы, с разгоревшимися лицами, со спокойной отвагой в глазах. Течение было сильное, и лошадей сносило далеко ниже того места, куда сначала было предположено высадиться. Две лодки, по четыре гребца каждая, следовали за переправлявшимися. На корме каждой из них стоял солдат со спасательным кругом в руках, зорко и внимательно следя за плывущими, готовый каждую минуту прийти на помощь, в случае если бы кто-либо из них, оторвавшись от лошади, начал тонуть.

Пока шла переправа, на противоположном берегу собралась большая толпа курдов и татар, внимательно и одобрительно следивших за русскими пловцами. Это были все люди, приведённые Муртуз-агой для исполнения роли загонщиков в предстоящей охоте. Сам Муртуз-ага тем временем хлопотал около раскинутого на





скорую руку полушатра особого устройства, состоявшего из одной холщовой стены и такой же покато поставленной покрышки; шатёр этот, будучи с трёх сторон открытым, в то же время служил прекрасной защитой от палящих лучей солнца.

Два мальчика-курда быстро и ловко разводили самовар, расставляли маленькие, разрисованные цветами стаканчики грубого стекла, сахарницы с колотым сахаром и вареньем, которое они доставали из пузатых оплетённых камышом банок. Угрюмый высокий курд в пёстрой чалме и малиновой бархатной куртке, сидя в стороне на корточках, сосредоточенно заготавливал всё нужное для шашлыка. Перед ним на большом, совершенно круглом, медном подносе лежала целая гора мелко нарезанных кусочков жирной баранины, помидор, красного перца и бадражан²⁴. Он медленно брал эти кусочки двумя пальцами, едва когда-нибудь имевшими хоть какое-нибудь знакомство с мылом, и нанизывал их вперемешку на длинные железные прутья — шампура. Тут же возвышалась целая груда тонкого, белого, выпеченного на молоке лаваша, а подле него охапка съедобных травок. Несколько бутылок отличного коньяку, к которому богатые и знатные персы, несмотря на запрещение Корана, питают трогательную нежность, скромно прятались под холщовой, намоченной в воде в целях охлаждения тряпкой. Очевидно, Муртуз-ага собирался принять своих русских гостей на славу, он ещё с вечера присылал своего нукера на пост Урюк-Даг, прося Воинова и всю собравшуюся у него компанию утренний чай пить у него, Муртуз-аги. Ему охотно обещали, и теперь он спешил поскорее всё приготовить к встрече.

Сначала на ту сторону было переправлено десять казённых лошадей, предназначенных для командира отдела, доктора, вахмистра и семи расторопнейших нижних чинов, на обязанности которых лежало руководить загонщиками, после казённых были переправлены таким же порядком и собственные лошади Воинова, Щербо-Рожновского и его двух дам. Когда переправа окончилась, лошадей поспешно заседлали привезёнными на лодках сёдлами. Тем временем господ уже собрались на берегу в ожидании лодок, чтобы ехать на персидскую сторону.

— А знаете ли, мне жутко делается, — говорила Лидия Оскаровна своему кавалеру Ожогову, садясь с ним рядом в лодку. — Я ведь первый раз в жизни пере-



езжаю границу. Как-то странно сознавать, что вот этот берег наш, а через каких-нибудь двадцать—тридцать саженей начнется территория чужого государства с совершенно иным строем жизни!

— Ну, тут, по крайней мере, хотя бы река, всё-таки ж некоторая преграда, — отвечал Ожогов, — а вот на западной границе местами черта, отделяющая Россию от соседнего государства, представляет из себя не что иное, как неглубокую канавку. Я сам, когда поступил в стражу и в качестве отрядного офицера приехал на границу, долго не мог привыкнуть к мысли, что вот, мол, эта сторона канавки Россия, а это — на вершок дальше, — Пруссия. Ничтожная, едва заметная бороздка, через которую воробей перепрыгнет, а подумайте, какое громадное значение играет она в жизни двух государств! Господствующая религия, законы, порядки, мировоззрение, наконец язык, история, идеалы, обычаи — всё разное, во многом даже враждебно-противоположное. Что на одной стороне канавки разрешено, то на другой её стороне — запрещается, и наоборот. Этой ничтожной чертой проведена грань владычеству монархов. По эту сторону он всемогущий, как Бог, повелевающий миллионами, для которых каждое его слово — закон, могущий одним росчерком пера изменить судьбы своего государства, там за этой канавкой, является только почётным гостем, юридически не имеющим права отдавать кому бы то ни было и какое бы то ни было приказание, и это ещё не всё. Самое главное, что за рубежом этой канавки стоят лицом к лицу многомиллионные народы, готовые биться до последней капли крови, принести огромные жертвы, чтобы только эта канавка не передвинулась вправо или влево, на более или менее значительное расстояние!

— Вы совершенно правы, но могу себе представить, какое особенное значение получает эта, как вы называете её, канавка в глазах тех, кто по той или другой причине принуждён бежать из своего Отечества и искать за ней спасение, — задумчиво произнесла Лидия. — Подумать только, какая страшная разница в положении: на одной стороне преступник, которого могут каждую минуту схватить, посадить в тюрьму, казнить, лишить всех человеческих прав, на другой — свободный гражданин, никого и ничего не боящийся, могущий начать свою жизнь сызнова...

— Но навсегда потерявший свою личность, своё я! — перебил Ожогов. — Мне случалось встречаться с подобными личностями, и все они были глубоко несчастны. Для человека полный разрыв с родиной чрезвычайно тяжёлая вещь, особенно для простолюдина, в конце концов, редко кто выдерживает это испытание и рано или поздно возвращается в своё Отечество, готовый принять какое угодно наказание!

Увидя приближающиеся лодки, Муртуз-ага, не торопясь, с сознанием собственного достоинства, подошёл к берегу и остановился, пристально разглядывая сидящих в них. Кроме Воинова, остальных гостей он видел в первый раз, не зная наперёд, кто именно должен был приехать, он безошибочно угадал всех, только от-носительно дам он не был уверен, которая из них жена шах-абадского султана²⁵,



а которая сестра. Обе были молоды, обе красавицы, хотя совершенно разные лицом. Одна брюнетка, слегка смуглая, черноглазая, с густыми бровями, высокая и стройная, с пышно развитым бюстом, другая — роскошная блондинка, с бледно-розовым лицом, изящным очертанием губ и большими голубыми глазами, смело и задумчиво глядящими из-под тонко очерченных бровей. Целый каскад светло-пепельных, от природы выходящих волос красивыми прядями ниспадал на высокий, беломраморный лоб, из-под кокетливо сдвинутой набекрень жокейской шапочки с большим прямым козырьком. В одном обе сестры были похожи друг на друга: обе были высокого роста и прекрасно сложены. Одеты они были тоже одинаково в тёмно-синие амазонки из лёгкой шерстяной материи, перетянутые простыми кожаными английскими поясами, на головах жокейские шапочки, у брюнетки — белая с красным, а у блондинки — белая с голубым.

Когда лодки причалили к берегу, первый выскочил Ожогов, он никому не хотел уступить лестного, по его выражению, права помочь дамам сойти на землю. С ловкостью опытного дамского кавалера он осторожно, чуть не на руках вынес их из лодки и с полупоклоном поставил на сухое место.

— Вы, Павел Павлович, просто прелестны! — не утерпела, чтобы не сошкочничать Лидия. — Воображаю, какой вы были в молодости!

— А разве теперь я стар? — с шутливой гримасой спросил Павел Павлович, в глубине души слегка задетый за живое словами Лидии.

Когда всё общество вышло на берег, Воинов представил им Муртуз-агу, который, почтительно приложив руку к сердцу, отвесил всем изысканно-вежливый поклон и поспешил пригласить в шатёр, откуда уже нёсся приятно раздражающий запах поджариваемой баранины.

— Милости прошу, господа! — вежливо приглашал Муртуз-ага, жестом руки указывая на разостланные на земле ковры, на которых уже были расставлены тарелки с разными закусками. — Перед охотой надо хорошенько закусить!

Лидия, уже раньше, со слов Воинова, чрезвычайно заинтересованная Муртуз-агой, нарочно села так, чтобы, не будучи самой у него на глазах, иметь возможность наблюдать за ним. С первой же минуты он произвёл на неё весьма выгодное впечатление. Оставаясь всё время крайне предупредительным, в высшей степени учтивым и любезным, он в то же время ни на минуту не терял сознания своего достоинства, держал себя спокойно, просто, говорил мало, больше слушая других. Лидии особенно нравился тон, каким Муртуз-ага отдавал приказания прислуживавшим нукерам, в его голосе, в манере произносить фразы коротко, отчётливо слышалась непреклонная воля, привычка повелевать. Невольно чувствовалось, что послушаться этого человека, по-видимому, такого мягкого и любезного, крайне опасно. Когда один из нукеров нечаянно опрокинул на землю налитый чаем стакан, брови Муртуз-аги слегка дрогнули, а глаза на мгновение сверкнули холодным, стальным блеском, впрочем, он поспешил замаскировать свой гнев самой непринуждённой улыбкой и тем же спокойным голосом продолжал сообщать Ожогову план предстоящей охоты.



Облава

Солнце стояло довольно высоко, когда, окончив чаепитие, компания тронулась в путь. Проехав версты 3—4 на рысях до небольшой группы холмов, охотники слезли с лошадей и поспешно разошлись по своим местам. Каждый встал, как ему казалось удобнее, у подошвы холмов, слегка замаскировавшись кустиками гребенчука. Барынь поместили на вершину крайнего крутого холма, где лежал огромный камень. Предупредительный Муртуз-ага распорядился постлать на него ковёр, и образовался род дивана, сидя на котором Лидия и Ольга могли отлично видеть всё происходящее внизу, будучи в то же время вполне в безопасности. Лошадей поставили за холмом, совершенно в стороне, чтобы они не могли испугаться выбегающего зверя. Загонщиков отправили заранее. Они должны были с трёх сторон окружить камыши и, суживая постепенно круг, гнать зверя к холмам на ожидавших его там охотников.

Ближе всех к дамам встал Муртуз-ага, и Лидия невольно залюбовалась на его высокую, стройную фигуру, бледное выразительное лицо, большие чёрные глаза, в которых теперь загорелся огонёк охотничьей страсти, на то, как он спокойно и свободно стоял, с ружьём наготове, отставив вперёд левую ногу и пристально глядя в камыши. Следующим за Муртуз-агой был Воинов. Лидия неожиданно для себя сделала между ними сравнение. Воинов, тоже красивый, рослый и крупный, казался каким-то слишком ординарным, обыкновенным. «Офицер, каких сотни, — определила Лидия, — добрый, симпатичный, честный, наверно не трус, но без всякой оригинальности. Теперь он думает о скорейшем производстве в поручики, лет через двадцать будет мечтать о чине подполковника. В жизни его нет ничего таинственного, всё ясно, просто, буднично серо и однообразно, как однообразен обед, который ему готовит его денщик. Незатейливо, как незатейливы его привычки, давно до тонкости, изученные его Иваном. Словом, он весь налицо: здоровый, сильный, слегка неряшливый, добродушно-весёлый и самодовольный, тогда как Муртуз-ага весь одна сплошная загадка. Прежде всего, кто он такой, откуда родом?». Что он не природный перс, было несомненно, в нём не было ничего рабски лукавого, ничего приниженного, как у настоящих персов, а вместе с этим не замечалось и присущей азиатам холодной, бессознательной жестокости, стихийно проявляющейся у них во всём решительно. Но если он не был персом, то и за русского принять его было нельзя, несмотря на его умение в совершенстве говорить по-русски. Тип у него был не русский, и в произношении слышался явно заметный акцент. Так же трудно, как определить народность Муртуз-аги, было нелегко угадать и его социальное положение. Он не был человеком из низшего сословия, но и к настоящим интеллигентам причислить его тоже было нельзя. Во всяком случае, он не был европейцем, что-то дикое, непосредственное, наивно-патриархальное то и дело проскальзывало в его словах, в манерах, в жестах, иногда он сам замечал это за собой и спешил поправиться, но чаще сам не видел угловатости своих манер.



Протяжный, жалобный аккорд охотничьего рожка, пронёсшийся в мёртвой тишине пустыни, вывел Лидию из её задумчивости. Она подняла голову и насто-рожилась. По тому, как встрепенулись охотники, как торопливо вскинули ружья и сосредоточили всё своё внимание на расстилающемся перед ними необозримое море камыша, слегка колеблемое пробегающими по нему порывами ветра, Лидия поняла, что загон начался. Действительно, минуты две спустя её напряжённый слух начал улавливать отдалённый не то вой, не то стон. То тут, то там стали вырываться отдельные возгласы, взвизгивания, свистки, где-то громко трещали и звенели деревянные и железные колотушки. С каждой минутой шум и гам, производимый сотней голосов, становился всё слышнее и скоро слился в одну невообразимую какофонию звуков. Можно было подумать, что целая свора бесов спущена в камыши и неистовствует там, наводя ужас на их чутких обывателей. Лидия Оскаровна почувствовала, как знакомое охотникам увлечение охватило и её. Она стояла, насто-рожась, вперив свой пристальный, внимательный взгляд в чащу зарослей, сердце её усиленно билось, щёки разгорелись, она дышала быстро и нервно. Вдруг она почувствовала на себе чей-то пристальный, тяжёлый взгляд, она невольно оглянулась, — и глаза её встретились с парой других глаз, чёрных и глубоких, как бездонная пропасть.

От волнения лицо девушки ещё более похорошело, она стояла на холме, стройная и прекрасная, со слегка покрасневшимся лицом и сияющими глазами, как какое-то неземное существо, подобно гурии рая, созданной пылкой восточной фантазией. Муртуз-ага поднял глаза, был поражён и стоял, забыв всё на свете, будучи не в силах оторвать своего горящего восхищённого взора от обаятельной фигуры девушки.

Только строгий взгляд, брошенный на него Лидией, заставил его опомниться, он быстро опустил глаза и вперил их в камыш.

Лидия, хотя немного и раздосадованная, тем не менее не без некоторого удовольствия подумала о том чувстве ошеломлённого восторга, какое она подметила в глазах Муртуз-аги. При этом, помимо её воли, в ней шевельнулась мысль, что только один Муртуз-ага обратил внимание на её волнение, остальные же стояли всецело погружённые в созерцание камышей, с минуты на минуту выжидая появления кабанов.

Третьим стоял Ожогов, между ним и доктором, выбравшим себе крайний номер, помещался Осип Петрович. Ему и доктору, как сравнительно плохим стрелкам и малоопытным в кабаньей облаве охотникам, на всякий случай было назначено по одному пограничному солдату с примкнутым к ружью штыком. Это на тот случай, если бы раненый кабан бросился на охотника. Ожогову тоже советовали поставить рядом с собой вахмистра Терлецкого, прекрасного стрелка и как человека очень смелого и расторопного, но он не захотел, главным образом, совестясь дам, и теперь стоял, колеблемый противоположными чувствами. Как охотнику — ему очень





хотелось, чтобы кабаны, во всяком случае самые крупные из них, вышли бы на него, чувство же самосохранения против воли нашептывало: «Э, бог с ними и с кабанами, пусть выходят на тех, кто лучше меня стреляет».

Ожогов не был трусом, но его смущала неуверенность в своей меткости и ловкости, столь необходимой в этой опасной охоте, где промах или неловкое движение стоит иногда жизни.

Зато Воинов был совершенно спокоен, словно дело шло о каком-нибудь зайце. Он внимательно глядел перед собой, готовый каждую минуту к выстрелу. Что же касается Муртуз-аги, то после того как он отвёл свои глаза от Лидии, он, очевидно, впал в состояние рассеянности, опустил ружьё и стоял, не видя ничего перед собой, кроме запечатлевшегося в его мозгу образа девушки. Лидия инстинктом угадала странное состояние его души и готова была ему крикнуть, чтобы он был внимательнее, но в это мгновение из камыша, как два серых пушистых комочка, выкатилась пара зайцев. Приложив ушки за спину, выпуча глаза, неслись они, не видя ничего перед собой, и с разбега чуть не наскочили на Муртуз-агу. Ошеломлённые неожиданной встречей они разом присели, недоуменно пошевелили ушами, повели носом и вдруг, как бы собравшись с новыми силами, ринулись со всех ног между Муртуз-агой и Воиновым.

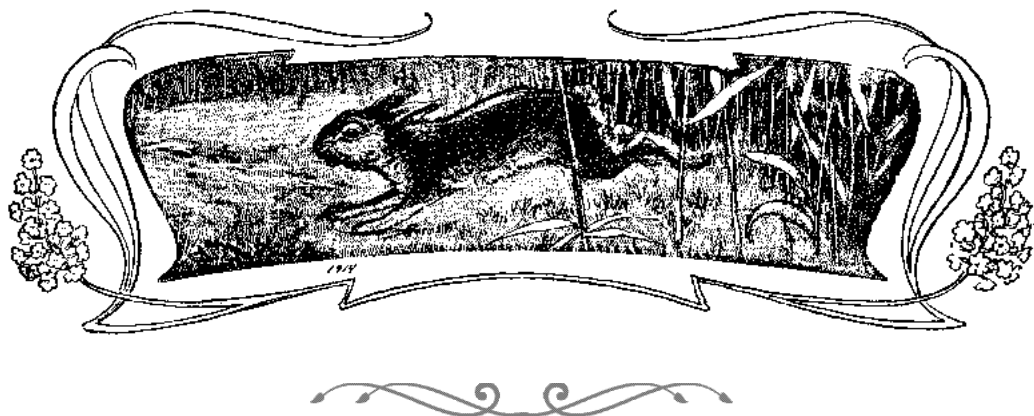
В ожидании более интересной добычи те беспрепятственно пропустили их, и бедные испуганные зверьки, не веря своему благополучию, стрелой пролетели через прогалину и скрылись в гребенчуге по ту сторону холмов.

Появление зайцев заставило Муртуз-агу очнуться, он как бы весь встряхнулся и поспешил сосредоточить своё внимание.

— Джановар, джановар^{26!} — раздалось вдруг на одном конце загона, и почти тотчас же из другого конца дикими воплями донеслось: — Дунгуз, дунгуз^{27!}

В камышах, очевидно, были и кабаны, и волки. Охота обещала быть интересной.

Вопреки зайцам, продолжавшим то в одиночку, то по два и по три стремительно вылетать из камышей и, пропускаемые охотниками, беспрепятственно скрываться за холмами, — крупные звери не торопились покидать густую чащу и медленно и осторожно продвигались вперёд, пугливо прислушиваясь в одно и то же время,



и к раздававшемуся сзади них шуму, и к предательской тишине впереди. Со своего места Лидия и Ольга видели, как шевелился камыш, слышали треск ломаемых сухих стеблей, но зверя пока ещё не видно было. Наконец то там, то сям замелькали среди камыша фигуры загонщиков. Они ехали длинной цепью, равняясь между собой и зорко поглядывая по сторонам, чтобы не допустить животных повернуть назад. На фоне золотисто-жёлтого камыша яркими пятнами пестрели красные куртки курдов, серые халаты персов и белые рубахи солдат, которые в числе нескольких человек, разместившись вдоль всей цепи, руководили её движением. Разномастные лошади, крошечные, тощие, суетливые у курдов, и рослые, раскормленные и несколько ленивые под солдатами, придавали ещё большее оживление этой характерной картине. Всадники ехали медленно, шаг за шагом, местами с трудом продираясь сквозь густые заросли, то сжимая, то расширяя свой круг. Время от времени они останавливались, подравнивались и затем снова двигались дальше.

Вдруг в нескольких саженях прямо перед собой, в густой чаще камыша, Лидия увидела какую-то, показавшуюся ей в первое мгновение огромной, серую массу. Не успела она ещё сообразить, что за зверь мог это быть, как на прогалину выскочил большой серо-бурый волк. Высоко подняв голову, насторожив уши, он шёл широким, размашистым галопом, легко и мягко перепрыгивая, точно перелетая, через низкий кустарник. Очевидно, умный зверь ещё не мог уяснить себе, откуда, с какой стороны ждать главную опасность, а потому и не торопился, шёл в полмаха, с оглядкой, готовый каждую минуту метнуться в любую сторону. К большому изумлению Лидии, за волком следом, чуть не касаясь носом его хвоста, катил заяц. Глупый зверёк был так напуган несшимся за ним по пятам шумом и гамом, производимыми загонщиками, что, по всей вероятности, не видел и не сознавал, в каком опасном соседстве находится.

Он скакал за волком, как скачет на манёврах лихой корнет-адъютант за сердитым командиром полка, не предчувствуя, что сегодня же вечером будет сидеть на гауптвахте.

Со своего места Лидии прекрасно было видно, как Муртуз-ага медленно, не торопясь, поднял ружьё и приложился. Волк был всего в нескольких шагах, и шёл прямо на Муртуз-агу, но в ту минуту, когда тот готовился нажать на спуск, хитрый зверь, как бы угадав близость врага, сразу остановился, дал огромный прыжок в сторону и, расправив ноги, с быстротой летящей птицы помчался вдоль камышей, не выскакивая в то же время весь на прогалину. Лидия видела, как мелькала между камышом его серая туша, то скрываясь, то снова показываясь. Муртуз-ага, не рискуя выпустить пулю даром, опустил ружьё. Первым выстрелил Воинов, за ним Ожогов. Оба выстрела, очевидно, задели волка — он пошёл гораздо медленнее, на скаку судорожно низко кивая головой. После третьего выстрела, сделанного Осипом Петровичем, волк вдруг присел на задние ноги и злобно защёлкал зубами. Он не в силах был бежать дальше и только оскалился, глядя на охотников глазами,



полными страха и ненависти. Стоявший подле Щербо-Рожновского солдат спокойно и смело подошёл к огрызающемуся зверю и со всего размаха вогнал ему штык между ребер, после чего волк бездыханный свалился на бок.

Не успели покончить с волком, как где-то близко-близко раздалось негромкое, но зловеще-грозное шуршание, и из камыша поспешно выбежала огромная, неуклюжая, косматая чёрно-бурая масса, с огромной головой, блестящими длинными клыками и маленькими, налитыми кровью, горящими, как уголь, глазами. Это была большая дикая свинья, с целым десятком маленьких, полосатых и миловидно-забавных поросят, суетливо, с громким визгом метавшихся вокруг матери. Низко наклонив голову, хрюкалом до самой земли, и раскрыв чудовищную пасть с блестящими острыми, длинными зубами, свинья неуклюжим скоком направилась прямо на Муртуз-агу. Тот стоял, не спуская с неё глаз, держа ружьё на прицеле. Когда свинья приблизилась шагов на пятнадцать, Муртуз-ага, не торопясь, плавно и осторожно надавил пальцем спуск курка. Грянул выстрел, и свинья как подкошенная свалилась на бок, оглашая воздух пронзительным, злобно-болезненным визгом. Она билась и металась по земле, всеми четырьмя ногами взрывая целые тучи чёрной пыли.

Ошеломлённые выстрелом и падением матери поросята в первую минуту приостановились, а затем с пронзительным визгом начали суетиться вокруг неё, бес толково тыкаясь во все стороны, толкаясь и прячась один сзади другого. Несколько раз они разбегались было во все стороны, но тотчас же так же стремительно возвращались назад, издавая жалобное хрюканье. Наконец видя, что мать их лежит неподвижно и больше уже не бьётся, они, словно сообразив что-то, все разом, целой гурьбой, жалобно хрюкая, побежали по прогалине в сторону. Тотчас же загremела частая, торопливая стрельба, и поросята, один за другим, начали падать под пулями охотников до тех пор, пока не были перебиты все до последнего.

Кабан

Прошло несколько минут, загон подошёл настолько близко, что уже являлось сомнение, есть ли в камышах ещё какая дичь, или она успела как-нибудь проскользнуть назад, как вдруг почти одновременно в нескольких шагах друг от друга выскочили два огромных секача. От облепившего их ила они казались ещё больше, ещё чудовищнее. С громким хрюканьем, выставив вперёд огромные клыки, они стремительно кинулись, — один между Ожоговым и Воиновым, а другой — вправо от Муртуз-аги, как раз вдоль подошвы холма, на котором сидели Лидия и Ольга.

В ту минуту, когда кабан находился всего в каких-нибудь двадцати шагах, Муртуз-ага, всё время державший ружьё на прицеле, спустил курок. Грянул выстрел, и животное как подкошенное сразу повалилось на бок, в предсмертных судорогах отчаянно дрыгая ногами. Пуля попала ему прямо в сердце.



Тем временем с кабаном, выскочившим на Ожогова и Воинова, вышло далеко не так удачно. Растерявшись от неожиданности, Ожогов упустил удобный момент и выстрелил тогда, когда кабан уже далеко проскочил мимо него. Воинов, из любезности желавший предоставить первый выстрел своему гостю и начальнику, выстрелил после него. Обе пули впились кабану справа и слева в его широкие, мускулистые окорока, животное завизжало от боли, сразу приостановилось и вдруг, круто повернув кругом, ринулось назад, в слепой ярости готовое броситься на первого, кто подвернется ему навстречу. Так как кабан бежал наискось, то ближе всех к нему очутился теперь Муртуз-ага, на которого он и устремился, свирепо скрипя челюстями и сверкая маленькими, кровью налитыми глазами. Муртуз-ага быстро вложил патрон и, не имея времени прицелиться как следует, торопливо выстрелил. Пуля ударила кабана в морду, и хотя сильно ранила его, но не остановила. Второй раз стрелять было некогда. Лидия со своего места видела, как Муртуз-ага отбросил ружьё в сторону, быстро выхватил кинжал и опустился на одно колено. В это мгновение окровавленная, полная пены пасть чудовища почти коснулась его груди. Лидия невольно вскрикнула и зажмурилась... Она не сомневалась, что Муртуз-ага погиб, но когда мгновение спустя она боязливо открыла глаза, ей представилась следующая картина. Муртуз-ага стоял во весь рост, совершенно спокойный, а у его ног слабо трепетала распростёртая на залитой кровью земле огромная кабанья туша, с торчащей в левом боку рукояткой кинжала.

В ту минуту, когда кабан готовился полоснуть его своими страшными клыками, Муртуз-ага стремительно отшатнулся вправо и, размахнувшись изо всей силы глубоко всадил широкий и острый клинок кинжала прямо в сердце животного, которое тут же и свалилось со всех четырёх ног, убитое наповал метким ударом.

Всё это произошло с быстротой нескольких секунд. Остальные охотники пришли в себя только тогда, когда кабан уже упал. Все с любопытством бросились к месту происшествия.

— Ура! Муртуз-ага, ура! — закричал Воинов, искренне приветствуя Муртуз-агу и крепко пожимая ему руку. — Ну, вы настоящий герой, право слово, герой!

Другие тоже поспешили позжать руку Муртуз-аге, и каждый торопился высказать своё искреннее удивление его хладнокровию и смелости, а также силе и меткости нанесённого им удара. Муртуз-ага с вежливой улыбкой отвечал на рукопожатие, лицо его было совершенно спокойно, и на нём нельзя было подметить ни малейшего волнения, только в глубине его чёрных глаз сияло скрытое торжество.

После всех подошла к нему Лидия.

— Поздравляю вас, Муртуз-ага, — произнесла она, дружески пожимая ему руку, — я очень рада, что вы остались целы и невредимы. Признаться, я за вас очень испугалась!



— Благодарю вас, — низко поклонился Муртуз-ага, загоревшимся взглядом смотря в лицо девушки, причём бледные щёки его слегка зарумянились от сдерживаемого волнения, — вы слишком добры, мне даже совестно, такие пустяки случаются почти при каждой охоте на кабанов.

— Хороши пустяки! — воскликнул доктор. — Слава богу, что это случилось не со мной! — добавил он так искренне, что все невольно рассмеялись. Тем временем загонщики выехали из камышей и расположились живописными группами на прогалине. Некоторые слезли с лошадей и начали поправлять седловку, другие — съехавшись вместе, оживлённо передавали друг другу свои впечатления только что оконченного загона. Несколько человек приблизились к убитому Муртуз-агой кабану и молча его разглядывали, изредка перебрасываясь между собой отрывистыми замечаниями.

— Господа, а откуда теперь будем гнать и где становиться? — спросил Ожогов.

— Если хотите, — предложил Муртуз-ага, — перейдёмте на ту сторону холмов, загон пошлём со стороны реки, он захватит оставшийся в стороне камыш и всю правую сторону. Там теперь спрятались выгнанные с той стороны зайцы, кабанов и волков уже не будет, они разбежались, а лисицы, пожалуй, есть. Они далеко не бегут!

— А может быть, кабаны не убежали и притаились где-нибудь поблизости? — спросил доктор, не без чувства тайного беспокойства.

— О, нет, — улыбнулся Муртуз-ага, — кабаны и волки, раз их спугнуть, скоро не остановятся. Они бегут безостановочно часа два-три и только, когда очень устанут, останавливаются где-нибудь в глухой чаще и то ненадолго, отдохнут немного и опять бегут дальше, пока не заберутся в такое глухое место, где их уже ничто не потревожит. Я много охотился на своём веку и прекрасно изучил все их привычки и сноровки. Поверьте, теперь, кроме зайцев да лисиц, мы никого не увидим!

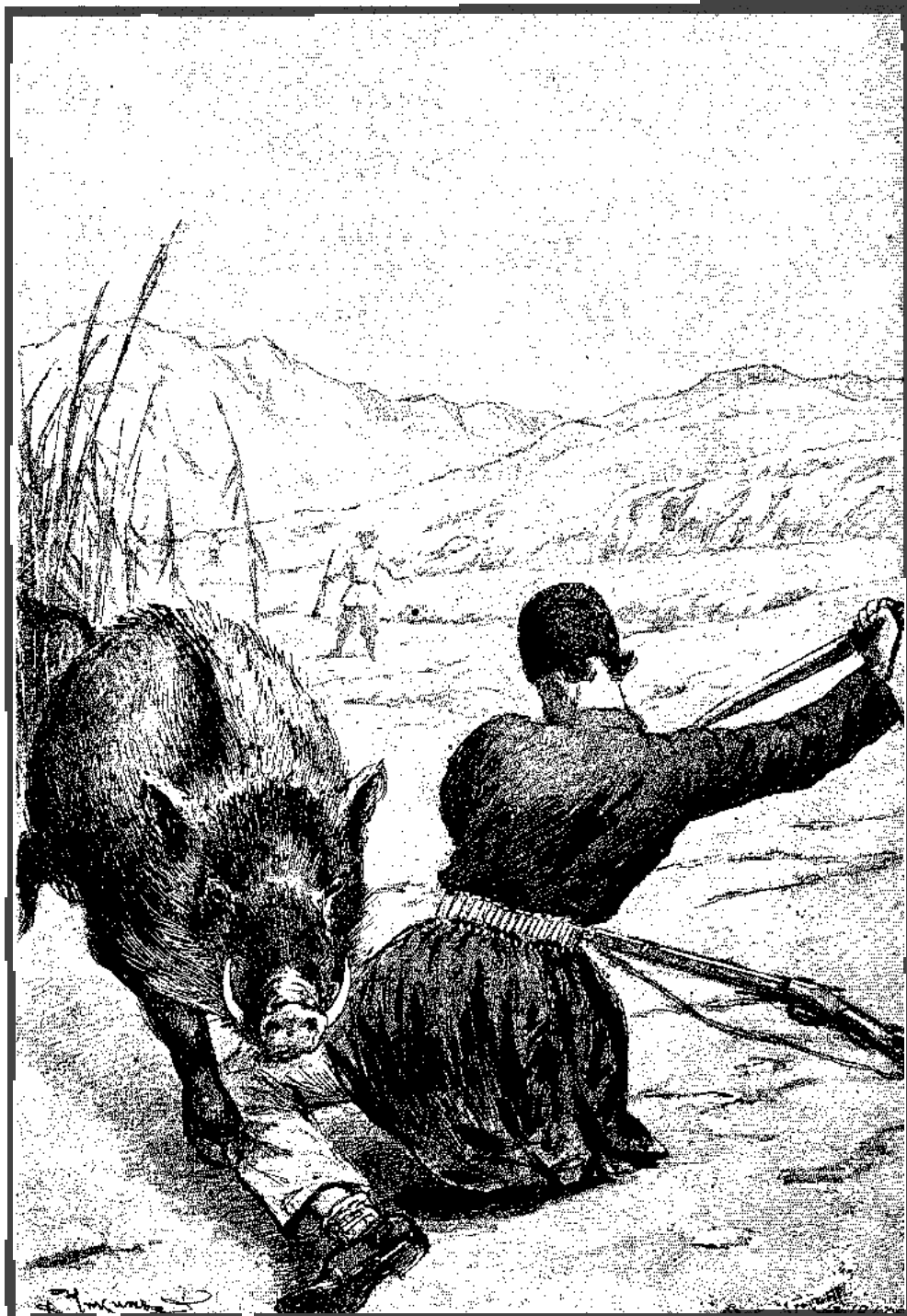
Говоря так, Муртуз-ага передал свою винтовку одному из курдов, а в руки взял двухствольное охотничье ружьё.

Другие последовали его примеру и заменили картечные патроны патронами, снаряжёнными дробью.

Бросили жребий кому где стоять, после чего все разошлись по своим местам, и охота началась снова.

Опять раздались протяжные крики и гиканье загонщиков, замелькали в камышах их яркие одежды, и вскоре на прогалину, как из мешка, посыпались шустрые зайцы. Заложив уши за спину, подобно серым шарам, кубарем катились испуганные зверьки, суетливо шмыгая между охотниками. Распустив пушистые хвосты, вытянувшись в струнку и мелькая красноватыми спинами, низко припав к земле, молнией промелькнули две-три лисицы, они быстро и часто дышали, оскалив зубы и высунув острый и тонкий язык. Вопреки глупым зайцам, несшимся вперёд очертя голову и с разбега натывавшимся на охотников, лисицы всё время внимательно





осматривались по сторонам, зорко выглядывая опасность, готовые во всякую минуту вильнуть в сторону перед направленным на них дулом ружья. Это ясное понимание опасности, это напряжение всех физических и умственных сил в борьбе за жизнь и сознательный ужас перед смертью делали положение лисиц более трагичным и невольно возбуждали к ним, несмотря на их хищность, большую жалость, чем к зайцам. С появлением первых животных по всей линии стрелков поднялась учащённая пальба. Поминутно гремели отрывистые выстрелы, взвивались и медленно расплывались в воздухе беловатые клубы дыма. Подстреленные зайцы на всём скаку перекувыркивались через голову или оставались неподвижно лежать, распластанные на земле, или, вскочив снова на ноги, пытались бежать дальше, но это им не удавалось, и они беспомощно, торопливо ползли вперёд, волоча за собой по земле раздробленные задние ноги. Некоторые, тяжело раненные и, не будучи в силах подняться на ноги, судорожно бились головой и всем телом о землю, издавая отчаянные вопли, чрезвычайно похожие на крик младенца. Лисицы умирали молча, только, когда охотники приближались к ним, чтобы добить их, они издавали что-то похожее на шипение и в бессильной злобе и страхе щёлкали зубами. Лидию Оскаровну, сидевшую по-прежнему на холме, в первую минуту вся эта суматоха живо заинтересовала. Она с восторгом следила за проворными и суетливыми движениями перепуганных зверьков, любуясь их прыжками и быстротой бега, но с первым же выстрелом вся иллюзия исчезла, чувство удовольствия сменилось чувством глубокой жалости и омерзения перед этой беспощадной бойней беззащитных зверьков. Особенно жалко ей было тех зайцев, которые, будучи легко ранены, успевали проскочить сквозь линию стрелков на трёх лапах, с болтающейся перешибленной четвёртой или с простреленным боком. Со своего возвышения Лидия видела, как за каждым таким истекающим кровью животным с жадным злоеющим криком бросалось несколько ворон, круживших целыми стаями тут же, неподалёку, растопырив когти, широко распластав крылья, летели они низко-низко над землёй, готовые ежеминутно спуститься на спину обезумевшего от страха и боли животного.

Пронзительные, жалобные заячьи крики, раздававшиеся поминутно то там, то здесь, резали ухо, а выстрелы гремели всё чаще и чаще. Лидии казалось, что конца не будет этому убийству. «Господи! — думала она, — и это называется удовольствием!».

В эту минуту неподалёку от холма, на котором она сидела, упал сражённый кем-то большой жирный заяц. Он лежал неподвижно, как мёртвый, до тех пор, пока не стали подходить загонщики. Почуввав возле себя людей, заяц забился и затрепетал всем телом, махая лапками, он тщетно силился подняться и, почувствовав свою беспомощность, разразился вдруг отчаянным, душу леденящим воплем. По мере того как люди подходили ближе, крик зайца делался всё протяжнее и трусливее, казалось, вся его заячья душа разрывалась от тоски и ужаса перед неизбежной смертью... Лидия заткнула уши, закрыла лицо руками и отвернулась... Она была близка к обмороку.



С этого момента она поклялась себе никогда не участвовать ни в какой охоте.

Большого труда стоило всей компании уговорить Лидию не ехать сейчас же домой. Она согласилась остаться только при одном условии, что больше охотиться не будут.

— Ну, позвольте, хотя бы ещё один загон сделать! — полушутя, полудосадуя, приставал к ней Воинов, страстный охотник в душе. — Если уж не хотите, чтобы мы стреляли зайцев, мы будем только лисиц стрелять, ведь лисиц жалеть нечего, они разоряют гнёзда птиц и логовища зайцев. Каждая лисица в год не меньше восьми-десяти зайцев задушит, а сколько птиц — счёту нет! Подумайте, сколько зла они принесут!

Но Лидия упорно стояла на своём, и охоту пришлось прекратить, тем более что приближалось время вечера, и все охотники порядком устали. Решено было возвратиться назад, на то место, где утром пили чай, и где, по словам Муртуз-аги, их ждал обед.

Так как все успели порядочно проголодаться, то предложение Муртуз-аги было принято с удовольствием.

На обратном пути Муртуз-ага ехал рядом с Лидией.

— У вас очень доброе сердце, — заметил он ей, — вам даже зайцев жалко!

— Я вообще не признаю никакого убийства, — произнесла девушка, — и всякий убийца внушает мне ужас и отвращение!

— Даже убийца зайцев? — усмехнулся Муртуз-ага.

— Даже зайцев. Они тоже имеют право на жизнь, и лишать их жизни ради удовольствия — очень дурно!

— Бывают случаи, когда приходится убивать не только зайцев, но и людей! — угрюмо произнес Муртуз-ага.

— Я таких случаев не признаю. Кроме, впрочем, войны! — поспешила она поправиться. — Война дело очень нехорошее, но, говорят, неизбежное. Не знаю, насколько это правда. Я гляжу на это дело, как принято глядеть всеми: пока война существует — её поневоле приходится признавать. Но уже помимо войны никаких убийств не должно быть, ни казней, ни дуэлей, ни ради мщения... Словом, никогда и ни под каким видом человеческая кровь не должна быть пролита, ибо нет такого преступления на свете, которое могло бы заслуживать лишения человека жизни...

— Да, но если убийство совершено, то что делать, по-вашему, убийце? Чем и как искупить убийство?

— Убийство не искупается ничем, ибо никакое раскаяние убийцы, никакие душевные страдания его не вернут жизнь убитому. В этом-то и весь ужас убийства! Однако, — засмеялась она, — что это за страшный разговор мы затеяли с вами, от зайцев перешли к убийству. Давайте-ка лучше проскачемте немного!

— У вас хорошая лошадь! — заметил Муртуз-ага, взглядом знатока оглядывая невысокую, но крепкую и красивую лошадку Лидии. — Это делибос?



— Не правда ли? — радостно воскликнула Лидия. — Я очень рада, что мой Копчик понравился вам. Он действительно прекрасный конь, и я его очень люблю. Вы знаете, я ведь только приехав на Закавказье, начала учиться ездить верхом. Мне говорили, что это трудно и потребует много времени, а я в три месяца выучилась и езжу, не хвастаясь, недурно. Правда, я езжу почти каждый день. Воинов говорит, что у меня талант к верховой езде!

— Вы, Лидия Оскаровна, природная амазонка! — весело крикнул Воинов, равняясь с ними. — Даю вам слово, я в жизни не встречал ни у кого такой способности к верховой езде, как у вас!

— Ну, да, рассказывайте, «комплиментщик»! — расхохоталась Лидия и, вдруг с лёгким гиком подняв хлыст и слегка пригнувшись к луке, отдала поводья. Почуввав свободу повода, Копчик горячо рванулся вперёд и понёсся стрелой по степи, увлекая свою лихую наездницу. Воинов и Муртуз-ага помчались следом, с трудом поспевая за резвым Копчиком. Остальная компания продолжала идти тем же аллюром, издали любуясь на эту импровизированную скачку.

«Мравал джамиер»

Обед под тенью шатра прошёл очень весело и затянулся до вечера. У Муртуз-аги оказался превосходный повар, по крайней мере, все присутствовавшие в один голос решили, что такой превосходный чахартмы²⁸, люликзбаба²⁹ и плова никому из них ещё не удавалось есть нигде. После обеда был подан крепкий душистый кофе, разного сорта варенье, сушёные фрукты и имбирные конфеты персидского изделия, от которых страшно жгло во рту. В коньяке и вине недостатка тоже не было. Для дам был заготовлен лимонад и особый персидский напиток из воды и уксуса, с разными пряностями и духами.

Когда первый голод был утолён, кто-то предложил спеть, по-кавказскому обычаю, «Мравал джамиер».

Кроме доктора, все оказались из поющих, даже Ожогов, голос которого, хотя уже и разбитый, был ещё довольно сносен. В молодости он считался прекрасным певцом.

Воинов и Щербо-Рожновский пели очень недурно, особенно первый, но лучше всех голос был у Лидии. В институте она считалась лучшей певицей, ей даже советовали идти в консерваторию, но артистическая карьера несколько не соблазняла её.

Муртуз-ага не принимал участия в пении, он сидел потупив голову, с побледневшим лицом и опущенными ресницами. Несмотря на его кажущееся спокойствие, Лидия инстинктивно чувствовала, что он сильно волнуется, но не могла хорошенько понять истинной причины этого волнения.



— Славная песня! — задумчиво произнёс Ожогов. — Она мне напоминает наши застольные гусарские песни. Я понимаю, за что грузины так любят её.

— Да, песня хорошая, — согласился Муртуз-ага. — Если вам, господа, не надоело, спойте ещё раз.

Все охотно изъявили согласие, и Воинов задушевым голосом начал:

Мравал джамиер...

Остальные дружно подхватили, и в вечернем воздухе широкой волной полился стройный, за душу берущий мотив:

Мравал джамиер...

.....

Мертва и небос,

Мертва и небос.

Квени ციცოკლე.

Мадлобели вар,

Мадлобели вар.

Лидия во время пения пристально смотрела в лицо Муртуз-аге, и вдруг ей показалось, что лицо его дрогнуло, и в глазах отразилось глубокое затаённое горе.

Нико-Нико-разбойника

Шэни чире мэ,

Шэни чире мэ,

Гули чире мэ,

— запел вдруг Воинов, когда все смолкли, известную шутилистую песенку тифлиских кинто.

Шэни чире мэ,

Гули чире мэ.

Выводил он, старательно подражая грузинскому жаргону, что выходило у него очень забавно.

Все весело рассмеялись. Даже Муртуз-ага усмехнулся, но затем нахмурился, положил щёку на руку, вздохнул, и вдруг из его груди вырвался дребезжащий, как бы рыдающий звук, звук этот повторился, но ещё печальней, ещё более унылый и протяжный. Все насторожили уши. Муртуз-ага пел старинную персидскую песню, пел, как поют персы — в одном тоне, то повышая, то понижая голос, по несколько раз повторяя одно и то же слово. Пение это, похожее скорее на стон, производило какое-то особенное странное впечатление. В первую минуту оно неприятно поража-ло своею дикостью, хотелось заткнуть уши и бежать, как от чего-то безобразного и нестройного, но, вслушавшись внимательней, ухо начинало улавливать своеобраз-ный, не лишённый музыкальности мотив, весь проникнутый безысходной, душу надрывающей тоской. Только многовековое, тяжёлое, беспросветное рабство могло создать такую песню. Лидия в первый раз в жизни слышала такое пение, и оно вы-звало в ней странное двойственное ощущение. Оно и раздражало, и увлекало её...



Она сидела, устремив пристальный взгляд на побледневшее лицо Муртуз-аги, с полужакрытыми глазами и какой-то особенной скорбной складкой около губ.

Ей очень хотелось проникнуть мысленным взором в душу этого человека и угадать, что он думает и чувствует в эту минуту. Чем больше она присматривалась к нему, тем он казался ей загадочнее и непонятнее.

«Кто он такой? — ломала она голову. — Во всяком случае, не простой перс. Надо сказать Воинову, чтобы он во что бы то ни стало разузнал о нём всё, что можно».

— Вы можете сказать нам содержание этой песни? — спросила Ольга Оскаровна, когда Муртуз-ага наконец умолк. — О чём она?

— Это из Гафиза, — ответил Муртуз-ага, — молодой воин увидел случайно жену своего владыки и шлёт ей своё приветствие, обещает верно служить её мужу и умереть за него на поле битвы, и за это просит, чтобы она дала ему из своих рук розу, которая растёт под её окном.

— Вот не думал, — воскликнул Ожогов, — чтобы персы были так сентиментальны. Ведь у них женщина обращена во вьючное животное!

— Теперь — да, но во времена Гафиза и в начале появления мусульманства женщина была совершенно свободна. Она нередко являлась даже правительницей и не только одного какого-нибудь племени, но целого народа; в основе своей Коран относится к женщине с большим уважением и предоставляет ей большую свободу. Вначале так оно и было, но впоследствии муллы создали шариат и адаты, нередко являющиеся прямым противоречием учению Корана!

— Вы убеждённый мусульманин? — как бы невзначай спросила Лидия.

— Я очень уважаю и люблю Коран, в этой книге скрыта великая мудрость! — уклончиво ответил тот.

— Жаль, что вы не знакомы с нашим Евангелием, вот бы где вы могли почерпнуть великие истины!

Муртуз-ага хотел что-то ответить, но удержался и промолчал.

Тем временем солнце уже успело скрыться за горы, и наступила ночь. На Закавказье сумерек не бывает. Светлый день почти моментально сменяется ночной темнотой. Яркая луна выплыла на горизонте и осветила фосфорическим светом тёмные волны реки, застывшей в мертвенном покое, и пустынную, выжженную солнцем степь.

Надо было ехать домой. Лошади и солдаты давно уже были на той стороне.

У берега тихо покачивались на волнах две лодки с дремлющими в них гребцами.

— Господа, — предложил Ожогов, — не сделать ли нам так? Мне с доктором надо ехать разъездом на соседний пост. Поедемте все вместе на лодке, мы с Аркадием Владимировичем и доктором подвезём вас в Шах-Абад, а сами поедем дальше. Вниз по течению лодка идёт хорошо, ночь лунная, светлая, на реке прохладно, не заметим, как доедем. Не правда ли?



— А назад как же? — спросил Воинов. — Против такого быстрого течения на наших тяжёлых лодках не выгрести!

— Назад поедem верхами на «очередных», а лодку отправим «бичивой». Я уже не первый раз так делал!

— А солдатам не будет трудно тащить назад лодку? — осведомилась Лидия.

— Пустую-то? Пустяки, всё равно, что так идти, — успокоил её Ожогов, — да к тому же это ведь та же служба. Тех, кто потащит лодки, другого не заставят делать и наоборот. Наш пограничный солдат всё равно сложа руки никогда не сидит!

Предложение Ожогова всем пришлось по сердцу. Перспектива проехать 5—6 вёрст на лодке была несравненно приятнее, чем усталыми и сонными тащиться верхом по пыльной дороге.

Муртуз-ага, у которого в персидском селении Акадыр, расположенном против Шах-Абада, жил один знакомый, захотел тоже ехать со всеми, с тем, чтобы не дожидая Шах-Абада, ему позволили бы выйти на персидский берег.

Таким образом, вся компания, разместившись в двух лодках, весело поплыла вниз по реке, оглашая пустынные её берега громкими криками и смехом.

На одной лодке сели: Лидия, Воинов, Муртуз-ага и Щербо-Рожновский, на другой — Ольга, Ожогов и доктор. Кроме того, в каждой лодке находилось по четыре гребца-солдата, а в лодке, где сидели Ожогов и доктор, — ещё рулевой.

Встреча с разбойником

В ту минуту, когда лодки тронулись в путь, параллельно им по персидскому берегу потянулась вереница всадников. Это были Муртузовы курды, которым было приказано их начальником сопровождать лодки, ограждая их от могущих последовать с персидского берега выстрелов.

Как чёрные тени двигались курды один за другим, то исчезая в густых камышах, то снова появляясь на открытой местности. Их оружие ярко поблескивало в голубоватых лучах месяца, придававших неясным силуэтам всадников причудливые формы. Что-то фантастическое было во всей этой картине.

Лодки, увлекаемые быстрым течением и дружными усилиями гребцов, плавно и ходко скользили по глухо рокочущим волнам; чтобы поспеть за ними, курдам приходилось местами подгонять лошадей. В этих случаях не приученные к рыси курдские клячи переходили в галоп и скакали короткими и неуклюжими прыжками, отчего сидевшие на них всадники раскачивались, как маятники.

Лидия сидела на корме и задумчиво смотрела перед собой. Вся эта своеобразная, дикая картина сильно действовала на её нервы и возбуждала в ней какие-то неясные, неуловимые ощущения. Минутами ей казалось, что она участвует в фантастической феерии, подобной тем, какие она видела в детстве: «В восемьдесят дней



вокруг света», «Путешествие по Африке» и т.п. В то же время она невольно проводила параллель между теперешней своею жизнью и той, какою она жила ещё в прошлом году. Прошлом лето она проводила на даче в Сокольниках, у своей тётки, ездила на музыку, в летние театры, участвовала в пикниках или проводила вечера с подругами. Как всё это было не похоже на то, что окружает её теперь: и природа, и обстановка, и люди! Главное дело — люди. Она вспоминала своих дачных кавалеров, и какими жалкими казались они ей по сравнению не только с Воиновым и Муртуз-агой, но даже Ожоговым и её зятем. В летних модных костюмах, в изящно-небрежно повязанных галстуках и уродливо модных башмаках-лыжами, в которых и ходить-то было неудобно, они, вооружённые толстыми модными дубинками и поигрывая моноклями и брелоками, ломались около своих дам, как петушки, соперничая между собой изящными манерами и остроумием. Лидии пришёл на память один случай, когда встретившийся на аллее дог произвёл страшный переполох во всей этой компании. Кто-то почему-то крикнул: «Бешеная!» — и все кавалеры, забыв о своих модных дубинках, растерялись до того, что начали прятаться за дам, один полез на дерево, а двое шмыгнули в первый попавшийся палисадник.

Собака, опустив голову и поджав хвост, пробежала мимо, не взглянув даже на людей, и только когда она исчезла из виду, растерявшиеся кавалеры начали приходить в себя и на посыпавшиеся на них упрёки со стороны дам принялись мило отшучиваться, стараясь каламбурами замаскировать своё душевное убожество.

Под впечатлением этого воспоминания Лидия взглянула в загорелое, открытое лицо Воинова, в его серые честные глаза, окинула взглядом всю его могучую фигуру. «Этот бы не побегал не только от собаки, а от зверя», — подумала она, и ей невольно припоминались рассказы о нескольких удачах выходках Воинова, про которые ей сообщил Щербо-Рожновский. Как однажды он с четырьмя человеками, под выстрелами отступавших разбойников, кинулся в реку, переправился по глубокому броду и бросился в шашки на второе сильнейшего врага. Другой раз, обходя секреты и наткнувшись на вооружённого контрабандиста, он лично задержал его, вырвал у него из рук заряженное ружьё в ту минуту, когда тот готов был уже спустить курок, и привёл на пост, держа одной рукой за шиворот, а другой, угрожая послать ему в голову пулю из револьвера. В начале знакомства с Воиновым Лидии, начитавшейся романов, он показался просто героем, но теперь, после встречи с Муртуз-агой, образ Воинова значительно потускнел в её глазах. По сравнению с Муртуз-агой он казался ей теперь ordinарным. «Здесь, на границе, много таких молодцов офицеров, — думала она, — в Муртуз-аге же есть что-то загадочное, в нём, под наружным спокойствием, таится не вполне укрощённый зверь, могучая, страстная натура, с прошлым, исполненным всяких приключений. Много испытывший на своём веку человек, с сильным характером и непреклонной волей!» — охарактеризовала она его мысленно. Лидия украдкой взглядывала в спокойное, бледное лицо Муртуз-аги, сидевшего напротив неё на скамейке, тиснетно стараясь прочесть таившиеся в



нём мысли, но лицо это было непроницаемо, как маска, и только в его больших чёрных глазах светилась задумчивая грусть.

Лодки между тем быстро подвигались вперёд. Гребцы-солдаты дружно и сильно наваливались на вёсла. Воинов вначале тоже грёб некоторое время вместо одного из солдат, но потом ему надоело, и он пересел на руль.

— Господа! — крикнула вдруг Лидия шедшей сзади них лодке, — давайте устроим гонку. Вон до того острова, чья лодка раньше к нему причалит!

— Отлично! — отозвался Ожогов, девизом которого было: «Угождай дамам». — Соломенко, — обратился он к рулевому своей лодки, — обгонишь ихнюю лодку — два рубля гребцам на чай!

— Слушаю, ваше благородие! — весело крикнул Соломенко, удаляясь, тряхнув головой и вызывая поглядывая на лодку соперников.

— Ну, ребята, не зевайте! — предупредил своих гребцов Воинов, — обойдём лодку полковника, от меня два рубля!

— И от меня тоже! — добавила Лидия.

— Надо подровняться, а то вы впереди! — крикнула Ольга Оскаровна. — Подождите нас!

— Ждём. Ну, раз, два, три!..

Восемь пар вёсел дружно и с размаха упали в воду. Началась гонка.

Лодки, на вид очень тяжёлые и неуклюжие, в действительности оказались довольно ходкими. Солдаты выбивались из сил, всей грудью наваливаясь на вёсла. Они высоко поднимали их над водой и широкими взмахами далеко отводили назад.

По мере того как расстояние, отделявшее их от острова, сокращалось, всеми овладело лихорадочное волнение. Даже дремавший всё время доктор оживился, и время от времени поощрительно покрикивал на гребцов. Один только Муртуз-ага, по-видимому, оставался совершенно спокойным, но когда лодка противника начала вдруг опережать их, даже и он не выдержал и с загоревшимся взглядом собирался что-то крикнуть, но сдержался, усмехнулся и медленно провёл рукой по лицу, как бы сглаживая этим жестом проступившее сквозь него волнение.

Лидия же волновалась больше всех.

— Что же это такое! — повторяла она, чуть не плача. — Они нас обходят!

— Не беспокойтесь, барышня! — успокаивал её один из гребцов. — Пушай их идут передом, вымотаются малость, мы их под самым обрывом обчикурим. Ребята, — обратился он к остальным гребцам, — смотри, не зевай, как поравняемся вон с тем камышом, ложись дружнее на вёсла, а главное, сразу и дальше заводи, а вы, ваше благородие, — обернулся он к сидевшему у руля Воинову, — когда пойдём мимо, сильнее руль направо кладите, мы их тогда враз с фарватера-то ихнего собьём, им уж тогда за нами не потрафить!

— Ты, Олейников, до службы матросом, кажется, был?



— Так точно, на добровольном, не то чтобы настоящим матросом, а так себе, на пароходе состоял при отце! — усмехнулся Олейников и тут же, строго глянув на товарищей, добавил: — Ну, ребята, изготovsky, сейчас будет пора!

— Au revoir¹, — дразня волнующуюся Лидию, приподнял фуражку Ожогов. — Будьте здоровы!

Его лодка шла почти на целый корпус впереди, и оттуда неслись весёлые подтрунивания по адресу отставших, но те хранили упорное молчание, искоса взглядывая на быстро приближающийся заросший густым камышом берег.

— Ну, с богом, — тихо, но отчётливо произнёс Олейников, — навались, ребята!

Две пары вёсел, как крылья чайки, дружно взмахнули в воздухе, лодка дрогнула и, как пришпоренная лошадь рванулась вперёд.

— Раз... раз... раз, — громко отсчитывал Олейников, — ну, ребята, навались, навались, так!..

С третьего взмаха лодки выровняли свои борта. Торжествовавшие уже было победу противники, растерялись. Послышались торопливые понукания. Засуетившиеся гребцы изо всех сил налегли на вёсла, но второпях сбились, вёсла легли вразброд, отчего лодка, вместо того чтобы рвануться вперёд, словно бы затопталась на месте. Этой неудачей как нельзя лучше воспользовался Воинов и, круто положив руль вправо, прорезал по самому борту противника... Ещё два-три могучих взмаха вёслами — и лодка с разбега ударилась кормой в песчаную отмель острова.

— Ура, наша взяла... Ура! — искренне торжествуя, закричала Лидия, махая платком, как флагом, но в эту минуту произошло нечто неожиданное. Шагах в пятнадцати от места, где причалила лодка, в самой чаще камыша что-то зашумело, мелькнула какая-то тень и мгновенно скрылась, почти одновременно с этим грянул эхом прокатившийся над рекой выстрел. Лидия услышала над своей головой жалобно-протяжный свист, точно жужжащая муха пролетела, и в ту же почти минуту на соседней лодке раздался громкий, испуганный крик. Один из гребцов — солдат — выпустил из рук весло, схватился обеими руками за грудь и медленно повалился на дно лодки.

Несмотря на всю неожиданность такого происшествия, привычные солдаты и офицеры не растерялись, и в то время, когда Ожогов и доктор наклонились к раненому, Воинов со своими гребцами уже был на берегу. С ружьями в руках все пятеро смело бросились в камыши на розыски дерзкого убийцы.

Лидия была так поражена всем случившимся, что сидела в лодке, не зная что ей делать, и только растерянно озиралась кругом. В двух шагах от неё на берегу Щербо-Рожновский успокаивал плачущую Ольгу.

«Где же Муртуз-ага?» — мелькнуло в голове Лидии, и она начала искать его глазами, но его нигде поблизости не было.

¹ Прощайте (фр.).





Никто не заметил, как в ту минуту, когда в камышах мелькнула подозрительная фигура, ещё до выстрела, Муртуз-ага одним скачком выпрыгнул из лодки и бросился вдоль берега, наперерез убежавшему.

Прошло несколько томительных минут... На острове всё было тихо, только изредка трещали кусты и шуршал камыш под ногами солдат...

Раненого вынесли на берег, посадили, сняли с него рубаху и осмотрели. К счастью, рана оказалась пустяшной, пуля скользнула вдоль груди, слегка оцарапав кожу. Это даже была не рана, а скорее контузия. Очевидно, на солдата, оказавшегося несколько слабонервным, подействовала не боль, а неожиданность полученного удара. Убедясь, что никакой опасности нет, Ожогов принялся сердито укорять его.

— Баба ты, братец! — сердито басил он. — Пуля тебя почти и не задела, а ты валишься, как сноп, перепугал всех!

Солдатик стоял, виновато потупив глаза. В эту минуту он, кажется, жалел, что так счастливо отделался.

Товарищи, помогавшие ему выйти из лодки, добродушно и лукаво ухмылялись, глядя на его сконфуженное лицо.

Доктор, разорвав носовой платок, делал перевязку.

— Ваше благородие, — крикнул один из солдат, рукой указывая на реку, — извольте глядеть, вон он плывёт!

Все устремили глаза туда, куда показывал солдат, и увидели посредине реки две головы, одну человеческую, а другую конскую. Человек плыл подле лошади, держась руками за её гриву и направляя её к русскому берегу. В обманчивом лунном свете с трудом можно было разглядеть косматую папаху пловца и торчащее из-за его головы дуло ружья.

— Садись в лодку! — крикнул Ожогов. — Может быть, догоним!

Солдаты энергично схватились за вёсла, и через минуту лодка уже неслась в погоню за беглецом. Почти в то же время на берег острова из камышей выбежал Воинов со своими солдатами. Первым их движением было схватиться за ружья, чтобы послать в пловца несколько пуль, но, увидев спешившую в погоню лодку, Воинов из боязни, как бы своими выстрелами не задеть сидящих в лодке людей, приказал своим солдатам опустить ружья.

— Теперь он уйдёт! — с досадой произнёс Олейников, стоя рядом с Воиновым и следя за движениями лодки. — Там сейчас будет отмель, они как раз на неё напорятся особенно с разбега, а он тем временем к берегу подплывёт, сядет на коня и укачет!

Предсказания Олейникова не замедлили сбыться. Не успел он замолкнуть, как вдруг лодка остановилась в своём стремительном беге и закачалась, наскочив всем дном на песчаный перекаат, которыми так изобилует Аракс.

Воинов видел, как двое солдат выскочили из лодки и, стоя по пояс в воде, изо всех сил старались спихнуть её с места, третий солдат и сам Ожогов помогали им, упираясь в дно отмели вёслами.



— Я так и знал! — проговорил недовольным тоном Олейников. — Было бы лучше из ружей в него вдарить, может быть, какая пуля и зацепила бы, а теперь он свободно уйдёт. Вон он уже к берегу прибивается... Сел... Ну, теперь шабаш, ушёл!

Татарин, приблизившись к берегу, где вода была настолько мелка, что лошадь уже могла идти, быстро вскочил в седло и погнал лошадь в прибрежные кусты, не успел он, однако, проехать и нескольких шагов, как на дальнем конце острова сверкнуло яркое пламя, и грянул выстрел. Беглец закачался в седле, запрокинулся навзничь и медленно и тяжело, как куль, свалился в воду. Волны жадно подхватили его тело, подбросили раза два на своих пенистых гребнях, закружили и повлекли вниз... Освободившаяся лошадь вскачь вынеслась на крутой берег и быстро исчезла в кустах.

— Кончена комедия! — сказал Воинов, возвращаясь со своими солдатами к лодкам. — Молодец Муртуз-ага, это ведь он подстрелил татарина. Я-то стрелять не мог, с моего места опасно было, чтобы не попасть в лодку, а он забежал вперёд и с того конца выстрелил... Метко бьёт, без промаха. А вот и он идёт!

Муртуз-ага шёл не торопясь, неся ружье в руках, лицо его, по обыкновению, было спокойно.



— Знаете, кто этот татарин? — спросил Муртуз-ага, подходя к Воинову. — Кербалай-Аскер, каторжник. Он года два тому назад бежал у вас с каторги, поселился в Персии и начал разбойничать и контрабандировать. Мне сардар давно приказывал его поймать, да всё как-то не удавалось, а сегодня, как нарочно, сам подвернулся. Он, должно быть, хотел контрабанду к вам провезти.

— Чего он, дурак, стрелял! Притаился бы в камышах, мы бы его и не заметили!

— А уж это такая натура разбойничья! Не утерпел, чтобы не выстрелить: соблазн велик. К тому же он понадеялся на лошадь, думал, успеет ускакать!

— Чуть-чуть и не ускакал! Если бы не вы — ушёл бы, наверняка!

Весь этот неожиданный переполох испортил всем настроение. Муртуз-ага стал просить перевезти его на персидскую сторону, что и было исполнено. Когда лодка причалила к берегу, он наскоро простился со всеми и выскочил на песчаную отмель, где его ожидал высокий, мрачного вида курд, держа под узды лошадь. Муртуз-ага ловко вскочил в седло, приосанился и поскакал от берега, сопровождаемый всем своим отрядом.

— Какой молодец! — невольно вырвалось у Воинова, с удовольствием следившего за всеми движениями Муртуз-аги.

Лидия промолчала. Она всё ещё находилась под впечатлением разыгравшейся перед ней драмы.

«Убили человека, точно куропатку подстрелили, ничего, как будто бы так и быть должно!» — думала она с затаённым ужасом.

Всю остальную дорогу она сидела молча, подавленная нахлынувшими мыслями, тревожно роившимися в голове. Она думала о Муртуз-аге, произведшим на неё сегодня такое сильное и, вместе с тем разностороннее впечатление. Он очень нравился ей, возбуждал любопытство, но в то же время вселял ужас, смешанный с отвращением.

«Сколько людей убил этот человек на своём веку?» — спрашивала себя Лидия. — Во всяком случае не одного и не двух!» — давала она сама себе ответ, и при этом жуткая дрожь пробегала по её телу.

У таможенного паромы

Селение Шах-Абад, где стояла шах-абадская таможня, соединялось с персидским селением Акадыр посредством двух паромов, русского и персидского, ходивших по реке на толстом железном канате. Персидский паром был невелик и постоянно был в неисправности, на нём переправлялись только разные персидские беки, ханы и богатые купцы, простой же народ и товары возились исключительно на русском пароме, отличавшемся своими большими размерами и чрезвычайно прочной конструкцией.



Для верблюжьих караванов версты на полторы ниже паромов был брод, через который, для выигрыша времени и удобства, купцам было разрешено возить товары на верблюдах, не разгружая их, но под наблюдением солдат пограничной стражи.

Переправа на паромах начиналась с 9 часов утра и продолжалась до заката солнца, под непосредственным надзором таможенных солдат. С заходом же солнца русский паром запирался цепью на замок, поверх которого прицеплялась ещё свинцовая пломба, и к нему ставился часовой от пограничной стражи, на обязанности которого лежало не допускать никого к парому, а также следить, чтобы персидский паром, остававшийся на ночь у персидского берега, не причаливал к русскому.

Наблюдение за порядком при переправах на паромах лежало на старшем таможенном досмотрщике, но в исключительных случаях, при сильном наплыве пассажиров³⁰ и товаров на берег, командировался иногда канцелярский чиновник.

Старшим досмотрщиком при шах-абадской таможне был отставной фельдфебель Илья Ильич Сударчиков.

Это был старик лет шестидесяти, невысокого роста, широкоплечий, с длинными седыми бакенбардами и суровым лицом.

Несмотря на лёгкую сутуловатость и некоторое колебание в походке, приобретённое им на долголетней службе, старик выглядел ещё молодцом, чему способствовали широкая грудь, увешанная крестами и медалями. Большая серебряная медаль на шее внушительно выглядывала из-за бакенбард и вселяла глубокое почтение толпившимся у парома мушам.

Стоя на берегу с целой пачкой тэскэре³¹ в руках, Сударчиков неторопливо и степенно совал их в протянутые руки грязных, оборванных персов-рабочих, робко теснившихся вокруг него.

— Кэрбалай-Аласкэр! — выкрикивал он, строго глядя в надвинувшиеся со всех сторон, торопливо дышащие, обожжённые солнцем лица. — Машады-Измаил! Абудул-Мамед-оглы! Кэрбалай-Зэйнал! Ну, что же вы? Подходи, что ли!

Вызываемые приближались, брали из рук «старшего» свои замасленные, пропитанные потом тэскэре и, засунув их за пазуху, трусцой бежали к парому, где шла невообразимая суматоха. Здесь целый табун выючных ослов сбился в одну кучу и



меланхолично потряхивает ушами, под крик и брань о чём-то отчаянно спорящих между собой погонщиков. Там, дальше, огромный облезлый верблюд, издавая жалобный рёв, осторожно и неохотно опускается на колени, подле груды каких-то ящиков, другой уже лежит, и два оборванных, невообразимо грязных татарина в косматых папах, с громкими криками, торопливо навьючивают на его израненную под седлом спину неуклюжие деревянные ящики. Верблюд, закинув голову, испускает пронзительные стоны, точно апеллируя ко всему свету на жестокое обращение с ним людей.

Время от времени он умолкал и принимался злобно скрежетать огромными, длинными жёлтыми зубами, которыми мог бы, при желании, легко оторвать голову своему жожаку. Тут же, неподалёку, жалось друг к другу десятка четыре овец, около которых суетилось несколько татар, для чего-то разбивая их на два стада. Овцы пугливо блеяли, перебегали с места на место, отбитые в сторону, всеми силами старались вновь соединиться с товарками, запыхавшиеся татары отчаянно голосили и махали палками, увеличивая и без того царящий кругом шум и гам. Седобородый мулла в белой чалме и в таком же поясе, угрюмо насупясь, сосредоточенно тянул за повод тощую, рыженькую, беломордую клячонку, осёдланную высоким, неуклюжим курдским седлом, с притороченными к нему туго набитыми хурджинами. Лошадёнка, вытянув тощую шею, едва передвигала ноги, уныло пошевеливая хвостом, настолько длинным и пушистым, что, казалось, не хвост служил принадлежностью лошадёнки, а, напротив — лошадь была дана в придачу к своему не по росту пышному хвосту.

Несколько курдов в живописных костюмах, увешанные целым арсеналом оружия, лениво облокотясь на сёдла своих крошечных лошадок, с терпеливым достоинством выжидали очереди, товаром и животными до положенной нормы, Сударчиков махал рукой паромщику, канат натягивался, и паром, тяжело отвалив от берега, начинал медленно пересекать реку. Через некоторое время он возвращался обратно, привозя новую толпу людей, лошадей, ишаков, овец, которые, как только борт парома касался схода, стремительно, точно спеша спастись от погони, бросались на берег, толкая и обгоняя друг друга.

Прибывшие из Персии пассажиры собирались в одну толпу и под конвоем двух солдат пограничной стражи следовали на таможенную для визирования своих паспортов и предъявления к осмотру привезённых с собой вещей. Для тех, кто был хорошо одет и ехал на хороших собственных лошадях, делалась небольшая поблажка: их не заставляли ждать, пока партия соберётся, а отправляли в таможенную немедленно.

— Илья Ильич, — почтительно доложил младший досмотрщик, состоявший у Сударчикова в помощниках, — извольте взглянуть, никак хан Акадырский едет!

Он указал пальцем на приближающийся персидский паром, на платформе которого стояло несколько пёстро одетых всадников. Впереди всех на рослом сером, блестящем, как серебро, жеребце сидел мужчина, одетый в персидский полукаф-



тан и папаху с гербом. Сзади его, держа лошадей на поводу, стояло двое курдов в ярко-красных бархатных куртках и пёстрых поясах. На голове у них были чёрные чалмы из шёлковых платков, с выпущенной на глаза бахромой. Сёдла и чепраки их рослых и статных коней были расшиты шёлком.

— Нет, это не хан, — пристально глядяваясь в лицо всадника, произнёс Сударчиков, — хан много старше, ростом ниже и из себя плотнее, это какой-то незнакомый, я его впервой вижу. Должно, какой бек знатный или чиновник ихний!

Паром тем временем подошёл к берегу, стоявшие до того смирно, лошади заволновались, особенно серый жеребец находившегося впереди всех всадника. Не успели паромщики настлать кое-как доски сходен, как он уже горячо рванулся вперёд, но, почувствовав под ногами пляшущие, как клавиши фортепиано, доски, испугался, взвился на дыбы и одним огромным скачком птицей перелетел на берег, не касаясь предательских сходен копытами. Сопровождавшие всадника курды осторожно провели лошадей в поводу.

— Ким-адам³²? — спросил Сударчиков, подходя к всаднику, с трудом сдерживавшему на строгом мундштуке разгорячившуюся, нервно танцующую лошадь.

— Муртуз-ага, секретарь Суджинского сардаря, — отвечал тот по-русски, — я к управляющему таможеней!

— Пожалуйте! — повёл рукой Сударчиков.

Муртуз-ага толкнул лошадь широкими стремянами и коротким азиатским галопом поскакал к таможене, стоявшей от берега менее чем в версте расстояния.

Сударчиков проводил его глазами и задумался: «Лицо как будто бы знакомое, где я его видел? Сюда, в таможеню, он никогда не приезжал, а между тем мне ясно помнится, словно бы я с ним где-то встречался. Или, быть может, похожий на него, они, басурмане, все на одно лицо, немудрено, что и смешаешь!».

В это время подошёл русский паром, целая толпа пассажиров с криком и гамом повалила мимо Сударчикова и отвлекла его внимание.

Лидия Оскаровна сидела в своей комнате у окна, когда увидела проскакавшего мимо сада Муртуз-агу. Хотя на охоте Щербо-Рожновский и звал Муртуз-агу к себе в гости, но тот отвечал так уклончиво и неопределённо, что Лидия вывела заключение о нежелании, по известным ему одному причинам, приехать в Россию, а потому внезапное появление Муртуз-аги явилось для неё крайней неожиданностью, немного даже взволновавшей её.

— Ольга, Муртуз-ага приехал! — сказала Лидия, торопливо входя в столовую, где сестра её что-то шила. — Должно быть, к нам в гости!

— Ну, что ж, — спокойно произнесла Ольга Оскаровна, — милости просим. Я думаю, он согласится с нами пообедать, он, кажется, не фанатик!

— Разумеется! — подтвердила Лидия и поспешила к себе в комнату, привести в порядок свой домашний, несколько небрежный костюм.



— Mesdames¹, — весело произнёс Щербо-Рожновский, входя в гостиную, куда Ольга и Лидия успели уже выйти, — угадайте, кого я вам привёл?

— Муртуз-агу! — весело крикнула Лидия. — Не стройте секрета, я сама видела из окна, как он подъехал к таможне!

— Глазки дам — за орлиные не отдам! — по своей привычке говорить не иначе как двустышиями, произнёс Щербо-Рожновский. — От вас ничего не скроется. Угадали, Муртуз-агу! Он пока ещё в таможне, но сейчас придёт. Кстати, Олечка, — обратился Щербо-Рожновский к жене, — имей в виду, я его пригласил обедать!

— Ну, так что же? Небось хватит всем, только не знаю, понравится ли?

— Понравится. Ты ведь у меня хозяйюшка первый сорт... А вот, кстати, и он!

Дверь отворилась, и в комнату, неслышно ступая по разостланному ковру, вошёл Муртуз-ага. Увидя дам, он учтиво поклонился и поспешил дружелюбно пожать протянутые руки.

— Милости просим, — радушно приветствовала его Ольга Оскаровна, — прошу, садитесь. Мы вас давно поджидали. Думали, что вы уже и не приедете!

Неожиданный гость

— Дела были, к тому же, сардар не любит отпускать своих приближённых в Россию. Надо было выбрать удобную минуту, чтобы получить разрешение!

— Почему же? — спросила Лидия.

— Аллах его ведаёт! — рассмеялся Муртуз-ага. — Может быть, боится измены. Надо вам знать, он у нас очень болезненный и через это чрезвычайно мнительный и подозрительный. Чуть что, сейчас в измене обвинит, ему и так всё мерещится, будто бы Россия хочет завладеть Суджинским ханством!

— Но раз уж вы вырвались, — засмеялась Ольга Оскаровна, — то надеюсь, вы к нам на целый день, будем обедать вместе. Не правда ли?

Муртуз-ага вместо ответа низко склонил голову.

Лидия, сидя у окна так, чтобы не быть прямо у него на глазах, с любопытством разглядывала его. На этот раз Муртуз-ага показался ей несколько иным, чем там, на охоте, но она долго не могла решить, был ли он сегодня лучше или хуже. «Он сегодня более европеец, — решила она наконец, — и это, пожалуй, идёт к нему!».

Действительно и в одежде, и в манерах Муртуз-аги была большая разница. Мундирный кафтан из тонкого тёмно-синего сукна был, вопреки персидскому обычаю, застёгнут на все пуговицы, из-под ворота выглядывали крахмальные воротнички, а из рукавов — белоснежные манжеты, по борту шла золотая цепочка. Войдя в комнату, он снял свою папаху, чего персы тоже не делают, оставаясь всегда в головном уборе. Обычай не снимать шапок настолько прочно вкоренился у персов, что русское правительство сочло возможным, как своим подданным мусульманам,

¹ Мадам (фр.).





так и персидским, разрешить оставаться в шапках даже и там, где для всех прочих снятие головного убора признаётся обязательным, как, например, в суде, в присутственных местах и т.п. В городе Ереване, во время богослужения в царские дни, в кафедральном соборе персидский консул присутствовал с надетой на голове папашой.

Держал себя Муртуз-ага тоже несколько иначе. Не прикладывал так часто руку к сердцу и не отвечивал низких, подобострастных поклонов.

— А вы знаете, я к вам с просьбой, — начал Муртуз-ага после первых незначительных фраз, обращаясь к Щербо-Рожновскому, — не согласитесь ли вы с вашими дамами и тем офицером, что был с нами на охоте, пожаловать к нам в Суджу? Там много интересного. Увидите, как живут наши ханы, посмотрите их дворцы, наконец, сама местность очень интересна. Суджа напоминает немного Северный Кавказ. Я уверен, если вы согласитесь приехать, то не раскаетесь!

— А как далеко до Суджей? — осведомился Осип Петрович. — И как туда проехать?

— Я думаю, и пятидесяти вёрст не будет, а ехать можно сначала до селения Тун в экипаже, а оттуда уже верхом, так как за Туном дорога пойдёт ущельем, и на колесах ехать почти невозможно, до Туна же дорога очень порядочная!

— А до Туна сколько вёрст?

— Больше половины, так что верхом вам придётся проехать не особенно много, вёрст восемнадцать—двадцать. Зато дорога чрезвычайно интересная. Всё время ущельем, по склонам гор, виды восхитительны, вы просто залюбуетесь. К тому же там горы не такие, как здесь, совершенно обнажённые, без всякой растительности, наши горы покрыты лесом и кустарниками, в которых водится очень много дичи, горные козлы и даже медведи. Медведей мы, разумеется, не встретим, но козлов можем увидеть, правда, издали, как они прыгают со скалы на скалу!

— Что ж, я, пожалуй, не прочь, вот только как дамы! — согласился Щербо-Рожновский. — Мне, признаться, самому давно хочется побывать в Персии подалее от границы, а то я за четыре года, что живу здесь, бывал только в приграничных селениях, да и то на какой-нибудь час, не больше!

— Ну, а о нас и толковать нечего! — воскликнула Лидия. — Мы, разумеется, едем с восторгом, не правда ли, Ольга?

— Конечно, такая поездка очень интересная вещь, и я охотно поеду. Воинов тоже, наверное, поедет!

— Разумеется, в этом не может быть никакого сомнения, мы ему просто-напросто прикажем. Теперь только надо выработать план поездки. Экипажи мы где достанем?

— Надо будет нанять фаэтонщиков из Нацавли. Они часто ездят в Суджу, из Нацавли туда есть даже прямая колёсная дорога. Не правда ли?

— Есть, — кивнул головой Муртуз-ага, — но эта дорога крайне неприятная, очень пустынная, каменистая и скучная. Мы поедем прямо отсюда!



— А как же с верховыми лошадьми? — поинтересовалась Лидия.

— Верховых лошадей я вам доставлю сколько угодно!

— О, нет! — замахала руками Лидия. — Я если поеду, то только на своём Копчике, на другую лошадь я не сяду ни под каким видом!

— Если желаете, то это легко устроить. Накануне поездки я пришлю за вашей лошадью двух своих надёжных курдов, они доведут её до Туна и там заночуют. Что касается меня, то я со своими людьми встречу вас у самого паромы на персидской стороне и буду провожать до Суджей. В Туне мы устроим привал, слегка закусим, вы сядете на ваших лошадей, и к вечеру мы уже будем в Судже!

— Великолепно. Ах, как я рада! — захлопала Лидия в ладоши. — Вы, Муртуз-ага, право, милый!

Муртуз-ага слегка вспыхнул и опустил глаза.

— Помилуйте, — произнёс он, — ваше посещение нам, суджинцам, будет большая честь и радость. Сардар сам хотя и болен, но будет искренне счастлив вас видеть!

— Когда же мы поедем?

— Я думаю, лучше всего в начале будущего месяца. Теперь ещё чересчур жарко, а в первых числах сентября будет прекрасно! — заметил Щербо-Рожновский. — В сентябре по утрам и к вечеру становится уже прохладно, а потому и дорога не так утомительна. Не правда ли, Муртуз-ага?

— Хотя для меня, чем скорее вы приедете, тем приятнее, но, говоря откровенно, вы правы. Теперь действительно ещё жарко, но в первых числах сентября будет как раз впору. Надо вам знать, что в самих Суджах климат суровее, нежели в долине, а потому позднее начала сентября там уже значительно холодно, особенно по ночам.

— Нет, зачем же позднее! — возразил Щербо-Рожновский. — Я надеюсь, мы соберёмся числа пятого-шестого, надо только с Воиновым условиться. Может быть, он сегодня вечером подъедет. Мы вместе всё и обсудим, что и как, а теперь не пора ли обедать? Ты как, жинка, думаешь?

— Сейчас прикажу накрывать, — ответила Ольга Оскаровна и вышла распорядиться по хозяйству.

— Вы что же, Лидия Оскаровна, — обернулся Щербо-Рожновский к девушке, — так далеко сели? Садитесь поближе, и будем балакать, пока жинка нам обед справляет.

Лидия пересела на диван против Муртуз-аги. Она была одета в светло-голубую кофточку, с вырезанным воротом и широкими рукавами. Серебряный кавказский пояс на галунной тесьме туго перетягивал её стройную талию. Густые, пепельно-белокурые волосы были высоко подобраны и укреплены на маковке длинной булавкой в виде стрелы. Целый каскад мелких завитков ниспадал на её высокий белый лоб.

Муртуз-ага с нескрываемым восхищением любовался молодой девушкой. В этом костюме она казалась ему ещё лучше, чем в амазонке.



Если бы была его воля, он, кажется, сидел бы и только смотрел ей в лицо молча, ничем не отвлекаясь, никакими разговорами. Требовалось большое усилие воли с его стороны, чтобы заставить себя не смотреть ей прямо и пристально в глаза, в эти чудные, тёмно-голубые глаза, казавшиеся по временам чёрными, с изящными, словно кистью художника нарисованными бровями. Слушая мелодичный голос девушки, Муртуз-ага с трудом улавливал смысл слов и только глядел, как шевелятся её красивые, пунцовые губы, как задорно сверкают за ними её белые, ровные, изящные зубки.

«Если бы рай Магомета не был выдумкой мусульманской фантазии, и в нём действительно жили бы гурии, они не могли бы быть лучше», — думал Муртуз-ага, любуясь Лидией.

Лидия не ошиблась. Только что успели встать от стола, с чашками турецкого кофе перейти в гостиную, как приехал Воинов. Он очень часто посещал Щербо-Рожновских. Если служба и занятия не позволяли ему пробыть весь вечер, он довольствовался тем, что, справившись о здоровье, сидел минут пятнадцать — двадцать, после чего уезжал назад к себе.

Ни для Осипа Петровича, ни для Ольги Оскаровны не было тайной, что Воинов без ума влюблён в Лидию, и так как он был им обоим весьма симпатичен, то они и не находили нужным мешать дружескому сближению между молодыми людьми. Вначале, с первых дней знакомства, отношения Лидии к Аркадию Владимировичу были весьма дружественные: он заметно ей нравился, и она находила большое удовольствие в его обществе, но за последнее время в обращении Лидии с Воиновым была заметна какая-то нервность, иногда она бывала с ним особенно любезна, даже ласкова. Иногда же, ни с того ни с чего или принималась зло над ним подтрунивать, или совершенно игнорировала его присутствие. В такие дни на Воинова было жалко смотреть, он как-то весь съеживался, робел, не знал, что и как говорить, чтобы не усилить дурного расположения девушки, старался угождать её и благодаря всему этому становился действительно немного смешным.

— Лидия, — пробовала Ольга Оскаровна урезонивать сестру, — ты просто невозможна в своём обращении с Воиновым, ты на каждом шагу обижаешь его!

— Ах, он настоящий телёнок. Знаешь, такие бывают породистые, полутора-годовалые бычки, очень сильные и, пожалуй, страшные, когда разозлятся, но в обычном своём состоянии добродушно-туповатые... Понимаешь, что я хочу сказать?

Ольга Оскаровна пожимала плечами и недовольно отворачивалась от сестры.

На этот раз Лидия была в очень хорошем расположении духа и встретила Воинова весьма любезно.

— Вас только доставало! — воскликнула она, протягивая ему руку. — Мы проектируем поездку в Суджу, и я вперёд дала за вас согласие!

— Отлично сделали, — влюблёнными глазами глядя на девушку, произнёс Воинов, — раз вы едете, я, разумеется, буду счастлив сопровождать вас!



— Муртуз-ага обещал приехать со своими курдами к нам навстречу, так что опасности никакой быть не может! — добавила девушка с какой-то неуловимой, особенной интонацией в голосе, которую различить могло только ухо влюблённого.

— Если вы, Лидия Оскаровна, — вспыхнул Воинов, — сообщением об отсутствии опасности хотите успокоить меня, то, уверяю вас, что я о ней не думал!

— Какое же может быть сомнение! — задорно воскликнула девушка. — Разве мы не знаем, что вы известный рыцарь Баярд, без страха и упрёка!

Оно понятно
И для детей, и для детей,
Что жизнь приятна,
Но смерть честней...

— шаловливо пропела она и вдруг скороговоркой добавила, как бы про себя: «Но только зачем всем и каждому в нос тыкать своей храбростью!».

Воинов покраснел, хотел что-то сказать, но удержался и отошёл к Ольге Оскаровне. Он чуть не плакал от обиды и огорчения.

«Вот и всегда так, — думал он про себя с мучительной тоской, — сначала любезна, мила, а через минуту начинает язвить, и за что?».

Муртуз-ага, бывший свидетелем всей этой сцены, сделал вид, будто ничего не заметил, и поспешил заговорить о лошадях.

— Я понимаю, — начал он, — что вы, Лидия Оскаровна, любите вашего Копчика, это действительно прекрасный конь, но когда вы приедете в Суджу, вот там вы увидите лошадей... Наши ханы развели собственную породу, прекрасные лошади, рослые, статные, красивые, по виду — настоящие арабы!

— Вы, кажется, опять пикировались с Лидией? — спросила Ольга Оскаровна подсевшего к ней Воинова. Тот принужденно улыбнулся.

— Лидия Оскаровна всё надо мной подтрунивает! — сказал он, деланно весёлым голосом.

— У неё уж такой характер! — постаралась успокоить его Ольга. — Она и на наш с мужем счёт не прочь пройтись, только бы случай представился!

Лидия между тем с большим любопытством расспрашивала Муртуз-агу об обычаях его страны. Её очень интересовали свадебные и похоронные обряды персов, взаимные отношения членов семьи между собой, государственный строй ханства и быт его жителей.

Муртуз-ага рассказывал охотно и настолько интересно, что мало-помалу и остальные члены компании подсели ближе, желая послушать его рассказы.

— Положение женщины у нас, — говорил Муртуз-ага, — действительно ужасное. Особенно в простом сословии она не имеет никаких прав, и жизнь её совсем не обеспечена. Ещё здесь, у русских, благодаря строгости законов и судебно-медицинскому следствию, женщины хоть немного, да ограждены от насилия, у нас же, в Персии, убить жену так же легко, как всякое домашнее животное, если только



у неё нет могущественных родственников, которые пожелали бы заступиться за неё. Впрочем, последнее случается очень редко, ибо по нашим адатам никто не имеет права вмешиваться в семейные дела другого, хотя бы ближайшего родственника. Если позволите, я расскажу вам два случая, из которых вы увидите, в каком беззащитном положении находится наша женщина.

Людская злоба

— Года три тому назад, — начал Муртуз-ага свой рассказ, — в одном селении проживал молодой бек³³ — человек не богатый, но и не бедный. Отец у него умер, а всем домом заправляла мать-старуха. У бека были две сестры, одна вдова, другая ещё девушка. Молодой бек — звали его Кербалай-Мустафа-Машади-Аласкер-оглы³⁴, — занимался, как и большинство наших беков, скупкой и перепродажей пшеницы и хлопка. По роду своих занятий ему приходилось часто отлучаться от дому и разъезжать по разным селениям и местностям. Вот в одну из таких поездок он случайно увидел в одном селении молодую девушку, произведшую на него сильное впечатление. Он тут же познакомился с отцом девушки и стал её сватать себе в жёны. Старик-отец согласился, но заломил слишком большой кэбин. Кэбин — это плата отцу невесты. Долго спорили, торговались, наконец, условились так, чтобы Мустафа уплатил половину выкупа и брал себе в дом невесту, но с тем, чтобы окончательно свадьба была совершена только после того, когда жених уплатит и вторую половину кэбина. Это было необходимо ещё и потому, что невеста была слишком молода, ей не было двенадцати лет. Раньше этого возраста браков не заключают, делают только нечто вроде вашего обручения. Так поступил и Мустафа, обручился со своей невестой, уплатил тестю половину кэбина и повёз девушку домой, но тут его ожидала большая неприятность. Старуха-мать страшно рассердилась, узнав о поступке сына. С одной стороны, она нашла, что кэбин слишком велик, и невеста его не стоит, с другой, а это главное, она рассчитывала женить своего сына на сестре покойного мужа своей дочери-вдовы. Благодаря такому браку, по нашим адатам, всё имущество переходило в род Мустафы. Однако делать было нечего. Расторгнуть обручение не представлялось возможным: Мустафа, искренне полюбивший свою девочку-невесту, слышать не хотел об этом, да к тому же подобное расторжение представлялось и крайне невыгодным, так как в случае отказа жениха от невесты уплаченная половина кэбина не возвращалась. Таким образом, отец невесты получал и девушку назад, которую он мог снова отдать другому за такой же кэбин, и порядочную сумму денег, полученную от Мустафы.

Надо было предпринять что-нибудь другое, и старуха, недолго думая, решила убить девочку. Это было тем выгодней, что, по условию, если невеста умрёт раньше совершения брака, отец должен был возвратить полученную с жениха часть кэбина. Однако, решившись отделаться от невесты, старуха должна была действовать



крайне осмотнительно, ибо в случае открытия преступления, ей, с одной стороны, угрожал гнев сына, а с другой — судебное преследование отца невесты, который, если не из любви к дочери, то из нежелания возвратить полученную часть кэбина и, стремясь дополучить остальную, не позволит замять дела, и выведет убийцу на чистую воду. А в этом случае у нас, в Судже, расправа короткая, — банка керосина на голову и кусок горящей ваты за пазуху. Сознывая, что одной ей не привести в исполнение свой план, старуха открылась старшей дочери-вдове, которая, будучи заинтересована в смерти девочки, охотно взялась помогать матери. Много планов перебрали они обе, но ни один не оказывался подходящим. Тонких, медленно действующих ядов у нас не знают, а смерть от грубой отравы сейчас же возбудила бы подозрение.

Задушить, спихнуть в пропасть, утопить тоже было неудобно, принимая во внимание отца невесты. Надо было изобрести что-нибудь потоньше, по замысловатей. Пока женщины изобретали план убийства, время себе шло да шло. Подходил срок совершения свадьбы. Мустафа скопил требуемую сумму и уже назначил день, когда он решил поехать к отцу невесты отвезти ему вторую половину кэбина, как вдруг в доме его случилось несчастье. В одно утро старуха велела своей будущей невестке принести ей горсть муки. Мука находилась в мешке, помещавшемся в задней комнате, служившей кладовой. Не успела молодая девушка скрыться за дверью кладовки, как раздался отчаянный пронзительный вопль, и через минуту она выбежала назад бледнее полотна, с искажённым от ужаса лицом.

Держа высоко над головой правую руку, из которой капала кровь, она отчаянным голосом вопила:

— Юрза, юрза!

— Что случилось, что такое? — с напускной тревогой в голосе начала расспрашивать старуха, мать Мустафы. — Отчего у тебя кровь?

— Меня ужалила юрза! — трагическим голосом закричала молодая девушка. — Только я открыла мешок и сунула в него руку, как почувствовала, что меня что-то сильно укололо, я взглянула, а в мешке — юрза³⁵. Пошлите скорей за хакимом³⁶.

Старуха, продолжая разыгрывать роль испуганной и страшно огорчённой, сама побежала к проживавшему в том селении знахарю, но по дороге, как назло, ей то и дело встречались соседки, которым она не могла не рассказать о поразившем её несчастье. Благодаря этим остановкам, а отчасти и тому, что глухой хаким долго не мог взять в толк, о чём ему рассказывает так подробно и обстоятельно почтенная мать Мустафы, прошло слишком много времени, настолько много, что, когда уразумевший, наконец, хаким с быстротой, на которую только были способны его старые ноги, прибежал в дом Мустафы, девушка находилась в агонии. Она билась на земле от нестерпимой муки и оглашала воздух отчаянными, душу надрывающими воплями. Через несколько минут, несчастная скончалась, а часа два спустя приискал сам Мустафа, бывший по делам в соседнем селении.





Весть о смерти невесты поразила его, как громом, он громко рыдал, забыв своё мужское достоинство. Старуха-мать и сестра-вдова рыдали ещё громче. Глядя на их печаль, никому бы не могло прийти в голову, что смерть девушки была делом их рук. Они умудрились как-то изловить юрзу и сунуть в мучной мешок в надежде на то, что когда невестка пойдёт за мукой, змея, потревоженная в своём покое, непременно ужалит её. Расчёт их удался как нельзя лучше, ни подозрений, ни сомнений ни у кого не могло быть никаких. Появление змеи в домах, причём они забираются не только в мешки с провизией, но даже в постели и кувшины для воды, у нас явление обыкновенное. Смерть от их страшных укусов тоже не редкость. Особенно часто гибнут дети и женщины. Тем бы так всё и кончилось, если бы не замешался вопрос о возвращении отцом невесты кэ-

бинных денег. Старик был прижимист и, как все персы, страшно жаден. Отдать назад то, что он уже считал своим, ему казалось прямо невозможным. Под разными предлогами он стал откладывать расчёт с Мустафой, а тем временем начал разнюхивать о всех подробностях жизни своей дочери в доме жениха и её смерти.

По некоторым данным он скоро убедился, что мать Мустафы ненавидела свою будущую невестку и прочила своему сыну в жены другую женщину. Это известие усилило подозрение старика, и он с большой настойчивостью отдался своему следствию, и вот, совершенно неожиданно, он наталкивается на мальчишку-пастушка, который сообщает ему, что видел своими глазами, как рано на заре мать Мустафы со своей старшей дочерью ловили в глиняный кувшин юрзу.



— Это случилось как раз в тот день, когда умерла девушка, жившая у Мустафы, — окончил свой рассказ мальчик.

Получив такое важное сведение, отец пошёл к Мустафе и высказал ему свои подозрения. Надо отдать справедливость молодому человеку, он поступил в этом случае вполне благородно. Внимательно выслушав старика, Мустафа позвал к себе младшую сестру и подверг её строгому допросу. Молодая девушка сама ничего не знала, она могла только повторить несколько фраз, случайно подслушанных ею из разговоров её матери со старшей сестрой, но для Мустафы эти фразы не оставляли никакого сомнения в преступлении, совершённом его матерью. Он был страшно поражён, и бешенству его не было границ, но в то же время не мог же он выдать судьям свою родную мать и сестру. Надо было уладить дело. Отец невесты оказался сговорчивее, чем можно было ожидать. Он охотно согласился помириться, на условиях не возвращать жениху полученной части кабинных денег и уплаты сим последним ещё ста рублей. Единственным последствием всей этой истории было то, что Мустафа, оставив мать и сестёр в том доме, где они жили, сам уехал от них и поселился в другом селении. Теперь он уже женат и едва ли вспоминает свою погубленную невесту.

Загубленная жизнь

— Другой случай, если хотите, ещё трагичней. Было это лет десять—двенадцать тому назад. Жил в нашем краю богатый и знатный бек Гаджи-вали: было ему лет за шестьдесят, это был человек крайне свирепый и властный. Семья у него была большая, так как он имел много жён, но, кроме женской половины, в мужской с ним жил только младший сын Беюк-ага. Остальные сыновья, не желая подчиняться суровому деспотизму отца, жили сами по себе. Если сыновья имели основание жаловаться на суровость Гаджи-вали, то дочери его и жёны просто изнывали от его грубого, подчас зверского обращения. Двое из сыновей Гаджи-вали жили здесь, в России, откуда родом были их жёны, и вот однажды по какому-то делу Гаджи-вали послал к одному из них Беюк-агу.

Живя у брата, Беюк-ага познакомился с сестрой его жены, молоденькой двенадцатилетней Гюзейль-ханум³⁷ и пожелал взять её в жены. Вернувшись домой, он сообщил об этом старику, причём не преминул в восторженных выражениях описать красоту своей возлюбленной. Гаджи-вали, против обыкновения, выслушал слова сына весьма снисходительно и, согласившись на его просьбу, лично отправился в Россию³⁸ к родителям Гюзейль-ханум просить её в жены сыну.

Хотя слава о дурном характере Гаджи-вали была хорошо известна родным девушке и ей самой, но она не сочла нужным отказывать ему в его сватовстве, рассчитывая, что, женившись, Беюк-ага по примеру прочих братьев заживёт самостоятельно.



Заключив кэбинные условия и совершив обручение, которое у нас может быть заочное, Гаджи-вали повёз молодую невесту к себе в селение, где должна была быть окончательная свадьба.

Беюк-ага, ожидавший с нетерпением возвращения отца, выехал ему навстречу. Он радостно поздоровался с ним и успел переглянуться с красавицей невестой, ехавшей сзади на белом катере. В дороге, по мусульманским обычаям, жених не имел права говорить с невестой, но, приехав домой, Беюк-ага уловил удобную минуту и, пробравшись на женскую половину, успел переговорить с Гюзейль-ханум. Счастливые и довольные стояли они в тёмном уголке и шёпотом говорили о своей скорой свадьбе и будущей жизни. Тут же в первый раз Гюзейль-ханум высказала непереносимое своё желание, чтобы после свадьбы Беюк-ага ушёл от отца, который ей очень не нравился и вселял в неё страх. Беюк-ага, увлечённый красотой своей невесты, с неопытностью пятнадцатилетнего юноши обещал сделать так, как она пожелает, и влюблённые заключили свой союз жаркими поцелуями. В своём увлечении они не заметили, что давно служат предметом ехидного наблюдения со стороны старшей дочери Гаджи-вали, старой и злой ведьмы, пережившей двух мужей и поселившейся в доме Гаджи-вали в качестве домоправительницы и смотрительницы его гарема. Будучи дочерью первой, давно уже умершей жены Гаджи-вали, Фатьмы, так звали эту женщину, была гораздо старше не только всех своих сестёр и братьев от других жён своего отца, но и две последних жены старика были девочками по сравнению с ней и всецело находились в рабском у неё подчинении.

В тот же день весь разговор Гюзейль-ханум с Беюк-агой, значительно извращённый и дополненный, стал известен Гаджи-вали. Против ожидания Фатьмы, старик внимательно выслушал её доклад, только усмехнулся, но ничего не сказал и махнул рукой, чтобы она уходила. Прошло дня два-три, в течение которых шли торопливые приготовления к свадьбе. Беюк-ага и Гюзейль-ханум каждый день украдкой встречались где-нибудь и торопливо обменивались несколькими, полными нежной ласки словами.

Их молодая страсть, вспыхнувшая при первой встрече, разгоралась всё сильнее и сильнее. До свадьбы оставалось каких-нибудь два дня, как вдруг Гаджи-вали позвал к себе Беюк-агу и, вручив ему порядочную сумму, приказал немедленно ехать в Тавриз, отвезти эти деньги одному купцу, с которым Гаджи-вали вёл дела.

— Отец, — осмелился возразить Беюк-ага, — до Тавриза два дня езды, я не вернусь раньше четырёх—пяти дней, а через два дня моя свадьба!

— Делай, что тебе приказывают! — грозно прикрикнул старик. — О свадьбе не твоя забота!

Огорчённый до глубины души, вышел Беюк-ага из отцовской комнаты, но послушаться его воли он не мог, а потому, не теряя времени, пошёл в конюшню, заседлал резвого иноходца и поспешил выехать из дому. Перед отъездом он на минутку забежал в женскую половину и, встретив Гюзейль-ханум, сообщил ей неприятную новость.



Выслушав своего жениха, Гюзейль-ханум страшно перепугалась и с плачем упала к нему на грудь.

— Не уезжай, мой сокол, до свадьбы, — жалобно шептала она, прижимаясь к жениху, — я чувствую, нам грозит беда, я боюсь, боюсь! Сердце у меня замирает, как птичка в когтях у кошки, не оставляй меня одну, умоляю тебя!

— Нельзя, моя козочка, — успокаивал её не менее встревоженный жених, — как можно не слушаться приказания отца? И чего тебе бояться? Я скоро вернусь, справим свадьбу, и тогда ты не будешь знать никого, кроме меня!

— Но почему твоему отцу вздумалось вдруг так неожиданно усылать тебя? Неужели нельзя подождать с отправкой этих денег после нашей свадьбы? Ведь всего только два дня!

— В торговых делах иногда два часа имеют большое значение, должно быть, случилось что-нибудь очень важное, не терпящее отлагательства!

— Пусть кто-нибудь другой везёт деньги, а ты останься!

— Некому! Отец не доверяет своим слугам. Сумма слишком велика. Ты не плачь, я вернусь гораздо скорее, чем ты думаешь. На половине пути у меня есть хороший приятель, я возьму у него лошадь, а свою поставлю к нему в конюшню отдыхать, таким образом, я буду ехать день и ночь без отдыха и послезавтра к вечеру вернусь. За это время, поверь, ничего не случится с тобой!

Беюк-ага так и сделал. Проехав полпути, с быстротой, какую только можно было требовать от лошади, он сменил её у своего приятеля на свежую и, не отдыхая, погнал дальше. К полудню другого дня он был в Тавризе, отдал купцу деньги, взял расписку, выпил несколько стаканов чаю и поскакал назад. Всю дорогу его мучило какое-то тяжёлое предчувствие, и он нещадно торопил свою лошадь. Голодный, измученный двухсуточной безостановочной ездой, едва держась в седле, въезжал в своё селение Беюк-ага. Ещё издали услышал он шум, крики, звуки зурны³⁹ и гул голосов большой толпы. Он ударил плетью усталого коня и рысью подъехал к своему дому. Странное зрелище поразило его. На большом широком дворе толпилось много народу вокруг чанов с пловом. Дымились огромные самовары, мальчики в чистых рубашках разносили чай.

В углу сидели зурначи и старательно наигрывали на своих инструментах. Перед ними, на широкой, утоптанной площадке выплясывало несколько человек. Далее сквозь открытые двери дома виднелась толпа гостей почище, в богатых одеждах, с почётными бородами, оттуда тоже неслись звуки зурны и бубна.

В первую минуту Беюк-ага был совершенно ошеломлён. Он стоял, уставив глаза, ничего не понимая. Ему казалось, что он бредит наяву, но вдруг страшное познание молнией озарило его мозг. Он быстро слетел с седла и бегом бросился в дом. Там он увидел своего отца-старика на почётном месте, окружённого седобородыми муллами и старшинами селения. Старик был одет во всё белое, папаха его была украшена цветным платком, перед ним стоял кальян и блюдо изюма. Увидев



входящего сына, Гаджи-вали слегка смутился, он никак не ожидал такого раннего возвращения, однако сейчас же оправился и, нахмутив брови, строго спросил:

— Что это значит, почему ты не поехал в Тавриз, как я тебе приказывал?

— Я был там, отдал деньги и привёз расписку, вот она! — отвечал Беюк-ага прерывающимся голосом. — Теперь позволь и мне в свою очередь спросить тебя, что значит вся эта тамаша⁴⁰?

— Разве же ты, Беюк-ага, — вмешался сидевший ближе всех седой кадий⁴¹, — забыл, сегодня ведь свадьба твоего достопочтимого отца Гаджи-вали-Машади-Зюльфагор, ты хорошо сделал, что поторопился приехать и тем доставить твоему отцу и всем нам радость видеть тебя на этом славном празднике!

— Отец, на ком ты женишься? — впиваясь горящим взглядом в лицо отца, задыхающимся голосом спросил Беюк-ага.

Старик смущённо опустил очи, избегая взгляда сына, и молчал, вместо него ответил хитрый кадий.

— Что с тобой, Беюк-ага? — изумлённым голосом воскликнул он. — Можно подумать, что ты с луны свалился, если задаёшь такие вопросы. Всему селению известно, что Гаджи-вали женится на несравненной, прекраснейшей дочери Алавар-хана Гюзейль-ханум!..

Не успел старый кадий произнести это имя, как Беюк-ага с диким воплем выхватил кинжал из ножен и бросился на отца.

К счастью, старик, очевидно, ожидал нечто подобное от своего сына, а потому успел вовремя отшатнуться и этим движением избежал удара. Тем временем гости успели схватить безумного юношу и оттащить его от отца.

Прибежали нукеры и по приказанию Гаджи-вали отвели его в отдельную комнату и там заперли.

На другой день рано утром Гаджи-вали приказал привести к себе Беюк-агу и между ними произошёл следующий разговор.

— Знаешь ли ты, что вчера наделал? — сурово спросил Гаджи-вали. — За твой проступок я имею право убить тебя или, по меньшей мере, отрубить тебе правую руку, но ты мне сын, и я жалею тебя, а потому предлагаю тебе следующее: ты сегодня же, не повидавшись ни с кем из домашних, уедешь из нашего селения в Россию к брату, твои вещи я пришлю тебе после, а также и письмо к старшему сыну, в котором прикажу ему выдать тебе две тысячи туманов из моих денег, находящихся у него в деле... На эти деньги начинай какое-нибудь своё дело, когда узнаю, что ты умно распоряжаешься данным тебе капиталом, я помогу тебе ещё, сколько будет нужно. Живи и богате́й, но ко мне сюда не смей являться до тех пор, пока я тебя не позову. Ни с кем из моих домашних, помимо меня, не смей иметь каких бы то ни было сношений, никаких известий о себе, никаких поручений. Для них — ты умер. Понял?





— Понял! — тихо ответил Бейюк-ага, у которого усталость, голод и душевные волнения отняли всякую энергию.

— Согласен?

Вместо ответа Бейюк-ага почтительно склонил голову и смиренно прижал ладони к сердцу. Впрочем, ничего иного ему и не оставалось делать. Гюзейль-ханум была утрачена им навсегда. Став женой другого, она теряла для него всякое значение.

Ко всему этому надо прибавить, что в глазах мусульман женщина стоит слишком низко, чтобы из-за неё, как бы она ни была хороша и мила сердцу, стоило восставать против отца и всей семьи, лишаться денег и выгод.

«Я молод, — подумал Бейюк-ага, — а красавиц на свете много, успею жениться. Во всём воля Аллаха!».

В тот же день он уехал из родительского дома. Выезжая за ворота, он даже не оглянулся, а потому и не видел, как из-за маленького узенького окошечка, пробитого в серой стене, глядела ему вслед пара прекрасных заплаканных чёрных глаз... Не видел искажённого отчаянием бледного личика, не слышал подавленного стоны, вырвавшегося из груди несчастной, покидаемой им навсегда женщины.

Тяжёлая жизнь наступила для Гюзейль-ханум. Несмотря на всю рабскую приниженность мусульманской женщины, она не в силах была скрывать своего отвращения к Гаджи-вали и безотчётного ужаса перед ним. Старика это чрезвычайно злило, и он вымещал свою злобу на остальных женщинах своего гарема, которые, в свою очередь, понимая истинную причину его недовольства, безжалостно преследовали несчастную Гюзейль-ханум. Но самым непримиримым, самым лютым врагом её была Фатьма. Эта ведьма прямо истязала молодую женщину и довела её до того, что та, наконец, не выдержала и бросилась в колодезь, где и утонула. Главной причиной, побудившей её на самоубийство, было известие о женитьбе Бейюк-аги. Известие это ей сообщил сам Гаджи-вали, успевший к тому времени сильно возненавидеть её за холодность и отвращение к нему. Терпеливо выслушав злобные насмешки старика, Гюзейль-ханум выждала, когда он удалился, наконец, из комнаты, молча встала, накинула чадру и вышла на двор. Дело было вечером, и на дворе никого не было, никто не видел, как молодая женщина, завернувшись плотнее в свою чадру, не проронив слова, без крика, без стоны кинулась вниз, в чёрную зияющую пасть колодезя, как зубами, усеянную по бокам острыми камнями.

Так погибла красавица Гюзейль-ханум, погибла подобно тысяче мусульманских женщин, являющихся бесправной, безгласной игрушкой в руках их отцов, женихов, братьев и мужей!



Размолвка

— А вы, Муртуз-ага, женаты? — спросила Лидия, когда он кончил свой рассказ.

— Был, давно, — неохотно отвечал тот, — но и то недолго. Моя жена умерла через год после нашей женитьбы, и с тех пор я не женюсь!

— Разве это у вас, у мусульман, возможно? — удивился Щербо-Рожновский. — Я слышал, что все богатые и состоятельные персы должны быть неизбежно женаты.

— О, далеко не все, — улыбнулся Муртуз-ага, — при дворе нашего хана есть много молодых людей хороших фамилий и не женатых. Я хотя не молодой, но тоже не женат и не собираюсь жениться. Однако мне пора! — добавил он, торопливо поднимаясь. — Скоро, я думаю, паром перестанет ходить!

— Ну, для вас, как для дорогого гостя, — улыбнулся Осип Петрович, — мы сделаем исключение, пустим паром и после заката солнца!

Муртуз-ага учтиво поклонился.

— Сердечно благодарю за любезность, тем не менее мне надо торопиться! — сказав это, он начал со всеми прощаться.

— Итак, вы приедете к нам в Суджу? — переспросил он ещё раз.

— Всенепременнейше, — ответила за всех Лидия, — а пока мы пойдём провожать вас до парома. Вечер чудеснейший, и мне хочется пройтись немного.

Муртуз-ага в знак глубокой признательности за такую любезность низко склонил голову.

Когда они подошли к парому, там уже стояли курды Муртуз-аги с его лошадью.

— Чудный у вас конь! — не удержался Воинов, искренне им любуюсь.

— Бэшкэш! — произнёс Муртуз и протянул Воинову повод уздечки.

— Что вы, что вы! — испугался тот и даже руками замахал. — Я ведь это так!

— Нет, нет, зачем же, такой обычай! — настаивал Муртуз-ага.

— Ну, я этого обычая не признаю! — несколько резко произнёс Воинов. — Я русский, да и вы не перс, чтобы нам строго придерживаться всех персидских обычаев!

— Нет, я перс! — холодно произнёс Муртуз-ага. — И если вам кто-нибудь наболтал про меня о том, что будто бы я не природный перс, то прошу вас этому не верить. Глупые сплетни, основанные на моём хорошем знании русского языка!

Сказав это, Муртуз-ага ещё раз поклонился всем, вспрыгнул на лошадь и, толкнув её стремени, смело пошёл на паром по дребезжащим и подскакивающим доскам настилки.

— Почему вы не взяли лошадь? — невинным тоном спросила Лидия у Воинова, когда они остались одни. — Ведь она куда лучше вашей!

— Потому-то я её и не взял, — сухо ответил Воинов, — хотя о том, какая лошадь лучше, можно решить только испытав их быстроту и выносливость. Это



так же, как и с людьми, — добавил он, — чтобы решить, кто из них более достоин внимания и дружбы, надо их испытать. Иногда под красноречием и вкрадчивыми манерами таится дурная душа, которой следует остерегаться!

— Надеюсь, вы намекаете не на Муртуз-агу, — резко перебила девушка, — по совести сказать, из вас обоих, по-моему, вы красноречивей!

Сказав это, Лидия отвернулась и пошла к дому, не обращая более никакого внимания на Воинова, который едва нашёлся, чтобы позвать руку Ольге Оскаровне и её мужу, после чего быстрыми шагами направился к площади, где его ожидал конвойный объездчик с лошадьми.

Лидия Норденштраль

Грустный и печальный сидел Аркадий Владимирович в кабинете своей небольшой квартиры на посту Урюк-Даг и машинально глядел в окно на унылый двор, с выходившими на него окнами и дверями казармы, конюшни, цейхгауза, кладовки, кухни и прочих служебных и хозяйственных построек.

Небольшая каменистая площадка дворика, представляла из себя зверинец в миниатюре. Несколько собак разного возраста и масти лежали по всем углам дворика, откинув хвосты и вытянув лапы, между ними с озабоченным хрюканьем прогуливалась большая бурая свинья, всюду суя своё любознательное рыло. За ней, повизгивая и ежеминутно ссорясь между собой, семенило несколько штук белых, чёрных и пёстрых поросят.

Тут же стоял с глупо-сосредоточенным выражением горбоносой морды большой белый баран, около него, как нежно любящие друг друга подруги, жались одна к другой две лопухие овцы, козёл с длинными рогами прохаживался из угла в угол и при встрече со свиньёй подставлял ей лоб, как бы вызывая на единоборство. Маленький, хорошенький, молочно-белый ишачок, с чёрными весёлыми глазками, шаловливо потряхивая ушками, кружился вокруг старой губастой ослицы, которая, опустив уши и расставив ноги, флегматично дремала под тенью навеса. Тут же кокетливо грелась на солнце целая семья кошек светло-рыжей масти и с пятнами, как у кугуара. К довершению всего, в дальнем углу, прикованная цепью к будочке, в скромной позе незаинтересованного наблюдателя, сидела молодая лисичка. По-видимому, она относилась совершенно равнодушно к прогуливающимся по двору курам, гусям, уткам, индюшкам, цесаркам и ручным красноперым гагарам. Только тогда, когда какая-нибудь из этих глупых птиц проходила мимо будки, лисица мгновенно настораживала остренькие ушки, её дотоле прищуренные глаза широко раскрывались, и в них загорался жадный огонёк. Она вся собиралась в комочек и, дрожа, как в лихорадке, готова была ежеминутно прыгнуть и схватить за горло зазевавшуюся жертву. Однако птица была, очевидно, достаточно опытна, чтобы чересчур близко подходить к будке, и хитрый зверёк осуждён был на муки Тантала.



Воинов был большой любитель вообще всех животных. Когда летом он обедал на крылечке, то вокруг его стола собирались все четвероногие и пернатые обитатели двора, и каждый из них получал свою подачку.

Грустный и задумчивый сидел Воинов, перебирая в уме подробности вчерашнего дня. Что Лидия к нему относится враждебно, для него было ясно, но вместе с тем он решительно не мог понять, чем могло быть вызвано такое недоброжелательство.

Вначале, как только Лидия приехала в Шах-Абад и они познакомились, она относилась к нему с большой симпатией. Почти дня не проходило, чтобы Аркадий Владимирович не посещал Щербо-Рожновских. Он приезжал к ним под вечер, и какие чудные вечера проводили они вдвоём, сидя в саду на скамейке, под густым пшатам⁴². Во время своих долгих бесед он, с откровенностью молодости, рассказал о себе всё, что сколько-нибудь могло интересовать её; в свою очередь, она сообщила ему о своей жизни в институте и о своём отце, который, по её словам, представлялся личностью далеко незаурядной. Он был швед по происхождению и в Россию попал пятилетним мальчиком, привезённый своими родителями. Отец его, дед Лидии, был управляющим на каком-то заводе в окрестностях Петербурга. Когда молодой Оскар подрос, его отдали в гимназию, откуда он впоследствии перешёл в технологический институт. Тем временем отец его принял русское подданство, благодаря чему сын его, весьма успешно окончив курс наук, мог легко найти себе подходящую должность. Судьба забросила его на Украину, где он встретился со своей будущей женой, типичной хохлушкой, с первого же знакомства заполонившей его холодное, северное сердце. Он сделал предложение, женился и надолго поселился в Малороссии. Однако, несколько лет спустя, он очутился уже в Финляндии совладельцем, вместе с двумя другими лицами, большой писчебумажной фабрики. Дела компании шли недурно, фабрика была поставлена удачно и давала хороший дивиденд. С тех пор Норденштрали жили зиму в Финляндии, а лето — в Киевской губернии, где у матери Лидии и Ольги был небольшой, но благоустроенный хутор, доставшийся ей по наследству от тётки. Впрочем, сам Норденштраль, не имея возможности покидать завод на более или менее продолжительное время, приезжал в Хатенково, так звали имение его жены, не более как на пять-шесть недель. Дети, их было трое: старшая Ольга, второй — сын Пётр и младшая Лидия, — очень любили, когда отец приезжал к ним на хутор.

С его появлением они получали полную свободу. Организовывались далёкие экскурсии пешком, предпринимались поездки на лодках, появлялись 4 верховых лошади, правда, эти лошади только потому могли претендовать на название верховых, что на их спинах красовались два старых дамских седла, одно английское и одно казачье. В действительности же это были обыкновенные крестьянские коняки, весьма смирные, кроткие и твёрдо усвоившие себе мудрое китайское правило, что идти шагом лучше, чем бежать, стоять лучше, чем идти, а самое лучшее — лежать на мягкой соломе, поджав под себя косматые ноги с безобразными подковами.



Во всех этих прогулках, верхом, пешком и на лодках, Норденштраль-отец являлся первым и самым неутомимым затейщиком.

Его эти прогулки интересовали и веселили не меньше, если даже не больше, чем детей, в нём было какое-то неудержимое стремление к движению, он дня не мог просидеть дома и на все упрёки жены отвечал, добродушно усмехаясь:

— Сидящим меня можешь видеть только в Финляндии на заводе, там я сижу иногда по восемнадцать часов в сутки. Здесь же я хочу бегать, ходить, ездить, словом, приводить в движение весь свой мышечный аппарат, а так как одному проделывать всё это очень скучно, то пусть дети сопровождают меня, им это полезно, пусть запасаются силами и здоровьем на будущее время, а главное, энергией. Энергия в жизни — всё. Энергия — это тот рычаг, которым Архимед хотел повернуть Вселенную!

Образование своё Ольга и Лидия получили в одном из московских институтов. Причина, почему была избрана именно Москва, заключалась в том, что в Москве жила их тётка, двоюродная сестра матери, которой и было поручено наблюдение за девочками. Предоставив дочерей на волю матери и почти не вмешиваясь в их воспитание, Норденштраль относительно сына держался иного взгляда и всецело подчинил его исключительно своему контролю. Не желая выпускать его из виду, он решил дать ему образование в Финляндии, с тем чтобы впоследствии он закончил его в Стокгольме.

Однако судьба распорядилась иначе. Семнадцати лет молодой Норденштраль, страстный моряк в душе, погиб, катаясь в море на парусной яхте.

На старика Норденштраля внезапная, трагическая смерть сына подействовала, как удар грома. Жизнь в его глазах потеряла всякий смысл, он ликвидировал дела и поехал с женой в Москву, где решил поселиться до окончания Лидией курса наук, а затем ехать на хутор, чтобы навсегда остаться жить там. Старшая Ольга была уже замужем за чиновником Щербо-Рожновским, который вскоре перешёл в Таможенное ведомство и был назначен на Закавказье. В Москве Норденштрали прожили всего два года, в течение которых старик, отстранив от себя всякую работу, чрезвычайно тосковал и хандрил. Его неутомимая, кипучая натура не могла примириться с бездеятельностью и монотонностью прозябания на какой-то Плющихе. Это дурно отзывалось на его здоровье. Никогда ничем прежде не болевший, крепкий, как финляндский кедр, старик вдруг ни с того ни с чего получил воспаление лёгких и после непродолжительной болезни, совершенно неожиданно для всех его знакомых, помер.

Потеряв в короткое время сына и мужа, старуха Норденштраль переселилась из Москвы в свой хутор, где окружила себя богомолками, странницами и приживалками. Попад в такую жизнь, по выходе из института, Лидия затосковала и потому с удовольствием поехала гостить к сестре в Закавказье.



ЩЕЧТЫ

Все эти подробности Воинов узнал от Лидии, беседовавшей с ним с дружеской откровенностью. Если у Лидии по отношению к Воинову было чувство дружеской симпатии, то у него это чувство очень скоро перешло в сильнейшую любовь. За какие-нибудь две-три недели знакомства Аркадий Владимирович окончательно влюбился в молодую девушку. Не будь он так застенчив и робок с женщинами, он давно бы сделал предложение, но страх получить отказ парализовал всю его решимость. Несколько раз приезжал он в Шах-Абад с твёрдым намерением решить этот мучительный для него вопрос, но всякий раз, в самую последнюю минуту, им овладевали сомнения, боязнь получить вместо страстно желаемого согласия насмешку над своим чувством. Будучи от природы очень скромным и мало искущённым жизнью, он искренне считал себя недостойным такой девушки, как Лидия Оскаровна, казавшейся ему собранием всевозможных достоинств. Ко всему этому Аркадия Владимировича удерживал и немного злой язычок Лидии Оскаровны; веселая и насмешливая, она иногда так беспощадно вышучивала его, что он терял всякий апломб и не только не решался высказать ей волновавших его чувств, но, напротив, только о том и думал, как бы она их не заметила. Зато, оставаясь один, он часто и подолгу мечтал, какое было бы счастье, если бы Лидия сделалась его женой. Как бы прекрасно зажили они! Как бы мило, уютно устроили свою квартиру. В первое же лето, после свадьбы, он взял бы отпуск на три месяца, поехали бы сначала к его матери в имение, пожили бы там недели две-три, а оттуда бы на Минеральные Воды в Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, а ещё лучше в Абас-Туман. Сколько поэзии было бы в этом путешествии с глазу на глаз, как заманчиво улыбается одиночество вдвоём среди большой толпы незнакомого люда, снующего взад и вперёд по улицам и бульварам. В мечтах своих Воинов рисовал себе картину, как гуляют они под руку где-нибудь на музыке, по аллеям парка или модного бульвара. Лидия такая стройная, изящная, со вкусом одетая, все невольно преклоняясь перед её красотой, почтительно дают им дорогу. «Кто эта красавица? Как фамилия? Откуда?» — раздаются кругом торопливые вопросы. «Ах, как хороша, какая дивная красота!» — слышатся произносимые полушёпотом восклицания неудержимого восторга, а они идут, не обращая ни на кого внимания, полные взаимной любви, чувствуя близость один другого, радостные и довольные, богатые молодостью, здоровьем и той жизнерадостностью, которая окрыляет человека и окрашивает для него весь окружающий мир яркими, сияющими красками.

Все любят и завидуют им, а они — никому, они счастливы, счастливы без границ, вся душа их проникнута этим счастьем, как лучами солнца... Сознание, что эта красавица, гипнотизирующая толпу, возбуждающая восторг, удивление и любопытство, его, всецело его, и душой и телом, любит его, живёт с ним одной жизнью, думает его мыслями, интересуется его интересами, вселяет в него чувство неизречённой гордости. Он — владелец этого сокровища, он и только он!



При одной этой мысли кружится голова, дух захватывает в груди, а внутри всё поёт, всё ликует и сливается в один неудержимый крик восторга: «Ах, как хороша, как дивно хороша жизнь!». «Господи, неужели это только мечты, которым не суждено никогда осуществиться?» — в порыве отчаяния восклицал Аркадий Владимирович, хватаясь руками за голову и в волнении принимаясь шагать по комнате.

Иногда ему казалось, что всё это так просто, так легко достижимо. Стоит поехать в Шах-Абад, переговорить с Лидией. Она же ведь относится к нему хорошо, даже больше чем хорошо, да, наконец, и Щербо-Рожновский, и Ольга Оскаровна, хотя ничего не говорят, но, очевидно, всецело на его стороне, охотно будут его союзниками...

О чём же думать? Сесть на коня и поехать! Смелость города берёт! Аркадий Владимирович торопливо приказывает седлать коня, в нетерпении сам выбегает на двор, торопит, помогает подтянуть подпруги. Вскидывает в седло и с места от ворот кордона пускает лошадь в галоп, но чем ближе подъезжает он к Шах-Абаду, тем больше ослабевает в нём его решимость. «Нет, никогда она не согласится выйти за меня замуж. Такая красавица, такая образованная, разве захочет она похоронить себя на всю жизнь в какой-нибудь пограничной труппе, вроде моего поста Урюк-Дага? Безумие мечтать даже об этом! Её место в столице, среди избранного общества, на балах, где она будет царицей, в театрах, на торжественных съездах. Разве я, простой армейский поручик, пара ей? Она легко найдёт себе мужа среди московских тузов, ей стоит только вернуться к своей тётке, у которой собирается всё лучшее московское общество, чтобы без труда выбрать себе мужа, который положит к её восхитительным ножкам огромные капиталы и положение в свете».

Под влиянием таких мыслей к Шах-Абаду Воинов подъезжал в совершенно другом настроении. От прежней решимости и самоуверенности не оставалось и следа, ему казалось прямо чудовищным безумием предложить Лидии разделить его скромное существование на глухом, забытом Богом и людьми посту, где-то на границе с Персией, где нет никаких развлечений, никакой пищи уму и сердцу, и где вся жизнь исчерпывается едой и сном.

Если в то время, когда отношения Лидии к Аркадию Владимировичу были вполне дружественными, он не находил в себе достаточной смелости сделать ей предложение, заранее уверенный в отказе, то в последнее время, когда она стала относиться к нему явно враждебно, он уже давно потерял всякую надежду, а между тем неугомонное воображение, как назло, рисовало ему радужными красками картинки счастья. Бедняга просто места себе не находил и по сто раз задавал себе один и тот же вопрос: «За что, за что? Что я такое сделал?» — он усиленно копался и рылся в своей памяти, но ничего не мог оттуда выудить, кроме того, что резкая перемена, происшедшая в обращении с ним, началась со времени кабаньей охоты там, в Персии, и знакомства с Муртуз-агой. — Неужели Лидии Оскаровне понравился этот татарин? — болезненно стучало в голове Воинова. — Быть не может!



Положим, он молодец, к тому же человек бесспорно замечательный и выдающийся среди остальных татар, но всё же он татарин, кербалай и больше ничего, а если он и в самом деле не татарин, как про него говорят, то это ещё хуже, стало быть, он какой-нибудь беглый, может быть даже из тюрьмы или поселения... Нет, нет! Такой человек никак не может возбудить к себе чувства любви, да ещё в такой барышне, как Лидия Оскаровна! Он её интересуется как невиданный ею доселе зверёк, никак не больше, но если так, то почему же такая резкая перемена в обращении с ним, Воиновым? От прежней дружбы, интимности не осталось и следа, всё это заменило едва скрываемое раздражение и насмешка... За что, за что? В чём тут причина и корень? Особенно вчерашнее обращение было невыносимо оскорбительно».

При воспоминании об этом щёки Воинова невольно вспыхивали, а сердце болезненно замирало. Он не знал, что ему теперь делать. Продолжать ездить к Щербо-Рожновским — это значит спрятать в карман всякое самолюбие, перестать бывать у них, не видеть Лидии — лишение, превосходившее его силы. Разве что переговорить с Щербо-Рожновским, он с ним искренне дружен, может быть, тот знает что-нибудь и даст какой-нибудь благой совет?

Эта мысль так понравилась Аркадию Владимировичу, что он решил при первом удобном случае привести её в исполнение и на этом немного успокоился.

— Что будет, то будет! — произнёс он и тяжело вздохнул. — Если станет невтерпёж, выхлопочу перевод в другой отдел, подальше отсюда, а то и совсем в другую бригаду. Разлука, говорят, исцеляет!

По тому же поводу

— Знаешь, твоя сестра последнее время совершенно невозможна в своём обращении с Воиновым, — говорил как-то вечером Осип Петрович, оставшись с глазу на глаз с женой. — Она третирует его, оскорбляет ни за что ни про что. Бедняга так её любит, готов жизнь за неё отдать, а она держится с ним как с врагом!

— Я тоже это замечаю, — задумчиво произнесла Ольга Оскаровна, — и никак не могу доискаться причины. Вначале они были так дружны, постоянно вместе. Лидия была с ним так любезна, я со дня на день ждала, что вот-вот он сделает предложение и, признаюсь, радовалась за сестру. Аркадий Владимирович человек вполне прекрасный, скромный, не кутит, в карты не играет. Правда, погresti себя навеки вечные в каком-нибудь Урюк-Даге — невесёлая перспектива, но ведь никто не мешает Воинову, женившись, хлопотать о переводе на другую границу, куда-нибудь на запад, где жизнь несравненно веселее и лучше. У него, я знаю, есть влиятельные родственники в Петербурге. Средства у него есть, помимо жалованья, прекрасно могли бы жить! Не правда ли?

— Совершенно с тобой согласен. Я тоже нахожу Аркадия Владимировича вполне приличным мужем для Лидии!



— Да, и вот, однако, кажется, всё расстраивается. Лидия не только совершенно охладела к Воинову, но начинает относиться к нему прямо враждебно, и я просто не понимаю, с чего бы это?

— А ты не заметила, с какого времени началось это охлаждение? — спросил Щербо-Рожновский, с хитрой улыбкой глядя в глаза жене.

— Не заметила, но кажется, чуть ли не с нашей поездки в Персию, на кабанью охоту!

— Совершенно верно, с того самого дня, и ты не понимаешь почему? А ещё сама женщина! Подумай-ка хорошенько!

— Не понимаю! — недоумевающе покачала головой Ольга Оскаровна.

— А между тем дело ясно, как день. Твоя сестра просто-напросто чрезвычайно заинтересовалась Муртуз-агой, интерес этот перешёл мало-помалу в нечто более существенное, не в любовь ещё, конечно, но всё же в довольно сильное увлечение. Инстинктивно, она, разумеется, как девушка умная, сама понимает всю нелепость подобного чувства, но тем не менее стряхнуть его с себя не может. Это её раздражает, портит настроение духа, и, как все женщины, она спешит выместить волнующую её досаду на другом. Кто же может быть этот другой? Разумеется, тот, кого легче можно уязвить, кто болезненнее будет чувствовать удары, в данном случае Воинов. Лидия прекрасно знает, что ни я, ни ты неспособны так огорчаться и страдать от её выходок, как Аркадий Владимирович, а потому именно его-то она избрала жертвой, на которой вымещает накапливающееся у неё в душе недовольство. Вы, женщины, в этом одинаковы, ни с кем так не безжалостны, как с теми, кто вас любит. На этом построено большинство драм, происходящих между влюблёнными. Для вас особое наслаждение бить по самому больному месту любящего вас человека, вы в этом видите своеобразное удовольствие, и чем удар метче, чем глубже рана, чем болезненнее, тем вам приятнее. В этом есть, конечно, своё историческое начало, это — месть вечного раба своему господину, месть жестокая и беспощадная!

— Ты так красноречиво об этом говоришь, что можно подумать, будто и сам был много и часто ранен! — полушутливо, полудосадливо прервала мужа Ольга. — Но дело не в этом. Для меня, признаться, сделанное тобой открытие относительно Лидии является неожиданностью и чрезвычайно удивляет!

— Не понимаю, что ты видишь тут удивительного! — пожал плечами Щербо-Рожновский. — Ты, значит, совершенно забыла, что Лидия всего полгода как вышла из института, а отличительная черта институток — предаваться всевозможным фантазиям, их любимое занятие — извращать факты действительной жизни и подменивать чем-то не существующим и даже неправдоподобным!

— Какая-нибудь классная дама, Матильда Фёдоровна, глупая, злая, старая дева, отравляющая существование всем, кто так или иначе приходит в соприкосновение с нею, старается уверить всех и сама искренне верит, что она ниспосланный на землю ангел, всеми обижаемый, всеми гонимый за её кротость и незлобие.



Воспитанница старшего класса m-lle¹ Булкина, съедающая за один присест пятнадцать слоёных пирожков и целый фунт шоколадных конфет и бегающая по залу, как шотландский пони, вдруг начинает воображать, будто она жертва рокового недуга, кандидатка на холодную сень могилы. Она заказывает себе специальную тетрадь с траурной каймой и чёрным образом, на первой страничке пишет: «После моей смерти милым подругам» и начинает изливать в этой тетради, уснащая её кляксами и капающими слезинками, «души непонятной признания». Тут и заветы подругам, и философские мысли, и укоры по адресу учителей и классных дам, и воззвание к «тапан»² проявлять более сердца в своих отношениях к воспитанницам, жаждущим её обожать, но близоруко ею отталкиваемым...

Кончается всё это так же неожиданно, как началось. Булкина убеждается в своём здоровье, о могиле нет уже и помину, слоёные пирожки поедаются в утроенном количестве, и кандидатка на гробовую сень начинает носиться по залу, как молодой гиппопотам, приводя в ужас кроткую Матильду Фёдоровну, со змеиным шипением посылающую ей вслед нелестный эпитет «тумбы».

Какой-нибудь учитель географии, курносый и прыщеватый, всецело поглощаемый заботами о 20-м числе, и приобретением частных уроков. Обладатель полдюжины ребят, старообразной жены, с никогда не исчезающими флюсами, тайный поклонник смазливых горничных и весёлой компании за графинчиком водки где-нибудь в задней комнате недорогого трактирчика, — почему-то делается в воображении его учениц похожим на разочарованного Чайльд-Гарольда, убеждённого человеконенавистника демонической природы.

Юнкер Прыщ, старший брат m-lle Прыщ, приходящий по воскресеньям навестить сестру, и похожий на неуклюжего большого легавого щенка, обладающий волчьим аппетитом и способный после шоколада переходить к борщу, а воздушный пирог закусывать сосисками, ни с того ни с сего начинает возбуждать в сердцах многих девиц трагическое участие. Они начинают видеть в нём, одна — Печорина, другая — Ленского, и хором предсказывают ему или великое будущее, или гибель во цвете лет.

— Он будет убит на дуэли! — с сокрушением говорит одна.

— Ах, нет, он влюбится в коварную кокетку, она разобьёт его сердце, и он кончит самоубийством!

— А я уверена, из него выйдет великий полководец, вроде Скобелева, — авторитетно утверждает третья, — посмотрите, какое у него смелое, энергичное лицо!

— Ну, теперь скажи сама, что же удивительного в том, что даже неглупая девушка, какой я считаю Лидию, но возросшей в такой атмосфере, надышавшаяся и напившаяся ею, при встрече с субъектом, подобным Муртуз-аге, по крайней мере, на первое время утрачивает некоторую логичность мышления? Необычайная обста-

¹ Мадемуазель (фр.).

² Здесь — директриса учебного заведения.



новка и условия этой встречи, дикая страна, дикие обычаи, столь непохожие на всё, до сих пор ею виденное, только усиливают впечатление. Наконец, и с этим надо согласиться: Муртуз-ага, действительно лицо очень оригинальное, человек с тёмным загадочным прошлым, с таинственным настоящим, окружённый легендой, с сильной волей и печатью какого-то затаённого горя на душе — он в состоянии заинтересовать даже и не институтку!

— Но, в таком случае, если всё, что ты говоришь — правда, то я очень беспокоюсь! Что же нам делать, чтобы предотвратить опасность?

— Не вижу никакой опасности, и предотвращать что-либо, по-моему, решительно не предстоит надобности. Пусть всё идёт по-прежнему, а время своё возьмёт. Пройдёт первая острота интереса, уляжется возбуждённое им волнение, и всё кончится. Необходимо лишь дать понять Воинову, чтобы он не приходил в отчаяние, а то, бедняк, совсем повесил нос и ходит как в воду опущенный!

— Что касается меня, — возразила Ольга Оскаровна, — я смотрю далеко не так просто, как ты, на это дело. Лидия — девушка с особенным темпераментом, и если она, чего не дай бог, увлечётся серьёзно, то может выйти целая драма!

— Ну, это, матушка, в тебе ещё институт не выдохся, и ты до сих пор способна в пятипудовой m-lle Булкиной видеть жертву неумолимой чахотки. Лидия гораздо умнее, чем ты, стало быть, о ней думаешь, в своё время она отлично поймёт, что мусульманин-перс, полудикарь, полубродяга, не пара ей, русской интеллигентной, образованной девушке увлекаться всерьёз такой фигурой! Не быть в этом убеждённым — это значит не уважать совсем Лидию или придавать Муртуз-аге то значение, какого он вовсе не имеет!

— Нет, нет, ты не знаешь Лидии, — упрямо покачала головой Ольга Оскаровна, — а я с этой минуты не буду иметь покоя. Нужно что-нибудь предпринять, а прежде всего отказаться от этой поездки в Суджу!

— Ну, это уже совсем будет глупо. Всякое насилие, всякие неумело поставленные преграды только увеличат интерес и желание более тесного сближения. Повторяю, оставь всё, как есть, и поверь, что вся эта история уляжется скорее, чем ты даже предполагаешь!

— А если Муртуз-ага... — нерешительно начала Ольга Оскаровна и остановилась, ища подходящего выражения своей мысли.

— Что Муртуз-ага? — с нетерпеливой досадой переспросил Щербо-Рожновский. — За Муртуз-агу я тебе поручусь, он всецело зависит от Хайлар-хана Суджинского, а потому и в мыслях не посмеет сделать что-либо, могущее вызвать неприятный инцидент. Он прекрасно понимает, что хан ни на минуту не задумается выдать его с головой русским, а эта перспектива едва ли может улыбаться Муртуз-аге, у которого с русскими властями, очевидно, есть свои особые счёты, далеко им не уплаченные!



В то время, когда между супругами Щербо-Рожновскими вёлся вышеприведённый разговор, предмет и причина его, Лидия, сидела задумчивая и печальная в своей комнате, с тревожной внимательностью прислушиваясь к тому, что творилось в её внутреннем «я». Последнее время она чувствовала в себе странную, гнетущую её двойственность; она была всем и всеми недовольна, а больше всего сама собой. Припоминая резкие выходки, которые она позволяла себе по отношению к Воину, она не могла не чувствовать укоров совести, она понимала, как несправедливо, нетактично, даже неблаговоспитанно она поступала, и сознание этого ещё больше раздражало её против Аркадия Владимировича.

Но ещё большее недовольство чувствовала она, когда мысль её останавливалась на Муртуз-аге. Таинственность, которой был окружён этот человек, завлекала и вместе с тем сердила её. Кто он такой? Герой ли какой-нибудь драмы или ловко ускользнувший от тюрьмы мошенник? В последнее как-то не хотелось верить, также не хотелось верить и в то, что он действительно только обыкновенный перс, живший долго в России у дяди-торговца восточными товарами. Против этого предположения говорила его благородная осанка, гордая, презирующая всякую опасность, смелость и неуловимая грусть, как бы разлитая во всё его существо, сквозящая в гордых, жгучих глазах, слагающая в печальную улыбку его характерные губы, под мягкими шелковистыми усами.

Если бы кто-нибудь сказал Лидии, что она равнодушна к Муртуз-аге и чувствует к нему сердечное влечение, она или рассмеялась бы, или бы рассердилась, смотря по тому, в каком настроении духа была бы в ту минуту, но, во всяком случае никогда бы не придала серьёзного значения такому заявлению.

«Влюбилась, вот вздор какой! — искренне воскликнула бы она. — Просто он заинтересовал меня как человек крайне оригинальный, не похожий на остальных здешних людей. Мне хочется приглядеться к нему поближе, разгадать, что он такое, изучить этот новый невиданный мной тип».

Так она думала, но не так оно было на самом деле. Сердце и душа девичья — инструмент весьма сложный, настолько сложный, что нередко девушка сама себя не понимает.

По дороге в Суджу

Самое лучшее время года на Закавказье — конец сентября и начало октября. Убийственная жара, свирепствовавшая в течение трёх летних месяцев, значительно спадает, так что по утрам и по вечерам бывает порядочно прохладно. Благодаря этому, исчезает самый жестокий, беспощадный бич страны — мошка, ложась спать, уже не нужно завешивать кровать густым пологом, под которым всю ночь томишься от нестерпимой духоты. Дни стоят светлые, небо безоблачно, период осенних дождей ещё далёк, и для всяких путешествий это время самое благоприятное. Все,



кому нужно совершать дальние поездки по торговым или иным делам, приурочивают их именно к этим месяцам, когда даже малоподвижные, ленивые сыны Востока начинают ощущать в себе пробуждение некоторой энергии.

Вот в один из таких-то погожих дней по каменистой, разбитой дороге, изрезанной водопроводными канавами, быстро катилась четырёхместная, допотопная коляска, или, как говорят на Закавказье — «фаэтон». На козлах этого расхлябанного, развинченного, жалобно дребезжащего экипажа сидел совершенно коричневый, обожжённый солнцем татарин-извозчик в огромной папахе и белой холщовой черкеске, с кинжалом на поясе.

Четыре тощие клячи, в которых, между тем, знаток сейчас же бы признал присутствие благородной карабахской крови, бежали вприпрыжку, потряхивая длинными, острыми, породистыми ушами.

В коляске сидели Лидия и Ольга, а против них, на передней скамеечке, помещались Осип Петрович и Воинов. С левой стороны коляски, где сидела Лидия, на раскормленном довольно безобразном, но ходком иноходце, ехал Муртуз-ага. За коляской, в значительном от неё расстоянии, чтобы не поднимать пыли, скакало человек десять курдов, по обыкновению вооружённых с ног до головы.

— Далеко до того селения, откуда мы поедем верхом? — спросила Лидия Муртуз-агу. — Мне уже надоело трястись в экипаже и хочется поскорее пересесть на своего Копчика!

— Через полчаса доедем, — ответил Муртуз-ага. — Видите впереди гору, похожую на лежащего верблюда, сейчас же за ней расположено и селение Тун. Там ждут нас лошади и другой конвой!

При въезде в селение Тун коляску встретила небольшая толпа народа, впереди стояли несколько седобородых стариков, «почётных» селения, со старшиной во главе.

Низко кланяясь и прижимая руки к груди, они настоятельно приглашали дорогих путешественников не отказать выпить стакан чаю и закусить. Пренебречь таким радушным приглашением было невозможно, не нанося хозяевам жестокого оскорбления, пришлось согласиться. Угощение было приготовлено в доме старшины и состояло, по обыкновению, из чая, кислого молока, паныра, шашлыка и разной съедобной травки.

После закуски подали лошадей.

Муртуз-ага помог Лидии вскочить в седло, а сам сел на подведённого ему белого, как снег, жеребца, под богатым малинового бархата седлом, сплошь расшитым разноцветными шелками и украшенным серебряной вызолоченной насечкой. На шее лошади звенели и сверкали на солнце вызолоченные цепочки, на которых были привешены, величиной в маленькое блюдечко, круглые бляхи из низкосортной бирюзы, употребляемой только на конские украшения.





Для Ольги Оскаровны и Лидии были приведены их собственные лошади из Шах-Абада, специально командированными для этой цели Муртуз-агой курдами под наблюдением таможенного солдата, который, прибыв с ними накануне в село Тун, ночевал в скале у старшины, ожидая приезда господ. Что касается Щербо-Рожновского и Воинова, то для них были приготовлены курские иноходцы из конюшни Муртуз-аги.

Когда вся кавалькада тронулась в путь, сопровождавшие её курды рассыпались во все стороны, и началась дикая, но не лишённая лихости и своеобразной красоты джигитовка.

Высокие, рослые, худощавые курды в красных куртках и чёрных чалмах, сидя на своих маленьких, но чрезвычайно шустрых и сильных лошадках, старались перещеголять один другого своей лихостью и ловкостью. Поодиночке и маленькими группами, по два и по три человека, выскакивали они вперёд, делая вид, что гонятся один за другим, замахивались друг на друга кривыми ятаганами, прицеливаясь из ружей и пистолетов. При этом они с удивительной увёртливостью бросались то вправо, то влево или вдруг, мгновенно остановившись на всём скаку, поворачивались налево кругом и мчались назад, быстро кружа над головой винтовками.

Некоторые перевёртывались на сёдлах и неслись, чуть не волочась спинами по земле, и вдруг, мгновенно поднявшись, прицеливались в ближайшего товарища.

Многие, отскакав в сторону, круто и сразу останавливали варварскими мунштуками лошадей и, скинув винтовку, стреляли вверх, после чего неслись сломя голову назад.

Долго гарцевали курды и, только измучив вконец своих лошадей, успокоились и, сбившись в беспорядочную кучу, потрусили сзади всех, оставляя за собой облака густой пыли.

— Мне очень нравятся ваши курды, — сказала Лидия ехавшему рядом с ней Муртуз-аге, — такие они бравые на вид и, наверное, очень храбрый народ?



— Да, сравнительно с персами, — отвечал Муртуз-ага, — но настоящими храбрецами и их не назову. Во всяком случае, народ малонадёжный. Мне случалось предводительствовать ими в стычках с разбойниками, турецкими курдами, наконец, в междоусобицах, столь частых в Суджинском ханстве — и я всякий раз убеждался, насколько опасно доверяться их кажущемуся молодечеству. Они храбры, когда вдесятером нападают на одного, но при малейшем энергичном отпоре бегут без оглядки, оставляя своих вождей на произвол судьбы. Лет десять тому назад у нас произошло маленькое приграничное столкновение с турками, они неправильно заняли наше селение и не хотели добровольно уйти. Я с двумя сотнями курдов хотел выбить их оттуда и ничего не мог поделывать, хотя турок не было и пятидесяти человек. Рассыпавшись в виноградниках, турки встретили нас беглым ружейным огнём, они стреляли не торопясь, с выдержкой, и этого было достаточно, чтобы удержать курдов на почтительном расстоянии, никакие мои усилия не могли заставить их идти вперёд. Как полоумные, носились курды по степи, оглашая окрестность гиком, воем, визгом, бесцельно и торопливо стреляли, не заботясь вовсе, куда летят их пули, но на виноградники не шли. К вечеру, утомясь этим бесцельным и бестолковым маячением, я отвёл своих курдов от селения и расположился бивуаком, решив произвести на турок ночное нападение. Затея не удалась, среди ночи прибежали пастухи и сообщили, что турки сами ушли обратно в Турцию. Тем тогда и кончилась наша война.

Другой раз я уже вместе с турками преследовал большую шайку разбойников. Турок было человек двадцать, у меня же больше пятидесяти, и я с грустью должен был убедиться, насколько мои курды хуже турок. Турецкие солдаты шли вперёд спокойно, уверенно, не выходя из повиновения своему офицеру. По команде останавливались, по команде стреляли, старательно прицеливаясь и сберегая патроны. На сыпавшиеся на них пули они не обращали внимания, и когда разбойники были окружены на высокой скале, они, как один человек, по команде офицера, дружно полезли вверх и бросились в штыки. Следом за ними устремились и мои курды, которые до этого времени больше визжали и метались во все стороны, чем дело делали... Нет, плохие из них выходят воины, хвалить нельзя!

— Вам на своём веку, как видно, много воевать приходилось? — сказала Лидия. — Неприятное занятие!

— Не скажите! Война — вещь хорошая! — с воодушевлением возражал Муртуз-ага. — Сознание, что вот-вот каждую минуту ты можешь быть убитым, и что жизнь твоя зависит от судьбы, от малейшей случайности, наполняет душу каким-то особенным чувством. Сердце начинает биться сильнее, и во всём теле чувствуется какая-то особая лёгкость, голод, усталость, жажда, жар, холод — всё забыто, ни на что не обращаешь внимания, все мысли сосредоточены на одном — уничтожить врага. Когда кто-нибудь из своих падает около тебя убитым или раненым, то это возбуждает не чувство жалости, а непримиримую ненависть к врагу и страстное желание, в свою очередь, убивать, убивать без конца!



— Не понимаю я этого! — пожала плечами Лидия. — По-моему, это зверство, проявление самых низких животных инстинктов. Убивать своего ближнего и находить в этом наслаждение! Это просто чудовищно!

Она с содроганием повела плечами и замолчала. Несколько минут они ехали молча.

— Послушайте, — нерешительным тоном заговорила девушка, — не примите это за пустое любопытство, я вовсе не любопытна, и если спрашиваю, то имею на это свои причины, скажите, вы ведь не персиянин?

Муртуз-ага нахмурился, хотел отвечать, но замаялся.

— Не всё ли вам равно? — спросил он в свою очередь, помолчав.

— Если спрашиваю, то значит, не всё равно, впрочем, если не хотите, не отвечайте! — холодно произнесла девушка и отвернулась.

— За что же вы сердитесь? — улыбнулся Муртуз-ага. — Если вас это так интересует, и вы обещаете оставить наш разговор между нами, то я, так и быть, сознаюсь вам: да, я действительно не персиянин родом!

— Вы русский, не правда ли? — живо обернулась к нему Лидия, пытливо заглядывая ему в глаза.

— И да, и нет. Я действительно русский подданный, но не русский!

— Армянин?

— Армянин?.. О, нет! — со стремительной живостью воскликнул Муртуз-ага. — Только не армянин, клянусь вам!

— Верю! — улыбнулась Лидия его порыву. — Впрочем, это и так сейчас же видно. В вас нет ничего армянского. Но какие причины заставили вас уйти из России?

— Этого я не могу вам сказать, — глухо произнёс Муртуз-ага, — не могу ни под каким видом. Что хотите, но только не это, и, наконец, скажите, для чего вам знать о том, о чём вот уже около двадцати лет я сам стараюсь забыть, о том, что гложет мою душу, делает меня глубоко несчастным? Впрочем, я отчасти понимаю, вас интересует вопрос, с кем вы имеете дело. Вы вправе подозревать во мне беглого каторжника, вора из тюрьмы или мошенника. Клянусь вам, я ни то, ни другое, ни третье. Я человек честный, и никакого тёмного, грязного дела на моей совести нет, я не вор, не фальшивомонетчик, подлогов не совершал, словом, не делал ничего такого, что люди называют бесчестным... Вот всё, что я могу вам сказать, а там верьте мне или не верьте, ваше дело!

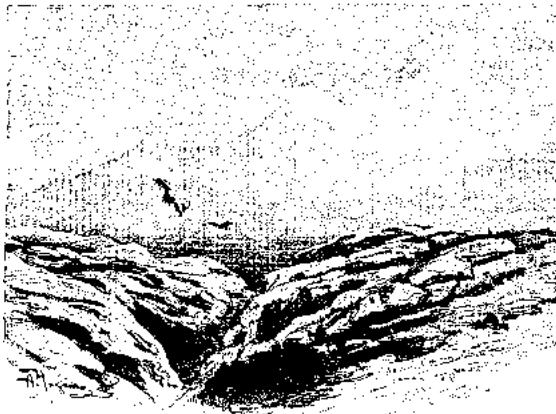
Лидия внимательно поглядела в его взволнованное, слегка покрасневшее лицо и протянула ему свою затянутую в перчатку изящную ручку.

— Верю! — твёрдо и искренне произнесла она, крепко пожимая его руку.

Воинов ехал подле Ольги Оскаровны, в нескольких саженях сзади Лидии и Муртуз-аги, и временами бросал на них тревожные взгляды.



«О чём они так жарко и оживлённо беседуют?» — мучительно вертелось у него в голове. За топотом копыт по каменистой почве ему не было слышно ни одного слова, и он видел только жесты, сопровождавшие разговор. От ревнивого внимания Аркадия Владимировича не ускользнуло мимолётное пожатие руки, которым обменялись Лидия и Муртуз-ага. Он вспыхнул до корня волос и, будучи не в силах совладать с собой, дал шпоры коню и в один миг очутился подле Лидии. Бесцеремонно оттолкнув грудью своего коня лошадь Муртуз-аги, Воинов смело втиснулся между ним и Лидией. В этом месте дорога была узка и шла по крутому обрыву, над глубокой пропастью; Муртуз-ага, ехавший с края и рисковавший ежеминутно сорваться вниз, принуждён был, наконец, осадить своего жеребца и следовать сзади.



Ольга Оскаровна, видевшая всю эту сцену, поспешила прийти на выручку, она рысью подъехала к Муртуз-аге и, ласково дотронувшись ручкой хлыстика до его руки, заговорила:

— Какой чудный вид отсюда на долину! Точно панорама! Как красиво выглядит этот хребет гор там, вправо, не правда ли? А как хорош Аракс, словно серебряный пояс, или, ещё вернее, огромная серебристая змея. Удивительно красиво!

— Дальше будет ещё лучше! — поспешил любезно ответить Муртуз-ага. — Видите ту вершинку? Когда мы поднимемся на неё, я вам советую остановиться, оттуда вы увидите всю окрестность как на ладони. В светлые дни, а сегодня как раз такой день, с этой вершины видна не только вся Араксинская долина, но и Араратская. Отсюда Арарат ещё не виден, но с вершины вы увидите его во всей красе, с его турецкой стороны!

Хотя бы на дно пропасти

— Вы, кажется, с луны соскочили? — недовольным тоном бросила Лидия, едва взглянув на поравнявшегося с ней Воинова. — Так стремительно подъехали, чуть обоих нас в пропасть не столкнули!



— Вы были далеко от края, — отвечал Воинов, — моей лошадью я мог скорее отодвинуть вас ближе к скале, чем к пропасти, но я даже не дотронулся до вашей амазонки!

— Вы чуть-чуть не сшибли туда Муртуз-агу! — с возрастающим раздражением произнесла девушка.

— Муртуз-агу — это дело другое! — спокойно согласился Воинов. — Но и тут вы напрасно беспокоитесь, дорога достаточно широкая, чтобы ехать втроем. Впрочем, Муртуз-ага хороший наездник и никогда бы не свалился в пропасть, если бы даже дорога и была уже!

— Не понимаю, причём тут наездничество, — пожала плечами Лидия, — самого лучшего ездока можно столкнуть, наскочив на него так неожиданно, как это сделали вы!

— Удивляюсь, из чего вы так сильно волнуетесь? Уверен, если бы такую шутку проделал Муртуз-ага со мной, вы бы не обратили внимания, а теперь вы столько беспокоитесь, точно случилось не весть бог что!

Лидия досадливо передёрнула плечами, но ничего не сказала. Некоторое время они ехали молча.

— Лидия Оскаровна, — заговорил снова Воинов, переходя из деланно-спокойного тона в мягко-задушевный, — перестаньте сердиться! Если бы вы знали, как мне тяжело видеть вас такой недовольной, нахмуренной и сознавать, что это недовольство вызываю я своей особой. Я, который готов за вас хоть на смерть. Видите эту пропасть? Скажите слово — и я, как есть, с конём брошусь вниз, ни на минуту не задумавшись!

При этих словах голос Воинова дрогнул. Он был сильно взволнован. Лидия мельком взглянула ему в лицо, и почувствовала нечто похожее на раскаяние.

— Ну, полноте, — заговорила она дружеским тоном, и обворожительная улыбка мелькнула у неё на губах, — вы, кажется, начинаете нервничать. Такой большой и такой капризный! — добавила она шутливо, обводя его ласковым взглядом своих красивых выразительных глаз.

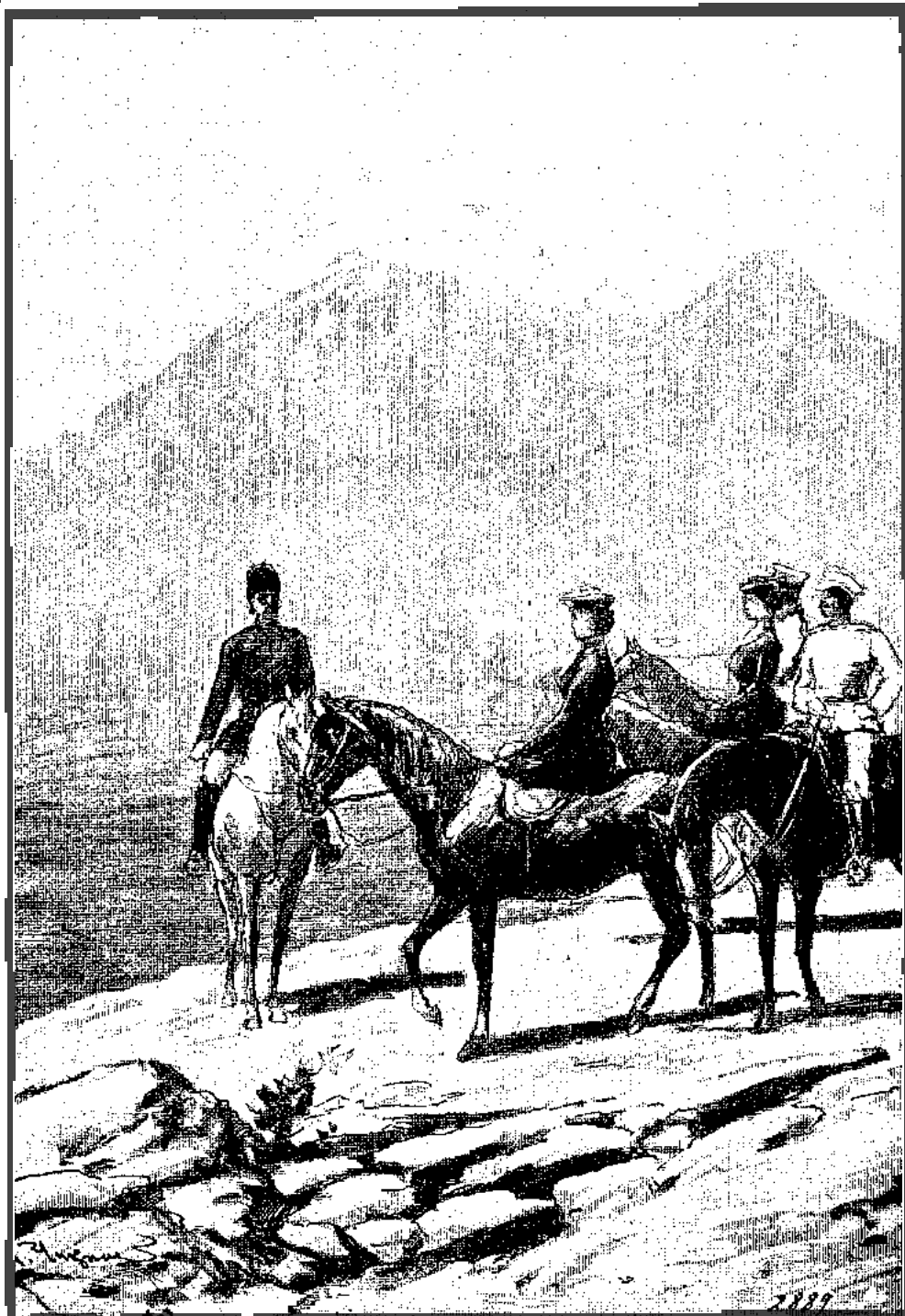
При этом чарующем взгляде Воинов совершенно расцвел. Он забыл все обиды и неприятности, сыпавшиеся на него последнее время, и с благодарностью и обожанием взглянул в лицо Лидии.

— Вы, Лидия Оскаровна, ангел, ангел и ничто больше! — восторженным тоном и с глубоким уважением произнёс он.

— Ну, уж и ангел! — искренне рассмеялась Лидия.

Когда все пятеро поднялись на крутую и высокую вершинку, о которой говорил Ольге Оскаровне Муртуз-ага, глазам их представилась роскошная, величественная картина. Прямо перед ними, на десятки вёрст, раскинулась необъятная Араксинская долина, с прихотливо извивающейся по ней, сверкающей, как серебро на солнце, рекой. Бесчисленное множество озёр, прудиков и водоёмов, подобно





рассыпанным осколкам зеркала, блестели в ярких лучах солнца, окружённые, как бархатной рамой, тёмной зеленью деревьев. Утопая в яркой зелени садов, виднелись живописно разбросанные селения, с белыми домиками, издали похожими на детские кубики. Тёмной громадой, понижаясь по мере своего удаления и постепенно закутываясь в прозрачно-розовую дымку тумана, как чешуйчатый хребет дракона, тянулся каменистый кряж обнажённых, лишённых всякой растительности скал. По ним глубокими морщинами чернели трещины, овраги и пропасти, принимавшие, чем далее, тем более причудливые формы.

Налюбовавшись видом Араксинской долины, Лидия повернула лошадь, и глазам её представилась ещё более величественная картина. Прямо перед ней, подавляя своей громадой и прямыми очертаниями контуров, сверкал снеговой вершиной чудовищно огромный Арарат.

Его снеговая шапка сияла в лучах солнца, искрилась и переливалась, как усыпанная бриллиантами. Малый Арарат, с которого давно уже сбежал последний снег, покорно прижимался курчавой головой к плечу своего старшего, могучего брата. Ниже снеговой полосы, от которой, казалось, так и веяло несокрушимой вечностью, начиналась зелень, сначала тёмная, слабая, прерываемая местами целыми площадями сплошных камней, но чем ниже, тем более яркая, веселая, как бы улыбающаяся. Подошва же и вся долина, примыкающая к горе, на десятки вёрст, представляла один сплошной зелёный ковер, с бегущими по нему, по всем направлениям, искусственными ручьями и рассеянными курдскими чадрами⁴³.

Бесчисленное множество скота, лошадей и овец, отдельными табунами и стадами ползало глубоко внизу, как пёстрые мухи, оживляя своим присутствием величественно-девственную картину природы. Далее зелёная степь переходила в жёлто-красные пески, которые мало-помалу терялись, сливаясь с горизонтом. В стороне виднелись едва уловимые очертания большого города, как бы повисшего в воздухе.

— Вы были правы, — произнесла Ольга Оскаровна, обращаясь в Муртуз-аге, — виды действительно чудесны! Не правда ли, Лидия?

Лидия ничего не ответила, но бросила на Муртуз-агу такой ласковый, благодарный взгляд, как будто этот вид был его собственностью, и он преподнёс его им в подарок.

Постояв около полчаса, путники двинулись дальше.

— Скоро стемнеет, — заметил Муртуз-ага, — надо спешить!

Все прибавили шаг, но несмотря на это в Суджу приехали довольно поздно.

Всё селение давно уже спало, и Муртуз-ага повёл их прямо к приготовленному для их приёма дому. Дом этот, архитектурой своей наминавший большую шка-тулку, с куполообразной башней посредине, примыкал к дворцу государя и окнами своими выходил в парк, окружавший этот дворец с трёх сторон.



На пороге приехавших встретило несколько человек слуг, очевидно, их поджидавших. С низкими поклонами они провели их в дом и указали приготовленные для ночлега комнаты. Комнат оказалось несколько, но все они были маленькие, с низкими потолками, и лишены почти всякой обстановки. Кроме ковров на полу да грубой работы стульев под красное дерево и нескольких маленьких круглых столиков, ничего другого не было. Стены украшали повешенные в близком расстоянии друг от друга разных величин и фасонов зеркальца в медной оправе и какие-то дощечки из разноцветного стекла с написанными на них чёрной жирной краской изречениями из Корана. В одной комнате, больше других, с потолка спускалась стеклянная люстра, а в стену было вделано большое зеркало, с вызолоченной деревянной рамой. По бокам зеркала красовались две бронзовые лампы, одна под красным, а другая под голубым шаром. Одна из этих ламп, с голубым колпаком, была зажжена и бросала мягкий, лунный свет на всю комнату. Посредине комнаты, как раз против зеркала, в аршинном друг от друга расстоянии, стояли две низких железных кровати, самого простого, больничного фасона. На каждой из этих кроватей лежало по два обтянутых шёлковой материей матрасика из верблюжьей шерсти и по одной длинной, кишкообразной, тоже шёлковой подушке. Застланы кровати были шёлковыми джеджидами⁴⁴. Ни наволочек, ни простынь не было.

— Эта комната для вас и Ольги Оскаровны, — сказал Муртуз-ага, обращаясь к Лидии, — сейчас принесут сюда ваши вещи. Здесь, я надеюсь, вам будет хорошо!

— А двери запираются? — не без некоторой боязливости в голосе спросила Ольга.

Муртуз-ага чуть заметно улыбнулся.

— Если желаете — запиrite, но только это напрасно. Сюда никто не войдёт. У дверей дома сторожа, которые никого не пропустят!

«Да, но кто будет сторожить нас от самих сторожей?» — подумала Ольга. — Нет, запереться покрепче — будет дело надёжней».

— Теперь, господа, когда дамы устроены, я поведу вас в ваши комнаты, — обратился Муртуз-ага к Воину и Щербо-Рожновскому, — пожалуйста за мной, прошу вас!

— Надеюсь, вы нас устроите обоих в одной комнате, — сказал Щербо-Рожновский, идя за Муртуз-агой, — а то поодиночке спать в чужом месте скучно! Не правда ли, Аркадий Владимирович?

— Разумеется, — подтвердил Воин, — нас, пожалуйста, вместе!

— Это как вам будет угодно! — любезно согласился Муртуз-ага. — Хотя для каждого из вас приготовлено по отдельной комнате, но раз вы не желаете расставаться, то я сейчас прикажу снести обе кровати в одну!

— Да, уж если можно, то, пожалуйста, распорядитесь не разлучать нас!



Когда мужчины вышли, Ольга Оскаровна первым долгом осмотрела дверь, и осталась ею очень недовольна. Большой медный замок со стеклянной ручкой не действовал, ключ хотя и торчал в скважине, но был, очевидно, сломан и без пользы вертелся во все стороны. Приходилось довольствоваться маленькой медной задвижкой.

— Да полно тебе, — прервала Лидия сетования сестры по поводу неисправности замка, — вот трусиха, кто тебя здесь тронет, подумай только! Под боком у хана и под охраной Муртуз-аги ты можешь спать так же спокойно, как на нашем хуторе, под крылышком у маменьки. Помоги лучше достать мне из хурджин простыни, да ляжем скорей. Смерть спать хочется! Шутка сказать, больше тридцати вёрст в фаятоне и около двадцати вёрст верхом и всё в один день. Можно устать, я думаю...

Когда обе сестры легли и успели уже задремать, вдруг к ним в дверь кто-то осторожно стукнул.

— Что такое, что надо, кто там? — испуганно подняла голову Ольга Оскаровна.

В ответ за дверями послышалось какое-то неясное бормотание. Долго ни Лидия, ни Ольга не могли понять, кто и о чём с ними толкует.

— Да ведь это слуга принёс нам чай! — догадалась, наконец, Лидия и громко и весело расхохоталась, глядя на встревоженное, недоумевающее лицо сестры.

— Какой чай, зачем? — замахала та рукой. — Не надо, чох-саол, гэт, гэт⁴⁵, не надо! — торопливо закричала она, обращаясь к продолжавшему царапаться за дверью нукеру. — Чох-саол!

Лидия продолжала хохотать, приведённая в восторг, неожиданно, со страху, открывшимися у её сестры, познаниями в татарском языке.

— Эк, тебя! — укоризненно покачала головой Ольга, опуская голову на подушку. — Вот ты говорила, никто не войдёт-никто не войдёт, а не запри я дверей, он бы со своим чаем так-таки прямо и прилез бы к нам сюда, к самым постелям!

— Воображаю, как бы ты переполошилась!

— Воображай сколько хочешь, а я спать буду. Поздно!

В Судже

На другой день, едва Лидия и Ольга успели одеться и умыться из медного, высеребренного затейливого кунгана⁴⁶, стоявшего в углу на низком табурете, как в комнату к ним громко постучали.

— Татары! — трагическим голосом произнесла Лидия, делая шутливо-испуганное лицо.

— Mesdames, — послышался голос Осипа Петровича, — вы спите?

— Нет, мы уже одеты. Что тебе? — спросила Ольга, отворяя дверь и подставляя мужу румяную щёчку для поцелуя.



— Пожалуйста чай пить. Давно уже готово!

Комната, где сервирован был чай, представляла из себя круглую башню, с окнами наверху, пропускавшими сквозь свои матовые стёкла мягкий приятный свет. По середине её, на разостланном ковре, оригинального старинного рисунка, поверх полосатой скатерти стояло несколько подносов с закусками. Тут были: катых⁴⁷, паныр, нарезанные ломтики арбуза и дыни, сотовый мёд в чашках, разного сорта варенье и целая гряда белого, как снег, испечённого по особому образцу, на цельном молоке, лаваша. В стороне возвышался большой, никогда, должно быть, не чищенный самовар. Вокруг него хлопотали два замечательно красивых мальчика-подростка, с томным выражением влажных чёрных глаз и лёгким румянцем на нежных, молочной белизны лицах. Одеты они были совершенно одинаково: в тёмно-синие суконные казакины с красными кантами, такие же шаровары, узкие на щиколотке и широкие у пояса. Пуговицы на казакинах с гербом Льва и Солнца были вызолочены, на голове у обоих красовались конусообразные папахи из мелкого блестящего чёрного барашка. Один из мальчиков, постарше, занимался разливанием чая по маленьким разрисованным золотом и красками стаканчикам, а другой разносил их гостям. Причём каждый стаканчик помещался на отдельном подносике, с изображением шаха. Чай был душистый, сильно подслащённый и особого терпкого вкуса. Осип Петрович объяснил Лидии, обратившей внимание на особенности подаваемого чая, что этот чай не китайский, а индийский, к которому персы примешивают какое-то наркотическое снадобье, кажется, опиум, отчего он в большом количестве сильно действует на нервы.

— Вообрази себе, — обратился Щербо-Рожновский к жене, со смехом качая головой на Муртуз-агу, сидевшего подле него, — каков наш Муртуз-ага! Он вчера не пошёл домой, а ночевал в первой комнате, у входных дверей. Там ему приготовили постель, и он спал вооружённый, охраняя ваш покой. Каков?

— Не знаем, как вас и благодарить, — улыбнулась Ольга Оскаровна, — вы чрезвычайно любезны и предупредительны!

— Ваш раб! — низко по-восточному склонил голову Муртуз-ага, бросая в то же время горячий взгляд на сидевшую подле сестры Лидию. — Моя жизнь и моя голова у ног ваших! — закончил он персидским изречением. Когда все напились чаю и закусили, в комнату вошёл высокий худощавый молодой человек и, низко поклонившись присутствующим, произнёс несколько персидских слов.

— Хан спрашивает, как дорогие гости почивали, — перевёл Муртуз-ага слова юноши, — и просит, если желаете его видеть, пожаловать к нему на его половину. Он извиняется, что сам не в состоянии прийти: он болен и не выходит из своей комнаты. Впрочем, — уже от своего имени добавил Муртуз-ага, — если дамы считают для себя унижительным идти первыми к сардарю, то они могут подождать его в соседней комнате, он сам туда выйдет, хотя, по совести говоря, ему это будет трудно. От сильного ревматизма он почти без ног!



— Нет, почему же, мы охотно сами пойдём к нему! — воскликнула Лидия. — Зачем его утруждать, если он, в самом деле, болен?! К тому же, — добавила она, смеясь, — как-никак, а всё-таки же он владетельный князь. Применяясь к нашим титулам «светлость» — так ведь?

— Совершенно верно! — кивнул головой Муртуз-ага. Пройдя крытой стеклянной галереей из дома, где они ночевали, в соседний с ним сардарский дворец и миновав две совершенно пустые комнаты, с выкрашенными гажею стенами и мутными окнами, гости вступили в обширный зал, с множеством колонн, поддерживавших сводчатый высокий потолок. Стены, потолок и колонны зала были зеркальные, причём зеркала не были сплошными, а состояли в виде замысловатого узора, из бесчисленного множества мелких зеркальных кусочков, всевозможных форм и величин, замечательно искусно скомбинированных между собой. Каждая группа таких зеркалец изображала особый рисунок и была окружена белым гипсовым барельефом. Поставленные под разными углами и уклонами, эти крошечные, бесчисленные кусочки издали представлялись сверкающей чешуёй, как бы густо-густо унизанной бриллиантами. Колонны, кроме зеркалец, были в верхней своей части украшены ещё и разноцветными стёклышками. Из таких же стёклышек, в соединении с зеркальцами, были выведены замысловатые узоры на потолке, посередине которого красовался сложенный из тех же цветных стёкол больших размеров персидский герб Льва и Солнца. Вокруг большого герба было рассеяно ещё несколько подобных же гербов, но несравненно меньших размеров.

Три огромных окна, по форме своей похожих на венецианские, занимали одну стену. Окна эти представляли из себя искусной резьбы дубовые рамы, в которые были вделаны посередине белые, а по краям разноцветные стёкла. Сочетание красок и узора хотя и было несколько смело и резко, но, в общем, носило печать своеобразной красоты.

Украшением этого фантастического зала служила, прежде всего, чудовищных размеров хрустальная люстра, с бесчисленным множеством гранёных висюлек. Люстра эта была повешена посередине, а справа и слева от неё переливались всеми цветами радуги ещё две такие же, но значительно меньше. Кроме этих люстр, со вставленными в них свечами, соединёнными моментально воспламеняющимся шнурком, на всех трёх стенах, не занятых окнами, были прибиты хрустальные бра на 5 свечей каждое. От ярких солнечных лучей, широкой волной проникавших через огромные окна, вся эта тяжёлая масса хрусталя горела и сверкала миллионами разноцветных искр, искры эти, в свою очередь, отражаясь бесчисленное множество раз в зеркальных осколочках потолка и стен, придавали всей комнате сказочно-волшебный вид. Пол зала был застлан коврами, причём средний ковёр был шёлковый, удивительно изящного рисунка и огромной ценности.

Немалоги внимания заслуживали также и две двери, расположенные одна против другой. Очень высокие, двустворчатые, они были сделаны из тёмного дуба и



украшены художественно исполненной резьбой и барельефами. Бронзовые литые вызолоченные ручки в виде львиных голов сами по себе могли быть причислены к высокохудожественным произведениям. Как впоследствии узнала Лидия, двери эти были выписаны из Англии, и стоимость их равнялась целому состоянию.

Пройдя зеркальный зал, путники наши вступили в сравнительно небольшую комнату, довольно изящно убранную. Ковры на полу, ковры на стенах и множество развешанного по стенам оружия, составляли богатство и украшение этой комнаты. При входе их с противоположного конца комнаты, навстречу им поднялся человек высокого роста, болезненно-худой и мертвенно-бледный, с глубоко провалившимися глазами, одетый в тёмно-синий кафтан с бриллиантовой звездой «Льва и Солнца» на груди и в турецкой феске на голове. На вид ему было лет 35, хотя на самом деле он был гораздо моложе, но упорная, застарелая болезнь согнула его высокий стан и сильно состарила его от природы красивое и выразительное лицо. Это был сам сардар хан Суджинский Хайлар-хан.

Сделав два-три шага колеблющейся походкой, с трудом волоча ноги, обтянутые в тёплые туфли, Хайлар-хан с любезной улыбкой пожал руки сначала дамам, а затем Воину и Щербо-Рожновскому.

— Милости просим! — произнёс он глухим голосом по-русски, но с сильным акцентом, любезно показывая рукой на стоявшие перед ним стулья, обитые зелёным бархатом. — Очень рад вас видеть, хорошо ли доехали?

Гости поспешили поблагодарить любезного хозяина, и разговор мало-помалу завязался. Впрочем, Хайлар-хан сам почти ничего не говорил, а только время от времени задавал короткие, односложные вопросы, внимательно выслушивая ответы и время от времени одобрительно покачивая головой.

Хан сидел в мягких, широких креслах, гости же помещались против него на стульях, которые были низки, жёстки и крайне неудобны. Кроме Хайлар-хана в комнате находилось ещё несколько человек: высокий сухопарый старик с длинной белой бородой и мрачным взглядом из-под нахмуренных клочковатых бровей, главный управитель и казначей хана, Халил-бек сидел у ног хана, уткнув бороду в грудь и пытливо, исподлобья поглядывая на гостей. Молодой, краснощёкий юноша, с блестящими глазами и ярко-пунцовыми губами, — заведующий ханским столом, — неподвижно помещался за креслом хана. На его бесстрастном лице не отражалось никакого внешнего впечатления.

С другой стороны ханского кресла сидел рыжебородый толстяк, смотритель ханской челяди. Подальше у окна, на мягких матрасиках, один против другого, помещались ещё двое: древний старец-кадий, седой как лунь, с мутным потухшим взором, одетый поверх белого халата в белую аббу и белую чалму, с четками в руках, которые он медленно и методично перебирал длинными, сухими пальцами, и небольшого роста жилистый старичок, с красным гладко выбритым лицом, украшенным длинными, сивыми, закрученными вниз усами.



Одет он был в серый дешёвой материи кафтан домашнего покроя и шитья, на котором как-то странно выделялась небольшая бриллиантовая звезда на зелёной муаровой ленточке. Человек этот сидел, слегка повернув голову и, очевидно, с большим вниманием прислушиваясь к разговору хана с его гостями. По временам он торопливо оглядывался своими выразительными, быстро бегающими и вглядчивыми глазами, но сейчас же снова опускал их вниз и даже слегка прищуривался, как бы желая совершенно скрыть свои проницательные зрачки за занавеской густых длинных ресниц. Старик этот был замечательнейший человек во всём ханстве и в действительности настоящий его правитель, так как постоянно болеющий Хайлархан давно уже всецело отдался ему в руки и беспрекословно следовал всем его советам. Звали старика Алакпер-Бабэй-хан. Он занимал пост старшего секретаря сардаря, и справляя при нём роль как бы министра иностранных дел. Несмотря на всю слабость и мизерность Суджинского ханства, у Алакпер-Бабэй-хана было немало работы, и его, по справедливости, можно было сравнить с пловцом, принуждённым лавировать между острыми подводными камнями на углу челнока.

Ему надо было уметь ладить одновременно с двумя могущественными соседками — Турцией и Россией, и в то же время угождать деспотичному, алчному персидскому правительству, постоянно покушавшемуся на независимость ханства. Ко всему этому приходилось то и дело подавлять внутренние междоусобицы. Года не проходило, чтобы тот или другой из младших ханов не затевал ссоры с кем-нибудь из родственников, кончавшейся кровопролитием. Селение поднималось на селение, вассалы ханские жгли и убивали друг друга, и правителю иногда приходилось самому собирать многочисленное войско, чтобы силой водворить спокойствие среди своих строптивых родичей. Но больше всего хлопот и неприятностей было с курдами. Этот самовольный, дикий и воинственный народ, видевший главный источник добывания средств к жизни в грабеже, решительно не хотел признавать никаких границ, бесцеремонно врывается в приграничные владения соседних государств и нагло там хозяйничал.

В свою очередь, курды России и Турции, будучи одинакового мировоззрения со своими собратьями в Персии, поступали точно так же по отношению к ним. Из-за этого между теми и другими возникали постоянные конфликты, возбуждавшие дипломатические переговоры с пограничными турецкими и русскими властями. Положение Алакпера-Бабэй-хана было тем труднее и щекотливее, что в душе он не мог не сознавать полной невозможности прекратить эти ненормальные отношения. Суджинские курды были слишком бедны, слишком безземельны, а в то же время слишком обременены поборами, чтобы иметь возможность существовать исключительно трудами своих рук, не прибегая к грабежу богатых, сравнительно с ними, соседей.

Ввиду таких условий даже исправность поступления податей зависела от удачи в разбойничьих набегах.





Надо было много ума и хитрости, чтобы изворачиваться среди всех этих, по-видимому, исключаяющих одно другое, положений, но Алакпер-Бабэй-хан умудрялся каким-то ему одному известным способом устраивать так, что в большинстве случаев и овцы были целы, и волки сыты.

Сардар Хайлар-хан

— Скажи, — неожиданно спросил Хайлар-хан Щербо-Рожновского в середине разговора, — где лучше доктора, в России или у ференгов⁴⁸? Я хочу ехать лечиться. Мне советуют ехать в Париж. Там самые лучшие доктора. Не правда ли?

— Где доктора лучше, я не берусь судить! — ответил Осип Петрович. — В Петербурге и в Москве есть прекрасные, знающие врачи!

— Знаю, но они сами не будут лечить, а пошлют лечиться во Францию или Германию, стало быть, для чего же мне ехать так далеко — в Москву? Не проще ли прямо обратиться к ференгам?

Сказав это, Хайлар-хан лукаво улыбнулся и хитро посмотрел на собеседника. Щербо-Рожновский должен был признать всю разумность приведённого ханом соображения.

— Русские доктора, — подумав немного, сказал он, — могли бы посоветовать вам, отправиться в Пятигорск, Кисловодск или Железноводск...

— О, нет, нет! — с живостью перебил его хан. — Туда мой ехать не можно, никак не можно!

— Почему это? — удивился немного Щербо-Рожновский.

— Пятигорск, Кисловодск, Сентука, — все мой знают. Армянин есть, татар есть, персиянин есть, — бэшкэш приносить будет, он давал бэшкэш яман⁴⁹, а я ему давай бэшкэш яхши⁵⁰. Для меня нехорошо будет, а другой придёт — деньги дай, третий — посмотреть желает, гаварыт будет, — скажет знаком бывал. Улицам идэш — палициум знай, торговцем знай. Один клянутся, другой клянутся — тому дай, и того купи, наш хан, говорят. Много беспокойства будет!

Щербо-Рожновский не мог не улыбнуться в душе, слушая хана и сознавая справедливость его слов и опасений. «А ведь хан прав, — подумал он, — в Пятигорске или в другом каком-нибудь кавказском курорте ему часу не дадут спокойно вздохнуть всякие его соотечественники из русско-подданных».

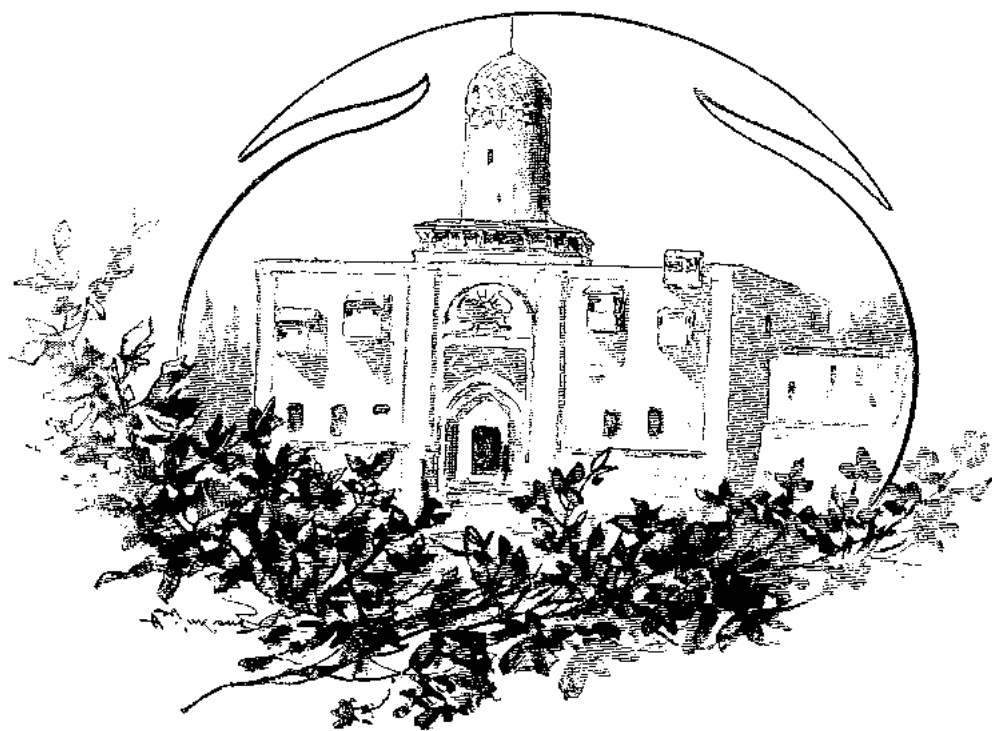
Посидев ещё несколько минут и перекинувшись двумя-тремя незначительными фразами, гости поднялись и стали прощаться с ханом, который, ослабев от продолжительного сидения в кресле и разговора, не стал очень сильно их удерживать. На прощанье он предложил им осмотреть его дворец, для таковой цели назначил в проводники, помимо Муртуз-аги, ещё и Алакпер-Бабэй-хана.

Прежде всего вышли в сад, чтобы оттуда осмотреть наружный фасад здания. Снаружи дворец сардаря представлял собой двухэтажное, довольно неопределён-



ной, смешанной архитектуры здание, на высоком фундаменте и с башней наверху. Характерной особенностью этого здания было множество маленьких висячих балкончиков, со стенами и потолком из разноцветного стекла. Балкончики эти, как гнёзда стрижей, лепились в беспорядке один выше других, резко выделяясь на ярко-белом фоне стен здания. Возвышавшаяся посередине дворца высокая башня с куполообразной крышей из пёстрых изразцов окружена была колоннадой с блестевшими на солнце между колоннами металлическими, вызолоченными перилами. Колоннада эта, очевидно, была местом прогулок самого хана, где он мог прохаживаться, наблюдая с высоты жизнь всего селения и оставаясь сам в то же время невидимым для постороннего любопытного взгляда. На фронтоне здания красовалось барельефное, грубо размалёванное изображение персидского герба канаречного цвета: лев с бабьим лицом и с выглядывающим из-за его спины оранжево-золотистым солнцем, от которого во все стороны расходились ярко-жёлтые, топорно сделанные лучи. Над башней, на высоком шесте, развевалось, как повешенная для просушки простыня, тёмно-зелёное знамя.

К главному зданию справа и слева примыкали флигели, соединённые с ним крытыми стеклянными галереями на столбах. В общем, дворец выглядел довольно неуклюжим, но его скрашивало то обстоятельство, что он был выстроен на вершине крутого холма и окружён роскошным садом. Оглядев здание снаружи, приступили к внутреннему осмотру его бесчисленных комнат.



Некоторые из этих комнат походили на виденный уже зеркальный зал, смежный с комнатой сардаря. Такие же зеркальные стены, потолки и колонны, такие же люстры и бра, такие же разноцветные окна и паркетные, узорчатые полы. Только размером эти комнаты были меньше и в высоту — ниже.

Другие же покои выглядели совершенно ordinarily. Отштукатуренные, выкрашенные белой масляной краской стены, гажевые, обклеенные кирпичного цвета бумагой полы и простые двустворчатые белые двери.

Мебель, которой было немного, состояла из разнокалиберных стульев, круглых столиков и нескольких пузатых, украшенных инкрустацией комодов на высоких, изогнутых ножках. Остальное убранство комнат заключалось в разостланных на полу коврах и небольших матрасиках из шёлка, бархата и сукна, разложенных по углам и вдоль стен. Некоторые из этих матрасиков представляли собой огромную ценность, так как были затканы золотом и унизаны жемчугом, бирюзой и другими самоцветными камнями.

Сидеть на таких матрасиках, разумеется, было невозможно, и они, очевидно, играли роль только как украшение комнаты. Кроме матрасиков, повсюду грудями лежали бархатные и суконные, расшитые шелками продолговатые подушки — му-таки. Впрочем, самым оригинальным в убранстве этих комнат являлось изобилие всевозможной стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, служившей не прямо своему назначению, а являвшейся в виде своеобразного украшения. Почти в каждой комнате посередине, или у одной из её стен, стояло по одному, а где и по два небольших стола, на которых, как в ламповом магазине, теснилось с десятком ламп. Каких только тут не было! Высокие, низкие, бронзовые и фарфоровые, чугунные и разных имитаций, вызолоченные, высеребрённые, цвета старой бронзы и просто-напросто пёстро раскрашенные. На одних колпаки были красные, на других голубые, на третьих белые матовые или белые блестящие, наконец тёмно-зелёные; абажуры, тюльпаны, шары, простые колпаки пестрели в глазах, как на выставке. Большинство ламп было без стёкол, горелки — без фитиля. Вид этих горелок, совершенно чистых и не закопчённых, ясно указывал, что все эти лампы ни разу не зажигались. Другим украшением комнат служила фарфоровая и стеклянная посуда. Вдоль стен в два-три яруса шли стеклянные полки, тесно заставленные стаканами, рюмками, чашечками, вазочками, солонками и сахарницами. Даже аптечные разноцветные шары нашли себе место и торжественно возвышались среди беспорядочной груды прочего хлама, между которым попадались вещи большого изящества и ценности, как, например, восхитительные фарфоровые подсвечники, подчасники, куколки и т.п. Все эти вещи частью были выписаны из Англии, а частью куплены в приграничных армянских лавчонках, и надо было удивляться отсутствию вкуса и всякого художественного понимания, допускавшему такое безобразное смешение. Рядом с художественно исполненной вазой из дорогого тонкого фарфора стояла простая фаянсовая маслёнка, изображающая белого барашка с золотыми рогами,



одна из тех, какими торгуют в молочных лавочках. Около старинного канделябра с порхающей на нём толпой крошечных амуров, из которых каждый, взятый в отдельности, являлся верхом искусства, ютилась глиняная, голая, раскрашенная богиня с зелёными волосами и ярко-пунцовыми щёками, поддерживающая размалёванный тюльпан-подсвечник. Дорогие хрустальные бокалы, украшенные гравировкой, были перемешаны со стаканами из зеленоватого стекла с намазанными на них яркой краской букетами, видами и портретами. Остальное убранство комнат было в том же роде; так, например, в одной из комнат о двух окнах, на первом окне, спускаясь мягкими пышными складками от самого потолка, висела тюлевая занавеска, вся затканная золотой канителью. Рисунок был чрезвычайно сложен и замысловат. Глядя на него, даже трудно было представить себе, сколько терпеливого, упорного труда потребовала эта действительно роскошная вещь, а рядом с такой драгоценностью, на другом окне висел кусок ситца с какими-то нелепыми птицами и букетами.

— О, дикари, дикари! — невольно воскликнула Лидия, поражённая таким безвкусием, но вспомнив, что сзади неё стоит Алакпер-Бабэй-хан, понимавший по-русски, она смутилась и прикусила язык, но хитрый старик сделал вид, будто ничего не слышал и самым невинным тоном спросил её, какое впечатление вынесла она из осмотра дворца.

— Дворец прекрасный! — поспешила любезно успокоить его Лидия.

Осмотрев дворец и спустившись по крутой лестнице вниз, все вышли на широкий, выложенный плитняком и обнесённый высокой стеной двор, посреди которого монотонно журчал и искрился небольшой фонтанчик. Муртуз-ага предложил пройти в конюшню взглянуть на ханских лошадей. Предложение было охотно принято, но впечатление от осмотра благородных животных оказалось далеко не таким, какое ожидалось. Все лошади выглядели чрезвычайно раскормленными, и почти каждая имела какой-нибудь бросающийся прямо в глаза порок. Одна была чересчур седлиста, у другой облезлый хвост, третья выглядела чрезмерно узкогрудой, четвёртая имела неправильный постав ног; было две-три лошади с бельмом на глазу, а одна и совершенно слепая, по всему было заметно, что о правильном коневодстве здесь, в Судже, не имеют никакого понятия. Ухода за лошадьми в европейском значении этого слова не было вовсе: лошади были не чищены, а конюшни грязны, душни и переполнены навозом. Чтобы не отгороженные ничем друг от друга жеребцы не лягались, они были прикованы короткими цепями к вбитым в землю кольям. От этих нелепых цепей нижняя часть ног лошадей была покрыта никогда не заживающими струпьями, переходящими в конце концов в бородавки и наросты.

Между лошадьми помещалось несколько катеров, — великолепные животные молочного цвета, с чёрными глазами и умеренной длины ушами. Головы их были украшены разноцветными ленточками, и они, очевидно, пользовались большим вниманием, чем лошади.



Воинов, большой любитель и знаток лошадей, ожидавший увидеть что-нибудь особенное, был сильно разочарован и не удержался, чтобы не высказать этого Муртуз-аге.

— Так вот это-то и есть знаменитые суджинские лошади, о которых так много говорят? Признаюсь, не вижу в них ничего особенного, разве только одно — то, что все они раскормлены, как кабаны!

— Суджинских лошадей надо смотреть в езде, — спокойно возразил Муртуз-ага, — под седлом они совершенно преображаются. В конюшне они действительно выглядят немного вялыми, неуклюжими и не совсем хорошо сложенными, но когда на них садится всадник, они подбираются, шея делается гибкой, и вся лошадь точно разгорается от скрытого в ней внутреннего огня. Впрочем, с тех пор, как сардар начал болеть и совершенно перестал ездить верхом, а этому уже будет года три-четыре, в его конюшне перевелись хорошие лошади. Которые — подошли, которых он раздарил или пустил в табун. Во всей Судже его лошади теперь считаются худшими. Зато катера у него очень хороши.

— А для чего ему катера, он не может ездить верхом?

— Нет, на катерах он ездит. Катер гораздо спокойнее лошади, не горячится, не прыгает, идёт осторожно, плавно. Особенно у катеров этой породы, так называемых египетских, замечательно плавный ход. Они несут своего всадника на своей спине, как мать ребёнка, нигде не тряхнут, не толкнут. У нас на них ездят дряхлые старики, больные и женщины, и ценятся они вдвое дороже лошади.

В старом дворце

— Не хотите ли пройти в другой дворец, принадлежащий дяде сардаря, Халил-хану? Самого хана нет, он уехал в Мекку, но дворец стоит посмотреть. Он построен очень давно. Это единственный старинный дворец, который уцелел в Судже, прочие ханы давно уже перестроили свои дворцы по-новому, и все они как две капли воды похожи на сардарский: такие же зеркальные залы, такое же множество стеклянной посуды, в виде украшения, словом, все одно и то же, и только один Халил-хан не пожелал изменить старине.

— Что ж, пойдёмте, — согласилась Лидия, — всё равно делать ведь нам нечего!

Они пошли.

Дворец Халил-хана находился на другом конце селения. Всю дорогу, пока они шли, толпа ребятишек бежала за ними, с испуганным любопытством глядя на невиданные костюмы кяфиров⁵¹. Попадавшиеся им навстречу татары отвешивали низкие поклоны и, миновав, останавливались и смотрели им вслед. Женщины в длинных чадрах, заведя их, торопливо выбегали из дворов и, распахнув немного чадру, с каким-то испугом и недоумением глядели во все глаза, слегка разинув рот и зами-



рая от любопытства. Видно было, что их больше всего поражали амазонки Лидии и Ольги. Одна даже не утерпела и в то время, когда Лидия проходила мимо неё, слегка дотронулась пальцем до её длинной замшевой перчатки с твёрдыми крагами — раструбом.

Лидия остановилась и ласково улыбнулась, татарка в свою очередь оскалила белые, как молоко, зубы и весело рассмеялась.

— Какая хорошенькая! — невольно воскликнула Лидия, любуясь продолговатым овалом лица татарочки, её миндалевидными, тёмными глазами и густыми-густыми, длинными ресницами. Белая, с желтоватым отливом, как старинная словенская кость, кожа слегка румянилась на щеках, придавая татарочке своеобразную прелесть.

— Да, хорошенькая! — согласился Щербо-Рожновский, в свою очередь, оглянувшись на татарку, которая, заметив на себе взгляд мужчины, сконфузилась и пустилась бежать, звеня монистами и мелькая голыми пятками загорелых ног.

Пройдя обширный двор, с беспорядочно настроенными на нём сараями и клетушками, путники в сопровождении нескольких нукеров, выскочивших им навстречу, вошли в густой, запущенный тенистый сад. В этом саду, скрываясь за кущами тёмно-зелёных чинар и нарбандов, возвышалось длинное одноэтажное здание, облицованное красными, белыми и тёмно-коричневыми кирпичами, уложенными так, что получался замысловатый рисунок. Широкие окна, из небольших стёкол в частом переплёте рамы, были украшены ярко размалёванными барельефами. Часть передней стены занимала стеклянная веранда, над которой на фронтоне дома красовался, как и во дворце Хайлар-хана, лепной, раскрашенный герб Персии, по всем четырём углам здания возвышались круглые башенки с узкими бойницами вместо окон.

Поднявшись по крутой лестнице на веранду, путники очутились в низкой полутёмной комнате, служившей передней, с тремя одностворчатыми дверями, ведущими во внутренние покои. Следующая за передней комната была значительно просторнее, длиннее и светлее. Лидии она живо напоминала старинные московские терема.

Толстые массивные стены с глубокими нишами и окнами-амбразурами были пёстро расписаны от потолка донизу причудливыми узорами, такие же узоры покрывали низкие сводчатые потолки. Ярко-зелёная, огненно-красная, голубая краски мешались с густой позолотой. Чудовищные цветы переплетались с замысловатыми завитками и арабесками и рябили в глазах своей яркой дикой пестротой. Пол комнаты был устлан коврами, с набросанными в беспорядке по углам ворохами суконных, шёлковых и бархатных мутак и подушек. Низенькие, богато украшенные перламутровой инкрустацией восьмиугольные табуреты, заменяющие столики, стояли вдоль стен и посередине комнаты. В правом углу было устроено нечто вроде трона: небольшая низкая оттоманка, обтянутая золотистым бархатом, и над ней балдахин



из шёлковых джеджимов, украшенный по углам парчовыми золотыми кистями. По стенам в одинаковом друг от друга расстоянии висели в ряд небольшой величины, но разные по своей форме зеркала, в бронзовых, золочёных рамах, круглые, овальные, многоугольные и квадратные, наподобие звезды и полулуния. Зеркала эти были единственным украшением, ни ламп, ни стеклянной посуды, как во дворце сардаря, здесь не было, что, конечно, могло только усилить приятное впечатление, производимое своеобразным видом комнат.

Пройдя эту комнату, компания очутилась в следующей, гораздо меньшей по величине, но ещё более оригинальной. Комната эта была овальной, наподобие башенки, с круглыми окнами, помещавшимися под куполообразным потолком. Потолок ярко белого цвета был окаймлён пёстрым широким бордюром.

Что же касается стен, то разрисовка их сразу приковала всеобщее внимание. Не надобно было быть знатоком, чтобы понять, насколько работа была художественна. Нижняя часть стены, от пола на вышину человеческого пояса, была искусно раскрашена под малахит, выше же фон был бледно-бирюзовый, и по этому фону тянулись, прихотливо завиваясь и переплетаясь между собой, густые гирлянды цветов, перемешанные с виноградными гроздьями и разными другими фруктами. Приблизительно через аршин расстояния гирлянды эти образовывали красивые, овальной формы рамы, в которых была нарисована одна и та же женская головка, хотя и в разных видах, то прямо, то в полуобороте в ту или другую сторону. Головка эта изображала красивую молодую женщину с восточным типом лица и густыми, распущенными по плечам волосами, которые только одни и служили ей одеянием. Впрочем, кроме глаз, губ и носа, остальное всё было недоделано и как бы слегка только намечено.

— Какой оригинальный и в то же время странный рисунок! — воскликнула Лидия, внимательно разглядывая изображение женской головки.

— А вы не обратили внимания, — сказал Воинов, — что в одном месте стена осталась не разрисованной и просто-напросто грубо закрашена зелёной краской.

— Ах, и в самом деле, смотрите, какое безобразие! — возмутилась Лидия. — Точно здесь когда-то была дверь, её впоследствии заделали и замазали зелёной краской. Удивительный народ эти персы! Отсутствие понимания всякого изящества. Ну, можно ли оставлять подобное пятно рядом с таким художественным рисунком?

— Это пятно, как вы называете, сделано нарочно и имеет свою историю, — вмешался Муртуз-ага, — если хотите, я расскажу вам её.

— Ах, пожалуйста! Мы очень рады будем послушать!

История одной стены

— Вы не смотрите, господа, — начал Муртуз-ага, — на то, что краски на этих рисунках так живы и яркие, рисовал их хороший мастер, потому они, должно быть, так и сохранились, несмотря на пятьдесят лет, пролетевших с той поры, как эта комната была отделана.



Когда построен этот дворец, в точности никто не знает, во всяком случае гораздо более ста лет, но лет пятьдесят тому назад, бывший владелец его, отец Халил-хана, Юзуф-хан, вздумал капитально его отремонтировать. На это у хана были свои причины, о которых я сообщу вам после, а теперь пока скажу несколько слов о Юзуф-хане. Это был человек страшно жестокий и неумолимый. Когда кто-нибудь из подданных Юзуф-хана имел несчастье его рассердить, то не только самому провинившемуся, но и всему его семейству не было пощады. В Судже до сих пор рассказывают, как Юзуф-хан приказывал сбрасывать со скалы в пропасть ни в чём не повинных жён и детей, осуждённых им на смерть нукеров, причём грудных младенцев привязывали на шею матерям, и в таком виде сталкивали вниз. С другими ханами, своими родственниками, Юзуф-хан не знался, никогда ни к кому из них не ходил и к себе не звал. Особенно ненавидел он своего родного брата, знаменитого сардаря Чингиз-хана, отца теперешнего сардаря Хайлар-хана, но Чингиз-хан был сам человек очень суровый и потому, ненавдя его всей душой, Юзуф-хан тем не менее не смел явно высказывать своей вражды к могущественному владыке. К довершению всего Юзуф-хан, несмотря на своё огромное богатство, был чрезвычайно скуп, скупость его не имела границ, о ней со смехом рассказывали на базарах, а потому все были поражены, когда в один прекрасный день Юзуф-хан выказал при одном случае небывалую щедрость.

Случай этот был следующий.

Однажды курды, после своего набега на русскую границу, привезли на базар для продажи, в числе прочего награбленного добра, молодую девушку поразительной красоты. Где и как они её добыли, курды, по своему обыкновению, никому не рассказывали, да по всей вероятности, никто их об этом и не расспрашивал, говорили только, что пленница по происхождению своему была армянка.

Когда весть о появлении на базаре такого редкостного товара облетела всё население, к курдам явилось множество покупателей из числа ханов и богатых беков, но разбойники заломили такую баснословную цену, что никто не решался заплатить столько, хотя многим пленница чрезвычайно нравилась. Она стояла, потупив голову, полуобнажённая, с волосами, ниспадавшими ей почти до пят, со стыдливым румянцем на щеках и заплаканными грустными глазами. Красота её была настолько ослепительна, что один из ханов уже готов был уплатить требуемую курдами сумму и пошёл за деньгами, но в это время на базаре появился Юзуф-хан. В то время ему было больше шестидесяти лет, но он ещё был бодрый и сильный, хотя уже и совсем седой старик.

Увидев его, кто-то из присутствовавших молодых ханов со смехом закричал ему:

— Юзуф-хан, купи себе красавицу. Ты у нас самый богатый, и то что другим не по карману, для тебя пустяки! Никто из нас не в состоянии заплатить курдам столько, сколько они хотят!

— А сколько ты за неё хочешь? — не взглянув на говорившего ханка, спросил Юзуф-хан, обращаясь к предводителю шайки. Тот сказал свою цену. Юзуф-хан несколько минут молча в раздумье разглядывал замершую перед ним от страха



красавицу, и вдруг глаза его вспыхнули, как у волка, и на лице появилась лёгкая краска волнения. Он взял красавицу за руку и грубо дернул её к себе.

— Согласен! — угрюмо сказал он курду. — Хотя ты просишь чересчур дорого, но пусть будет по-твоему. Веди её ко мне во дворец и там получишь деньги!

Прошло около года. О купленной Юзуф-ханом пленнице давно все забыли, и никто ею не интересовался. Она жила в доме своего повелителя за толстыми стенами и дальше сада нигде не появлялась. Что она испытывали, и какова была её жизнь — никто не знал, и никому до этого не было дела, но, принимая во внимание злой характер Юзуф-хана, его старость и скупость, можно с уверенностью сказать, что житьё бедной рабыни было нерадостное.

Вдруг по селению разнеслась удивившая всех новость: скупой и угрюмый Юзуф-хан, упорно не соглашавшийся дотоле переменить подгнившей балки, подправить обвалившийся угол наружной стены, ни с того ни с сего неожиданно пожелал приступить к общей переделке своего старого, медленно разрушавшегося дворца. Сначала никто не хотел этому верить, но вскоре слух вполне оправдался. Появились вызванные из России и Турции мастера: печники, штукатуры, плотники, из принадлежащих хану селений сгонялись простые рабочие. Закипела лихорадочно-торопливая работа.

Старые стены разламывались, и на их месте воздвигались новые, маленькие и тесные помещения расширялись и надстраивались, гнилые, ветхие рамы и двери заменялись другими — словом, весь дворец принимал совершенно другой, более роскошный вид.

Между приглашёнными из России мастерами был один, обязанность которого была разукрасить стены дворца живописью. Это был молодой человек, армянин, державший себя весьма независимо, не как какой-нибудь бедняк-мастеровой, а скорее как настоящий господин. По мере того как комнаты отделявались, он принимался их расписывать. Нерпой он разрисовал большую комнату, рядом с прихожей, а затем приступил вот к этой, где мы сейчас находимся. Хан оказался большим любителем живописи и целыми часами просиживал на одном месте, глядя на работу художника. Его занимало следить, как на гладкой, загрунтованной стене под ударами кисти постепенно один за другим рождались всё новые и новые узоры, одни причудливее другого; как они ярко расцветали, покрывались позолотой, получали живость и законченность. Раза два он сам брал в руки кисть и пробовал проводить ею по стене, но, разумеется, у него ничего не выходило, кроме грязных, уродливых пятен. При виде таких попыток со стороны старика художник весело смеялся и начинал рассказывать ему о том, как люди учатся искусству живописи. Как и все армяне, он хорошо говорил по-татарски, и хан охотно слушал его болтовню. В первый раз в жизни в суровом, свирепом старике шевельнулось нечто похожее на расположение к другому человеку; оставаясь с глазу на глаз с молодым живописцем, он переставал хмуриться, лицо его прояснялось, и голос звучал не так строго. В одну из хороших минут он, должно быть, рассказал своей пленнице о художнике, и та стала просить старика позволить и ей посмотреть, как он рисует. Юзуф-хан по-своему, очевидно, сильно любил молодую женщину, ради неё и дворец начал перестраивать, а потому не мог отказать ей в её просьбе.



С тех пор каждый день, когда хан являлся в комнату, где работал художник, вместе с ним приходила и пленница, закутанная с ног до головы в густую чадру. Она садилась подле хана и сидела молча и неподвижно. Сначала ревнивый хан украдкой, подозрительно поглядывал то на того, то на другого, но, убедившись, что ни его пленница, ни художник не делают ни малейшей попытки завязать между собой знакомства, успокоился.

На первых порах художник действительно не обращал никакого внимания на закутанную фигуру женщины, которую принял за одну из жён хана, но однажды, провожая глазами удалившегося хана и его спутницу, он увидел, как та незаметно бросила на пол плотно скомканную бумажку, подкатившуюся ему под ноги. Развернув её, он, к большому изумлению, прочёл:

«Я, как и ты, армянка, зовут меня Зара Унаньянц, курды похитили меня и продали в Суджу здешнему хану. Мне очень худо. Спаси меня. Отец мой очень богат, и если ты отвезёшь меня к нему, он озолотит тебя. Я уговорила хана перестроить дворец и надежде, что между мастерами будут, наверное, армяне, и мне удастся переговорить с каким-нибудь из них. Ещё раз умоляю — помоги!».

Прочитав эту записку, художник сильно взволновался. Хотя лично он не был знаком со старым Унаньянцем, но много слышал о дивной красоте его дочери и о таинственном её исчезновении.

Она была похищена на большой дороге, когда ехала со своим дядей в гости к родственникам матери. В кругу родных и знакомых её давно считали умершей.

Когда на другой день Юзуф-хан снова появился в сопровождении Зары, художник, рисуя замысловатую арабеску, написал на стене:

«Я весь к вашим услугам, надо только обдумать!».

Хан, разумеется, по-армянски не знал, а потому, несмотря на то что глядел во все глаза, не понял разрисованных художником завитушек и чёрточек, которые были не что иное, как слова, понятные для его пленницы.

В ту минуту, когда старик особенно внимательно углубился в разглядывание рисунка, Зара быстрым движением на мгновение распахнула чадру, и глазам художника предстало дивное личико, с большими грустными глазами. Когда молодой человек остался один, он начал в волнении прохаживаться взад и вперёд по комнате, вызывая в своём уме образ молодой женщины. Потом он снова взялся за кисти и осторожно стал набрасывать на память мгновенно промелькнувшие перед ним черты красавицы. Тогда-то ему и пришла мысль поместить между гирляндами головку, которую вы видите. Это было очень смело и могло возбудить подозрение хана, но молодой человек не мог преодолеть своего художественного увлечения. Чтобы несколько замаскировать сходство рисуемой им головки с Зарой, он изменил её причёску, и всё лицо оставил недоделанным, закончив только глаза, губы и нос. Юзуф-хан ничего не понял, но красавица сразу узнала себя. Сначала она страшно испугалась, но, видя, что хан ничего не замечает, успокоилась и при всяком удобном случае спешила распахнуть чадру и показать живописцу своё красивое личико, чтобы он мог получше запечатлеть его в своей памяти.



С этого времени между молодыми людьми установилась правильная переписка. Приходя в комнату, Зара всегда садилась на одно и то же место и, опускаясь на ковёр, незаметно поднимала одну из множества валявшихся повсюду бумажек, о которые художник во время работы обтирал кисти. Надо ли прибавлять, что эти бумажки содержали в себе послание художника пленнице, в котором он извещал её о том, что он предпринимает для достижения успеха и намеченной им цели спасти её из неволи Юзуф-хана. В свою очередь, когда молодая женщина удалялась, художник всякий раз находил на том месте, где она сидела, скомканную в комочек бумажку с несколькими нацарапанными на ней словами. Юзуф-хан по-прежнему ничего не видел и не подозревал. Выдумка художника изобразить на стенах медальоны с женской головой ему чрезвычайно понравилась, он только пожелал, чтобы художник не довольствовался верхним контуром плеч, а рисовал и грудь, почти до пояса.

Чтобы его задобрить, художник охотно исполнил его желание, почему, как вы сами видите, некоторые фигуры не отличаются особой скромностью.

Замурованные

Работа по разрисовке комнаты подходила к концу. Подходила к концу и другая работа, по подготовке всего нужного к побегу. Оставалось сделать только последний, главный и самый опасный шаг — устранить старика и похитить пленницу.



Задача эта казалась невыполнимой, но художник, очевидно, был человек смелый и решительный, и вот однажды, когда Юзуф-хан в сопровождении Зары по обыкновению пришёл к художнику, тот, низко кланяясь, поманил его к себе, желая, очевидно, показать что-то интересное, но в ту минуту, когда старый хан углубился в рассматривание данной ему в руки художником картинки, последний, сделав шаг назад, незаметно вытащил из-за рукава острый, кривой сбичак⁵² и одним метким и ловким ударом перехватил ему глотку. Удар был так силен, что хан не успел даже вскрикнуть и, как прирезанный баран, повалился на землю. Наступив ему коленом на грудь, художник другим ударом почти отделил ему голову от туловища, после чего, вытащив из угла мешок, бросил его Заре. В этом мешке были припасены



старая армянская черкеска, шаровары, чувяки и огромная косматая папаха, длинная курчавая шерсть которой доходила чуть не до плеч. Сбросив чадру и лишнюю одежду, Зара быстро переоделась, и оба вышли через противоположные двери на двор, предварительно заперев другие изнутри на крючок. Прощмыгнув незамеченными через сад, они перелезли стену и очутились в глухом переулке между садами. Здесь их ждал сообщник, тоже армянин, из числа рабочих, с двумя лошадьми на поводу. Вскочив на сёдла, беглецы осторожно спустились вниз по крутому обрыву, переехали вброд протекавшую внизу горную быструю речку и пустили лошадей вскачь. Так как русская граница была гораздо дальше, и дорога к ней шла открытой степью, мимо многих селений, то художник, составляя план побега, решил направиться в Турцию, путь в которую лежал по горным глухим тропинкам, где они легко могли избежать всяких встреч. Попасть же из Турции в Россию не представляло никакого труда.

Давая время от времени лошадям перевести дух, беглецы снова пускали их вскачь, и с каждой минутой турецкая граница, а за ней и спасение, становилась к ним всё ближе и ближе.

Тем временем наступила ночь. Всё рассчитал, всё предусмотрел смелый художник, обдумывая план побега, но не принял во внимание одного — это крошечной тьмы, которая наступает в горах ночью. Как бы ни была темна ночь на равнине, но хоть что-нибудь да можно различить, в горах же в безлунную ночь темно, как в могиле. Не видать ушей лошади, на которой сидишь, «не чувствуешь своих собственных глаз», — как говорят татары. Самое лучшее было бы путникам укрыться где-нибудь в пещере и дожидаться появления луны, тогда бы они наверно спаслись, но страх погони помутил их разум, и они сделали непростительную ошибку, двинувшись дальше. Хотя художник, нарочно несколько раз съездивший перед этим в Турцию, для лучшего ознакомления с местностью, прекрасно изучил дорогу, но в такую темноту не сбиться с пути можно было только благодаря счастливому случаю. На их беду счастье отвернулось от них. Проехав порядочное расстояние, молодой армянин с ужасом заметил, что он заблудился. Открытие это, должно быть, окончательно сбило их с толку, и они принялись безрассудно метаться по горам, то в ту, то в другую сторону. Это было самое худшее, что они могли сделать. Вместо того чтобы беречь своих лошадей, они напрасно утомляли их, и когда, наконец, взошла луна, то оба с ужасом увидели себя в более далёком расстоянии от турецкой границы, чем тем, где их застала ночь, к тому же лошади их совершенно выбились из сил и еле волочили ноги.

Дав им немного отдохнуть, беглецы снова погнали их вперёд, но, поднявшись на одну из вершин и оглянувшись назад, с отчаянием увидели большую толпу курдов, подобно стае борзых собак, нёсшихся по их следам. Это была погоня. К счастью, до турецкой границы было уже недалеко. Теперь всё спасение зависело от того, насколько велик запас сил, остававшийся у их лошадей. Началась скачка на



жизнь и смерть. Вот и граница. Добежав из последних сил до вершины горы, лошади беглецов остановились, не будучи в состоянии сделать хотя бы один шаг далее, впрочем, теперь они уже были больше не нужны. С этого места шёл крутой спуск вниз, по которому гораздо удобнее было сбегать, чем съезжать верхом, а потому наши беглецы, не теряя времени, соскочили с лошадей и пустились сломя голову вниз. Курды тем временем только взбирались по противоположной крутизне, а потому беглецы успели значительно опередить их. Сбегая вниз, художник, к большой своей радости, увидел издали небольшую глиняную караулку, а подле неё несколько человек турецких аскеров⁵³, на покровительство которых он мог вполне рассчитывать, враз бы объяснил им, с присовокуплением хорошего бэшкэша, что состоит в русском подданстве и подлежит отправке в Россию.

В ту минуту, когда беглецы были недалеко от турок, курды, взобравшись на вершину, быстро врассыпную стали спускаться вниз. Увидев это, турецкие солдаты, которых было человек десять, встрепнулись и по приказанию начальствовавшего ими пожилого унтер-офицера, быстро стали заряжать ружья.

Увидев враждебное движение турок, очевидно с оружием в руках готовившихся не допускать нарушения своей границы, курды тотчас же остановились, сбились в кучу и рысью отъехали назад.

Художник и Зара, наблюдавшие за всем происходящим из окна караулки, куда они прибежали, повинуясь молчаливому указанию турецкого унтер-офицера, вздохнули свободно. Всякая опасность миновала, хотя курдов было втрое больше, но они никогда бы не осмелились напасть на солдат регулярных турецких войск, раз те решили серьёзно защищать отдавшихся под их покровительство беглецов.

Несколько минут стояли оба отряда один против другого, взаимно наблюдая друг друга, как вдруг со стороны курдов выделился один всадник, — это был старший сын Юзуф-хана, нынешний владетель дворца, — Халил-хан, тогда ему было двадцать лет, не больше.

Махая туркам рукой, чтобы они не стреляли, он смело подскочил к стоявшему впереди всех унтер-офицеру.

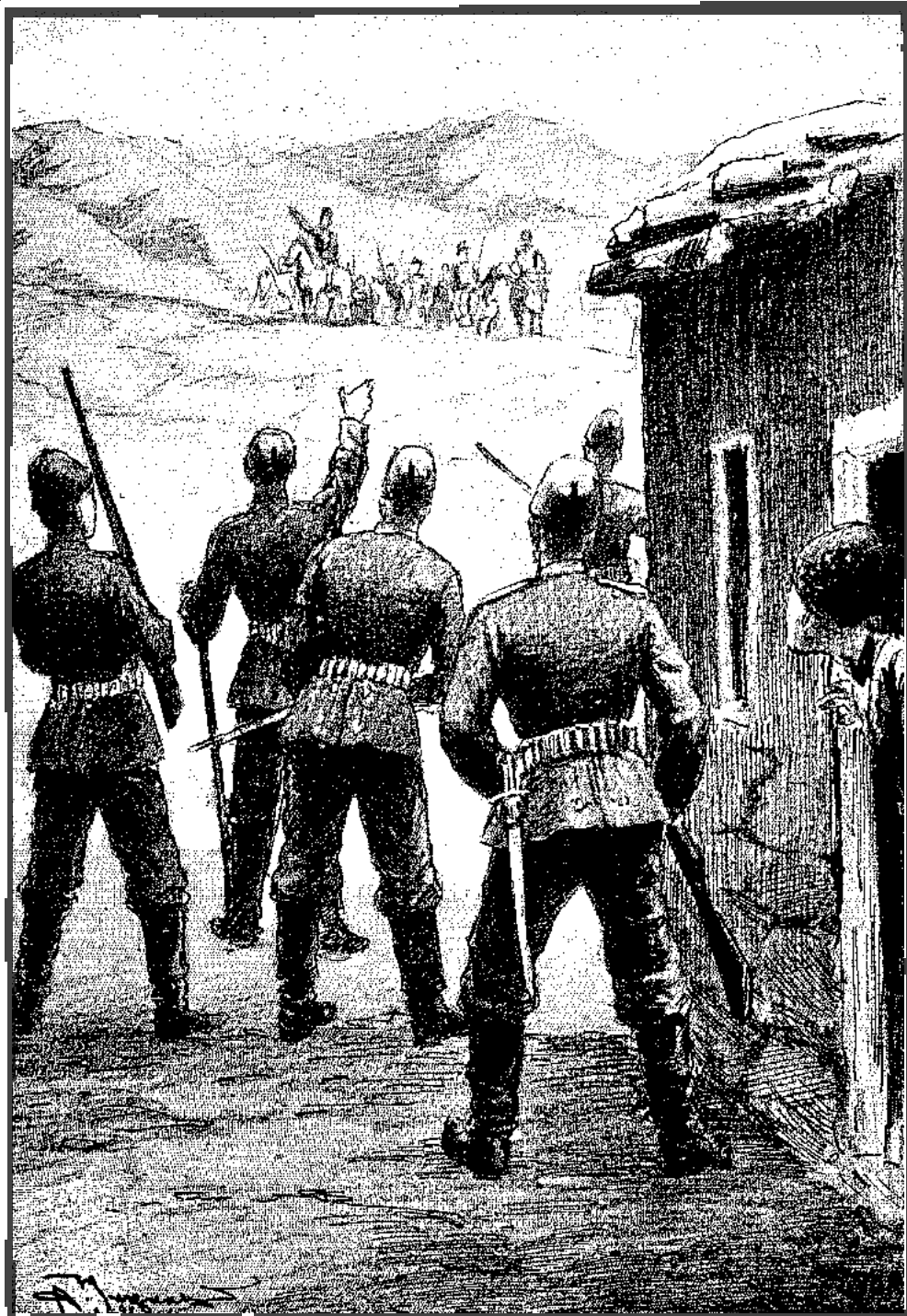
Стоя у окна, Зара и художник внимательно и с возрастающим беспокойством глядели, как между турком и молодым ханом завязалась оживлённая беседа. Оба сильно жестикулировали, часто оборачиваясь лицом к сторожке и указывая на неё руками.

Страшное подозрение закралось в душу художника.

— Проклятые! — закричал он вдруг в бессильном, яростном отчаянии. — Они нас, кажется, продают!

Он не ошибся. Молодой хан, действительно, предложил турку порядочную сумму денег за выдачу беглецов. Хитрый старик сначала долго не соглашался, но когда хан удвоил предложенную вначале сумму, он наконец согласился.





— Конечно, если бы они не убили мусульманина, — я бы их вам ни за что не выдал, — философствовал турок, пересчитывая полученные им деньги, — но раз проклятые гяуры осмелились нечестивыми своими руками зарезать правоверного, хотя бы и шиита⁵⁴, они подлежат тяжкой каре. Берите их и делайте с ними, что хотите, во славу Аллаха.

— Эй, — обратился он к своим солдатам, — вытащите этих двух негодяев и отдайте молодому хану, который так милостив, что подарил нам целую горсть монет. Да будет прославлено его имя!

Турки не заставили повторять приказания, и через минуту художник и Зара уже бились в сильных руках курдов. Напрасно молодой человек кричал, что он русский подданный и что за выдачу его они ответят перед русским правительством, турки оставались глухи к его воплям, нисколько не опасаясь его угроз, отлично понимая, что персы его живого не выпустят, стало быть, и жаловаться он уже не будет.

В тот же день к вечеру художник и Зара снова очутились в той самой комнате, где они сговаривались совершить побег и откуда так неудачно бежали, обагрив её кровью старого Юзуф-хана.

— Пусть эта комната, где ты замыслил своё злое дело, — сказал Халил-хан художнику, — послужит тебе и ей, — он указал на Зару, — могилой. Смотри: один кусок стены тобой ещё не разрисован, пусть же, вместо твоего рисунка, ляжет туда твоё тело!

По приказанию хана пришедшие рабочие живо разобрали часть стены настолько, чтобы в образовавшееся углубление можно было поместить стоящего во весь рост человека. Когда всё было готово, с художника и Зары сняли всю одежду, скрутили их верёвками и, вставив в стену, заложили кирпичами, а сверху обмазали стену известью.

Так погибли эти двое несчастных, и никто никогда не узнал об их судьбе.

— Неужели они ещё до сих пор в стене? — прошептала Лидия, с ужасом оглядываясь на зелёный четырёхугольник.

— О, нет! — отвечал Муртуз-ага. — Лет десять тому назад, когда Халил-хан уступил эту половину дворца своему сыну Мехти-хану, тот приказал сломать стену, вынуть оттуда кости замурованных и выбросить их вон. После этого стену снова заделали и покрасили её пока зелёной краской, а осенью обещал приехать один мастер, чтобы зарисовать это место, наподобие прочих стен, такими же гирляндами и цветами. Не знаю только, удастся ли этому художнику нарисовать так же хорошо, как нарисовал его предшественник, нашедший в этой комнате свою могилу!

— Откуда вы знаете все эти подробности, точно сами присутствовали там? — спросила Ольга Оскаровна.

— Мне об этой истории подробно рассказывал сам Халил-хан. Он тогда же подверг допросу всех армян-рабочих, и те сообщили ему всё, что сами знали, а известно им было многое, так как молодой художник рассказывал им обо всём сам.



— А рабочим ничего не сделали?

— Нет. Когда они окончили отделку дворца, их отпустили с миром, только одного, кто помогал беглецам, задержали во дворце хана ещё на год, но затем и тот был отпущен на все четыре стороны. Халил-хан был не в отца: тот бы не пощадил никого!

— Ужасная история! — нервно потерев рукой лоб, произнесла Лидия. — Ну, уж и страна же, ваша Персия! Тут каждый камень кажется свидетелем какого-нибудь убийства!.. Я уже устала ходить и хочу вернуться в свою комнату отдохнуть немного!

— И я тоже! — поддержала сестру Ольга Оскаровна.

Вся компания двинулась обратно.

Однако отдохнуть ни Лидии, ни Ольге не удалось. Только они вернулись, как явился посланец с докладом, что мать и жена Хайлар-хана очень желают видеть русских барынь. Отказаться было неловко и пришлось идти на женскую половину.

Ханши

В противоположность своему болезненному, худощавому мужу, жена Хайлар-хана, Изаргэль-ханум — была высокая, тучная, дебелая молодая женщина, которая могла бы назваться красивой, если бы не дурной обычай знатных мусульманок безобразно белить и румянить щёки, разрисовывать брови и подводить глаза, отчего самое красивое лицо напоминает маску клоуна.

Костюм Изаргэль-ханум был богат, но крайне безвкусен. Вокруг бёдер, обвисая спереди, было надето несколько шёлковых коротких до колен юбок, одна поверх другой, придававших татарке вид балерины. Белая кисейная рубаша, затканная мишурой, была так коротка, что едва доходила до талии, так что между подолом её и поясом юбки обнажалось тело. Поверх рубашки была надета алая, бархатная кофточка, вся расшитая золотом, с прорезами на боках и кармашками, где лежали зеркальце, притирания и амулеты. Обнажённые ноги были обуты в коротенькие,ходящие до щиколотки джуранки, связанные из шёлковых очёсков. Волосы заплетены в бесчисленное множество косичек, висевших со всех сторон, как чёрные змеи.

На голове красовалась небольшая кругленькая бархатная, расшитая золотом и украшенная бирюзой шапочка, поверх которой был укреплён идущий от шеи по подбородку ожерельем кусок кисеи. На обнажённой груди, на шее, на голове болтались и звенели повешенные в несколько рядов золотые монеты и жемчужные нити. В ушах сверкали большие бриллиантовые серьги, руки почти от плеча были унизаны золотыми браслетами, а пальцы не сгибались от множества колец, покрывавших их сплошь до ногтей, выкрашенных в желтую краску. Мать Хайлар-хана, одетая так же, как и её невестка, была уже старуха лет за пятьдесят и выглядела совершенной дурочкой. Она бессмысленно таращила свои выпуклые серые глаза



и поводила головой, как механическая кукла. Её раскрашенное, как у арлекина, лицо ничего не выражало, кроме тупого пресыщения и непомерной чванности. Своим неподвижным лицом, выпученными глазами и величественно расплывшейся фигурой она напоминала китайского божка. На учтивый поклон Лидии и Ольги старуха не сочла нужным ответить хотя бы кивком головы и с идиотической бесцеремонностью во все глаза принялась их разглядывать. Зато Изаргэль-ханум оказалась в высшей степени любезной. С весёлой улыбкой жестом руки она пригласила их занять место подле себя, подсунула им под локоть мягкую мутаку и тут же принялась быстро и весело что-то им сообщать, но, видя по их недоумевающим лицам, что они её не понимают, ханша добродушно рассмеялась.

— Кэрош, кэрош, ха, кэрош! — несколько раз повторила она, вся так и колыхаясь от хохота.

Глядя на её непринуждённую весёлость, Лидия и Ольга невольно тоже улыбнулись. В это время служанка, очень хорошенькая девочка лет двенадцати, внесла на большом подносе крошечные чашечки кофе и бесчисленное множество хрустальных блюдец с вареньем.

— Праашу! — нараспев произнесла Изаргэль-ханум и снова неудержимо расхохоталась.

Лидии положительно начинала нравиться эта весёлая жизнерадостная толстушка, показавшаяся ей очень доброй, но случившееся вскоре происшествие сразу вывело молодую девушку из её заблуждения, представив в настоящем свете кажущееся добродушие ханши. Когда кофе был выпит, убрать пустую посуду вошла другая девушка, постарше первой, с бледным, грустным, смеженным лицом. Молча составив чашки и блюдечки из-под варенья на поднос, она направилась к выходу, но подстрекаемая любопытством уже у самых дверей ещё раз оглянулась на странных, невиданных ею русских женщин. Она так засмотрелась на них, что не заметила подвернувшейся ей под ноги подушки, споткнулась об неё и чуть не упала, причём одна из чашечек покатилась на пол и, ударившись о стенку, разбилась.

— Геть-бурда⁵³! — самым спокойным и добродушным тоном произнесла Изаргэль-ханум.

Девочка задрожала всем телом, но повиновалась. Продолжая любезно улыбаться, и по-прежнему что-то рассказывать своим гостям, Изаргэль-ханум не оглядываясь, неторопливым жестом вытащила откуда-то длинную булавку с бирюзовой головкой и, не смотря на девочку, глубоко запустила остриё ей в бок. Девочка вздрогнула и слегка ахнула, но кричать и плакать не посмела. Стиснув зубы и смигивая наворачнувшиеся на глаза слёзы, она поспешила подобрать черенки чашки и проворно шмыгнула из комнаты. На Лидию Оскаровну и её сестру этот случай произвёл неприятное впечатление, и они поспешили распрощаться с ханшами. Выходя из комнаты, Лидия невольно воскликнула:

— Какая мерзость и подлость! А ведь какие-нибудь сорок лет тому назад такие же ужасы творились и у нас, при крепостном праве!



Когда они вернулись от ханш к себе в комнату, они застали там Щербо-Рожновского.

— Где вы пропадали? — встретил он их вопросом. — Обедать пора. Хайлар-хан прислал сказать, что ввиду болезни не может обедать с нами за общим столом и просит простить его. Вместо себя он прислал своего секретаря Алакпер-хана и ещё какого-то важного перса. Ну, идёте скорей, смертельно есть хочется.

Обед был приготовлен в той же круглой зале, где утром пили чай, и состоял он из неизменного плова, чахартмы, люля-кебаба, шашлыка, жареных цыплят и сладостей в виде кишмиша, миндаля, леденцов, паточных конфет и варенья. Все кушанья были разложены по тарелкам и расставлены на нескольких подносах. Гости разделились на группы, и перед каждой из них стояло по подносу с несколькими сортами кушаний. Приборов было мало, и то только для русских; татары Алакпер-хан, Муртуз-ага и ещё третий старик ели руками с помощью кусочков лаваша, из которого они устраивали род лодочек и этими лодочками захватывали не только мясо и рис, но и соус из поджаренного масла с поджаренным в нём изюмом и разными приправами.

Лидию очень изумило, что при колоссальном богатстве Хайлар-хана обеденные приборы были самого дешёвого сорта: обыкновенные мельхиоровые ложки, железные ножи и вилки с деревянными черенками. К тому же всё это было страшно запущено, изогнуто, измято и поломано. Она не утерпела и поделилась своими мыслями с Щербо-Рожновским.

— Ничего нет удивительного, — ответил тот, — зачем хану приборы, когда он ест руками?

Несмотря на довольно-таки неряшливое приготовление, обед оказался, против ожидания, весьма вкусным, особенно понравился всем плов, сваренный из какого-то особенного, продолговатого, крупного, молочного вкуса риса.

До обеда и после него все присутствующие свершили омовение рук. Для этой цели прислуживавший у стола мальчик принёс старинный серебряный, чеканный кунган с тёплой душистой водой и богато расшитые по краям золотом и шёлком полотенца. После обеда, ближе к вечеру, когда жара спала, Воинов и Щербо-Рожновский, по приглашению Муртуз-аги, отправились с визитами к остальным ханам, проживавшим в Судже. Таких, кроме Халил-хана, дяди Хайлар-хана, было четыре человека, трое — двоюродные братья Хайлар-хана и один — племянник его.

Лидия и Ольга, узнав о том, что все дворцы ханов построены по одному шаблону, с той только разницей, что одни из них были богаче, другие — беднее, отказались идти «Христа славить», как выразилась Лидия, предпочитая остаться дома и отдохнуть. Муртуз-ага посоветовал им вечером выйти в сардарский сад, где, по его словам, бывает по вечерам очень хорошо.

Они так и сделали. Когда солнце начало склоняться к закату, Лидия и Ольга незаметно вышли в сад и пошли по крайней густой аллее, мимо высокого камен-



ного забора. Вечер был прекрасный. Слегка прохладный ветерок колебал чистый, прозрачный воздух, насыщенный ароматом цветов и фруктовых деревьев. Тишина была мёртвая, неугомонное пернатое царство, утомившееся дневной суетой, давно уже дремало среди ветвей. Только изредка тревожно зачирикает в густой чаще испуганная чем-нибудь неведомая пичужка или завозятся драчливые, беспокойные воробьи, но тотчас же и утихнут, и лишь лёгкий шелест листьев да унылый, неизвестно откуда доносящийся крик филина нарушают глубокую, чарующую тишину...

Ночь наступила, как всегда на юге, сразу, без сумерек. Солнце закатилось, на его место на тёмно-синее, недостижимое, прозрачное небо всплыла яркая луна и озарила таинственно-матовым светом вершины деревьев, прогалины и полянки. Водоём посреди сада заблестел, как серебро, а в струях фонтана засверкали мириады голубоватых огоньков. Фантастические тени легли вдоль дорожек, поползли по стенам, пересекая одна другую, свиваясь и сплетаясь в причудливые гигантские узоры. Цветы, издававшие раньше тонкий, ароматический запах, теперь благоухали со всей своей сладострастной мощью, они, казалось, ожили, зашептались между собой, открыли вёдра своих чашечек, из которых нежными, невиданными струйками полился в природу неотразимый опьяняющий яд.

...E voi, o fiori,
Dall' olezzo sottile,
Vi faccia tutti aprire,
La mia man maladetta
Per voi l'opra d'averuo sia compita.
Fruite di tendare
S'il cordi Marghereta! ¹

Сколько глубокого понимания тайны природы и человеческой души в их постоянном взаимодействии таится в этих дивных строках.

Нагулявшись до усталости по тенистым аллеям уснувшего сада, Лидия и Ольга сели на ступеньку дворцовой террасы и обе задумались. Им было как-то особенно хорошо, спокойно на душе и в то же время грустно. Рой неясных воспоминаний, туманных образов, обрывки мыслей, целый хаос ощущений всецело овладел ими, убаюкивая и вместе с тем слегка раздражая, время утратило своё значение, прошлое, настоящее, будущее слилось в одно представление чего-то неясного, чего-то когда-то пережитого.

— Ольга, — прошептала Лидия, мечтательно склоняя свою голову на руку, — мне кажется, будто бы мы с тобой когда-то уже переживали эту самую ночь в такой же самой обстановке, такая же светлая, яркая луна, такой же сад, такие же восточные оригинальные здания... Словом — всё то же, всё до мельчайших подробностей. Даже аромат такой же, сладостно-раздражающий, смесь разных неопределённых запахов...

¹ А вы, цветы с тонким благоуханием, расцветите пышнее под моей проклятой рукой, смутите окончательно сердце! (ит.)



— Можешь себе представить, и я ощущаю нечто подобное. Глубоко-глубоко, где-то там, в тайниках моей души, вопреки здравому смыслу, таится твёрдое убеждение в том, будто бы я когда-то всё это видела, пережила, перечувствовала. Как и чем объяснить это странное ощущение?

— Не знаю... Я где-то читала об этом, но теперь положительно не помню!

Обе замолчали и долго сидели, озаряемые серебристым светом луны, убаюкиваемые дыханием тёплой южной ночи.

— Ну, однако, и спать пора! — сказала Ольга. — Пойдём, Лидия. Я думаю, уже поздно!

— Иди... — с оттенком лёгкого неудовольствия на то, что сестра своими словами нарушила её созерцательный покой, ответила Лидия. — Мне спать ещё не хочется, и я посижу ещё немного!

— Как хочешь, а я иду спать! — сладко зевнула Ольга и, поцеловав Лидию в лоб, ленивым шагом направилась в дом.

В сардарском саду

Оставшись одна, Лидия поднялась со ступеней террасы и медленным шагом пошла по крайней, погружённой в тень аллее, огибавшей весь сад.

Отойдя довольно далеко от дома, она вдруг услышала за стеной лёгкий шорох, и одновременно с этим чья-то тёмная фигура проворно и мягко перескочила невысокую в этом месте ограду.

Лидия испуганно отшатнулась в тень кустов и замерла с тревожно бьющимся сердцем.

— Простите, пожалуйста, — раздался подле неё тихий знакомый голос, — я вас, кажется, испугал?

— Ах, это вы, Муртуз-ага, — обрадовалась девушка, — а я уже думала, не разбойник ли.

— Ну, разбойник сюда не посмеет пробраться, кругом дворца стража, и всякий, кто бы вздумал прошмыгнуть через ограду, был бы немедленно убит.

— А вот вы же перелезли и живы... — усмехнулась Лидия.

— Я — дело другое. Мой дом рядом с дворцом, я перескочил сюда из своего сада, за этим забором ведь моя земля.

— Ах, вот что! — произнесла девушка и замолкла. С минуту оба хранили молчание.

— Страшная ваша страна! — заговорила Лидия, как бы продолжая вслух прерванные мысли. — На каждом шагу убийства, жизнь человеческая нипочём, в каждом встречном можно предполагать убийцу. Я просто не понимаю, как можно жить в такой стране!



При последних словах молодой девушки неуловимая скорбная тень пробежала по лицу Муртуз-аги.

— Вы нас не любите... — уныло произнёс он.

— Кого — нас? — прищурилась Лидия.

— Персиян.

— А вы персиянин? Полноте, Муртуз-ага, для чего мы будем морочить друг друга? Ведь вы же сами сознались мне, что вы не персиянин.

— А разве для вас не всё равно, кто я такой? — горько усмехнулся Муртуз-ага.

— Если хотите знать правду, не всё равно! — горячо заговорила Лидия. — Узнав вас ближе, я убедилась, что вы человек не вполне обыкновенный, в вас есть нечто, возбуждающее симпатию. Вместе с тем я вполне ясно вижу, как вы глубоко несчастны. Не спорьте, вы несчастны и несчастны давно, наверно с того самого дня, как вы покинули вашу родину, по которой вы тоскуете, хотя тщательно скрываете это. Я не знаю причин, заставивших вас бежать в эту дикую страну, но мне почему-то кажется, что как бы эти причины не были серьёзны, они не исключают для вас возможности вернуться к прежней жизни. Нет ли тут какого-нибудь рокового недоразумения, неосновательных опасений, которые могли бы рассеяться под влиянием дружеского участия... Из этого видите, что вопрос идёт не о простом любопытстве.

— От всего сердца благодарю вас!.. — взволнованным голосом ответил Муртуз-ага. — Не умею сказать, как ценю я ваше участие ко мне... Да, вы правы, я глубоко, глубоко несчастен с того самого дня, когда очутился в роли безродного бродяги. Персия приютила меня, дала мне некоторое положение, дала богатство, но счастья не могла дать. Двадцать лет я не имел ни одной счастливой минуты и только сегодня, услышав от вас слово участия, почувствовал, что невыразимо счастлив... первый раз за двадцать лет!.. К сожалению, вы ошибаетесь, предполагая, будто в моей судьбе играют роль какие-нибудь неосновательные опасения. На моё горе, я не заблуждаюсь, говоря о невозможности для меня вернуться на родину... Если бы мне угрожала только смерть, я бы, пожалуй, не испугался, бывают минуты, когда мне жизнь в тягость, и я охотно бы рискнул ею в надежде на удачный исход, но мне грозит нечто хуже смерти. Долгие годы заточения в далёкой, ужасной стране, где солнце почти не светит, где ночь тянется убийственно долго, где три четверти года лежит глубокий, холодный снег, поют вьюги и волки. И в этой страшной, особенно для меня, южанина, стране я принуждён буду влачить своё существование, окружённый ворами, убийцами, преступниками, под постоянным опасением подвергнуться побоям от руки озлобленных, беспощадных зрителей, под угрозой, занесённой над голову плети!..

Он закрыл глаза руками, и по всему его телу пробежала нервная дрожь.

— Но кто же вы такой, наконец? — с ужасом шёпотом произнесла Лидия, в волнении наклоняясь к самому лицу Муртуз-аги. — Если, по вашему мнению, вам угрожает неминуемая каторга, то какое ужасное преступление совершено вами?





— Я — убийца... Я убил, зарезал своего доброжелателя, своего лучшего друга и вместе с тем начальника... Умоляю, не расспрашивайте больше! Я не могу, не могу ничего больше сказать... Прощайте!

Сказав это, Муртуз-ага торопливо направился к забору и с ловкостью кошки перепрыгнул его, исчез из глаз поражённой девушки.

Тревоги

— Лидия, что с тобой? — с тревогой в голосе спрашивала Ольга Оскаровна сестру месяц спустя после их поездки в Судаку. — Тебя узнать нельзя, ты стала какая-то странная, задумчивая, нервная, раздражительная. Здорова ли ты, мой друг? Или тебе очень скучно у нас. Но ведь первое время тебе здесь нравилось.

— Ах, почём я знаю, — нетерпеливо тряхнула головой Лидия, — что со мной, вернее, что ничего, я здорова, а что у меня на душе, я сама не понимаю. Прошу только об одном — не обращать никакого внимания!

— Легко сказать, не обращать внимания, когда ты так страшно изменилась. Похудела, побледнела, можно подумать, что ты влюблена... Впрочем, Аркадий Владимирович не на шутку убеждён в этом...

— В чём в этом? — резким тоном спросила Лидия. — В чём убеждён Аркадий Владимирович?

— В том, что ты влюблена!

— Не в него ли?

— То-то и беда, что не в него, а в Муртуз-агу!

Лидия стремительно вскочила со стула, на котором сидела. Лицо её вспыхнуло.

— Ваш Аркадий Владимирович дурак! — гневно сверкнув глазами, крикнула она и даже ногой притопнула от негодования. — Передайте ему, чтобы он больше не смел мне на глаза показываться, довольно, нагладелась я на его пошлую физиономию, больше не желаю! Так и передайте!

— Лидия, опомнись, что с тобой? — всплеснула руками Ольга. — Ты сумасшедшая, право сумасшедшая. За что ты так на бедного Аркадия Владимировича? Он любит тебя, на него смотреть жалко, весь он исстрадался, чем он виноват перед тобой? Вспомни, как вначале ты хорошо относилась к нему, а теперь такая резкая и, главное дело, незаслуженная перемена... Знаешь, воля твоя, я сестра тебе, люблю тебя, но я всецело осуждаю твоё поведение, оно положительно недостойно умной, сердечной девушки, какой я тебя считала до сих пор... Спроси Осипа Петровича, и он тебе скажет, как ты виновата перед Воиновым!

— Ну и пусть! — упрямо произнесла Лидия, отворачиваясь к окну, и сквозь зубы добавила: — Вот ещё, адвокаты выискались!

Ольга Оскаровна посмотрела на сестру и пожала плечами.



— Знаешь, пожалуй, теперь и я готова признать, что ты действительно равнодушна к Муртуз-аге, но в таком случае, в таком случае... — она затруднилась подобрать подходящее выражение.

— Что в таком случае? — быстро обернулась Лидия и, скрестив на груди руки, пристальным взглядом поглядела в лицо сестры.

— В таком случае, это даже не безумие, а какая-то психопатия, извращённость чувств, безнравственность, если хочешь знать! — в крайнем раздражении закричала Ольга Оскаровна. — Кто такой Муртуз-ага? Ну, сама подумай, что это за личность. Татарин, мусульманин... Впрочем, даже и не татарин, а, может быть, беглый арестант, вор, убийца или фальшивомонетчик. Кто его знает, откуда он родом и какое у него прошлое!

— Почему же непременно вор и фальшивомонетчик? — совершенно спокойным тоном спросила Лидия, не спуская пристального взгляда с взволнованного лица Ольги.

— Да ведь не из-за добродетелей он бежал из России, принял мусульманство и поселился в Судже? А тебе, наверно, известно, что Муртуз-ага из России? Положим, не наверно, верного о нём никто ничего не знает, но так говорят!

— Мало ли что говорят, а я слышала, будто бы он из Турции!

— Может быть, и из Турции, почём я знаю, во всяком случае личность тёмная, неизвестно даже, какой он народности: армянин, турок, грек, грузин, жид! Никто ничего не знает. Вернее всего армянин.

— Нет, не армянин!

— А ты почём знаешь?

— Знаю!

— Гм... Странно, однако, и на русского не похож.

— Он не русский!

— Ты и это знаешь?

— Знаю!

— От кого же ты это знаешь?

— От него самого!

— Выходит, что ты с ним в большом приятельстве, раз он с тобой откровенничает! — поморщилась Ольга. — Ну, Лидия, смотри — берегись, такая дружба до добра не доведёт!

— Не понимаю, чего ты так волнуешься? — пожала плечами молодая девушка. — Ведь если на то пошло, вы все с ним знакомы — и ты, и твой муж, и сам Воинов. Он бывал у вас в доме, вы с ним любезничали и на охоте, и здесь, и в Судже, находили его интересным, интеллигентным, оригинальным, не гнушались его обществом и вдруг, откуда ни возьмись, такая щепетильность и подозрительность. Теперь он у вас и фальшивомонетчик, и вор, и арестант, и всё что хотите!



— Ах, Лидия, ничего-то ты не понимаешь! — сокрушённо вздохнула Ольга. — В этой полудикой стране, окружённые бог знает кем, мы иногда поневоле снисходительно смотрим на завязывающиеся у нас знакомства, но эти знакомства, в сущности, ни к чему не обязывают. В свой интимный кружок и в свою интимную жизнь мы никого из этих татар и армян, комиссионеров, подрядчиков, торговых агентов, купцов и т.п. господ не допускаем. Сегодня какой-нибудь Аслам-бек у нас в гостях чай пьёт, а завтра он может попасться с контрабандой, и Осип Петрович с лёгким сердцем прикажет его бесцеремонно обыскать с ног до головы и затем под конвоем отправить в полицию для привлечения к ответственности и, взыскания с него штрафа. Кстати, ты знаешь, Воинов уже собрал точные сведения. Оказывается, Муртуз-ага в прошлом и позапрошлом году переправлялся тайно на нашу сторону. Спрашивается, для чего он это делал? Если у него были дела на русской стороне, то по делу он всегда мог беспрепятственно переправляться днём на пароме, открыто, через таможенную, между тем он предпочитает переезжать границу по ночам, в неуказанных местах, тайно. Из этого можно заключить, что он занимается или контрабандой, или другим каким предосудительным делом. Воинов убеждён в том, будто бы он и теперь продолжает делать то же, и решил проследить его в надежде поймать на месте преступления.

— Что же, пускай! — презрительно пожала плечами Лидия. — Но только мне сдаётся, не такому губошлёпу, как ваш Воинов, изловить Муртуз-агу, если он и действительно захочет ездить на нашу сторону!

— Давно ли ты Аркадия Владимировича считала героем, а теперь он у тебя уже губошлёп?! Скорее же! — укоризненно покачала головой Ольга.

Лидия ничего не отвечала, но в душу к ней закралось беспокойство и сомнение.

«Не может быть, чтобы Муртуз-ага занимался контрабандным промыслом, — размышляла она про себя, — это так мало похоже на него! Но в таком случае, зачем он ездил в Россию тайно через границу?.. Не ездит ли он и теперь? Хорошо было бы повидать его и предупредить!».

Так думала молодая девушка, теряясь в догадках и сомнениях.

Наступила зима. Малоснежная южная зима, с морозными ветренными ночами, с тёплыми, яркими, солнечными днями, когда в полночь мороз достигает иногда пятнадцати и более градусов, а в полдень градусник показывает два-три градуса тепла. Снег лежит только на полях, где никто не ходит, да и то таким тонким слоем, что пасущиеся всю зиму на вольном воздухе овцы легко разгребают его своими копытцами в поисках прошлогодней засохшей травы. На дорогах же и караванных тропах снега нет и в помине.

В один из таких погожих дней Лидия, одетая в лёгкую шубку и боярскую шапочку, особенно шедшую к её красивому, разрумившемуся на лёгком морозе личику, вышла на берег Аракса к парому. Благодаря зимнему времени движение пассажиров значительно уменьшилось, но товары шли по-прежнему безостановочно.



Лидия особенно любила следить за проходящими караванами верблюдов. Спесиво, подняв голову, с отвислой нижней губой и чёрными, как агат, блестящими, огромными глазами, тяжело колышась всем своим уродливым туловищем, медленно и величаво выступают огромные дромадеры, уныло погромыхивая колоколами. Татары очень любят украшать своих верблюдов, вследствие чего сбруя их, если и не изящна, то в достаточной мере пестра и оригинальна. На морды надеваются недоуздки из широкой тесьмы, с нашитыми на ней раковинами, цветными камешками, крупными стеклянными бусами белого и голубого цвета. Недоуздки украшены кистями, бахромой, лентами и высоким султанчиком. На спину, круп и бока верблюдов набрасываются, поверх войлочных попон, пёстрые, узорчатые ковры и полосатые паласы, концы которых спускаются почти до земли.

Глядя надвигающиеся мимо неё бесконечные караваны, прислушиваясь к стону колоколов, Лидия невольно припоминала изученное ею ещё в детстве чудное стихотворение Лермонтова «Три пальмы» и должна была сознаться, что лучшей картины идущего каравана, чем та, какую нарисовал великий поэт, нельзя придумать. Только, к сожалению, около этих караванов не гарцевал воспетый поэтом араб на прекрасном вороном коне. Вместо него лениво брели, почернелые от грязи полу-дикие звероподобные черводары⁵⁶, в безобразных косматых папах и жалком рубище, и тащился караван-баши, не имеющий ничего общего с гордым наездником аравийской пустыни. Это был обыкновенно, толстый, пузатый татарин или армянин в засаленной черкеске, верхом на смиренном катере или добронравной, истощённой за долгий путь клячонке. Он медленно плёлся сзади своего каравана, покуривая из длинной трубочки отвратительный турецкий табак, и с бессмысленным выражением в лице флегматично поплёвывал по сторонам.

Смертельная опасность

Подойдя к реке, Лидия остановилась на крутом берегу и рассеянным взглядом стала смотреть на глухо грохочущие тёмно-свинцовые волны. Ей нравилась эта буйная, непокорная река, усеянная торчащими из воды острыми камнями, о холодную грудь которых в бессильной ярости целые столетия разбивается клокочущая пена волн.

В это время к противоположному берегу подъехало трое всадников. Лидия сначала не обратила на них внимания, но когда паром уже был на середине реки, она, случайно взглянув в его сторону, не без волнения узнала в стоящем впереди всех Муртуз-агу. Он сидел на рослом рыжем жеребце, который, очевидно, испуганный рёвом реки, нервно топтался на месте, нетерпеливо тряс головой, прижимал уши и выказывал стремление соскочить с гудящего и гремящего под его ногами парома. По мере приближения парома к берегу росло нетерпение горячего коня, и когда паром, наконец, причалил и татары-паромщики кинулись настилать сходни, натерпев-



шаяся страху лошадь неожиданно взбесилась. Не слушая повода, она взвилась на дыбы, присела на задние ноги и бешеным скачком ринулась на берег. Лидия видела, как в воздухе промелькнула тёмная масса коня, и вслед за тем раздался всплеск воды от тяжело упавшего тела. Она вскрикнула и подбежала к обрыву. Внизу под берегом, тщетно стараясь вскарабкаться на его почти отвесную крутизну, билась лошадь Муртуз-аги, но самого его не было видно. Лидия бросила растерянный взгляд на паром и увидела, как сопровождавшие Муртуз-агу курды проворно сбрасывали с себя оружие и лишнюю одежду. Ещё мгновение — и оба они уже были в реке, нырнув раза два, они появились снова на поверхности воды, но уже гораздо ниже парома и быстро поплыли к берегу. Рассекая воду правой рукой, левой они волочили за собой что-то длинное, тёмное, бесформенное. Находившиеся на берегу татары и таможенные солдаты — кто с верёвкой, кто с шестом — устремились им на помощь. Лидия тоже бросилась туда. Когда она приблизилась, курды были уже на берегу, они стояли с посиневшими лицами, дрожа всем телом, но такие же смелые и спокойные, как всегда. На земле, раскинув руки, с запрокинутой головой лежал Муртуз-ага, бледный и неподвижный, с закрытыми глазами и крепко стиснутыми зубами. Поперёк высокого белого лба шла глубокая рана, из которой обильно текла кровь.





— Что же вы встали? — громким, начальническим тоном закричал Сударчиков на столпившихся татар. — Бери, неси скорей, хоть в казарму, что ли, а ты, Иванов, — обратился он к своему помощнику, — живо беги за фельдшером, пусть поспешает!

Привыкшие к беспрекословному повиновению татары подхватили Муртуз-агу и бегом потащили его в находящуюся недалеко от берега казарму.

Когда его унесли, курды, несмотря на образовавшуюся на них от намокшей одежды ледяную кору, поспешили на выручку коня Муртуз-аги, но умное животное уже само позаботилось о своём спасении. Убедившись, что в том месте, где он пытался вскарабкаться, берег слишком крут, жеребец поплыл вниз по течению к видневшейся вдали отмели, через минуту он уже отряхивался на берегу, до мозга костей прозябший от столь неожиданной, хотя и по своей вине полученной ледяной ванны.

Перепуганная насмерть случившимся на её глазах происшествием и, не зная, жив ли Муртуз-ага или нет, Лидия хотела было тоже проскользнуть в казарму, но строгий блюститель порядка Сударчиков остановил её.

— Помилуйте, сударыня, — пробасил он над самым её ухом, загораживая дверь, — нешто вам, барышне, прилично идти сюда? Здесь солдаты живут, а к тому же мы сейчас раздевать его начнём, так вам смотреть на это вовсе не пристало!

— А как вы думаете, Сударчиков, он жив? — тревожным голосом спросила Лидия, стараясь через его плечо ещё раз взглянуть на Муртуз-агу, которого солдаты, уложив на койку, уже торопливо раздевали.



— Должно, жив! — успокоил её старик. — Они, татарва эта самая, до страсти живучи, ничего им не делается!

В эту минуту мимо их прошмыгнула тощая сутуловатая фигура служащего при таможене фельдшера Конопатова, в сером потёртом пиджаке и в гражданской с бархатным околышком фуражке.

Сознавая, что ей действительно не место вертеться около казармы таможенных досмотрщиков, и в то же время чрезвычайно беспокоясь за судьбу Муртуз-аги, Лидия решила бежать скорее домой и попросить Осипа Петровича, чтобы он сходил и узнал обо всём подробно и обстоятельно. Она так и сделала.

— Ну что, как, что с ним, есть какая-нибудь опасность? — такими вопросами встретили обе сестры вернувшегося из казармы Щербо-Рожновского.

Тот пожал плечами.

— Бог его знает! Конопатов уверяет, будто бы это всё пустяки, и через неделю Муртуз-ага будет здоров, но насколько такой диагноз верен — трудно сказать. Я, по крайней мере, нахожу его рану опасной. Очевидно, падая с конём в воду, он ударился или о торчащий камень, или о седло, от сильного удара лишился сознания и наверно бы пошёл ко дну, если бы не его курды. Вот, молодцы-то, отважный народ, не побоялись ни течения, ни холода! С такими телохранителями не пропадёшь.

— А теперь он как, пришёл в сознание?

— Пришёл, его даже унесли из казармы.

— Куда?

— К нашему комиссионеру Али-беку, который предложил Муртуз-аге поселиться у него, пока он не выздоровеет. Там ему будет прекрасно.

В тот же день вечером за чаем Осип Петрович, обращаясь к Лидии, смеясь, воскликнул:

— А ведь недаром французы говорят, что во всяком происшествии надо искать женщину. Вот и в сегодняшней истории с Муртуз-агой виновницей является престелстная дщерь Евы и притом не кто иная, как вы, глубокоуважаемая Лидия Оскаровна.

— Я, каким это образом? — удивилась девушка.

— Самым простым. Вы стояли на берегу в ту минуту, когда паром подходил к пристани. Муртуз-ага загляделся на вас и на мгновение забыл о своей лошади, которая и выкинула ему курбет, едва-едва не отправивший его к праотцам.

— Почему вы знаете о том, будто бы Муртуз-ага на меня загляделся? Всё вы сочиняете! — с лёгким неудовольствием произнесла девушка.

— Почему? Ах, мой Создатель, да от самого Муртуз-аги, рассказавшего мне об этом. Я недавно заходил навестить его и, между прочим, спросил, как мог случиться такой казус с ним, прославленным наездником. Он улыбнулся и отвечал: «Это моя вина, я увидел вашу родственницу, барышню Лидию, и после этого мои глаза не могли смотреть ни на что, как только на неё. Я забыл, где я, забыл о своей



лошади, которая, как только мы въехали на паром, принялась беситься от страха, так как в первый раз в жизни переезжает реку».

— Ну, хорошо, хорошо, — поспешила прервать Щербо-Рожновского Лидия, — скажите лучше, как его здоровье?

— Ничего особенного. Али-бек пригласил татарского хакима, тот сидит подле Муртуз-аги, поит его крепким чаем с коньяком, а на голову кладёт холодные ароматические примочки. Я предложил было послать в Нацвалы за доктором, но все трое об этом не хотят и слышать, находя своего хакима более сведущим и опытным.

— Я завтра навещу его! — решительно произнесла Лидия.

Осип Петрович комическим жестом почесал себе затылок.

— Ото буде нашим шах-абаддам ще брехаты, мабудь на цилый рок хватить!

— Что ж тут предосудительного, если я пойду навестить больного?

— Оно у вас там, в Москве, може даже и дуже добре, а тилько здесь, в Шах-Абаде, люди добрые злякаются. Дивчина молодесенька, гарнесенька пидеть в хату к бусурманину дывыться, як вин у в постели лыжыть расхристаний. Добрая штука, то вже и я кажу, добрая штука!

— Конечно же, Лидия, — вмешалась Ольга, — разве это возможно! Будь ещё он человек свой, сослуживец, ну тогда куда ни шло, все вместе пошли бы навестить больного, но идти к малознакомому татарину, лежащему в постели, в доме другого татарина — это, прости меня, безумие. Довольно того, что Осип Петрович будет каждый день навещать его и рассказывать нам обо всём.

— Вот уж не думала, — капризно надула губки Лидия, — чтобы в каком-нибудь Шах-Абаде, на краю света, так строго соблюдались законы светского приличия!

Однако на сей раз она решила послушаться совета сестры и зятя и отказалась от задуманного ею посещения Муртуз-аги, тем более что Щербо-Рожновский заверил их обеих, будто бы не пройдёт и двух-трёх дней, как он выздоровеет настолько, что будет в состоянии сам прийти к ним.

Ночь над пропастью

Осип Петрович не ошибся — на третий день к вечеру, как раз к тому времени, когда у Щербо-Рожновских подавался вечером чай, пришёл в сопровождении самого Щербо-Рожновского Муртуз-ага. Он был бледен и, хотя держался бодро, но, очевидно, чувствовал себя ещё очень слабым. Голова его была повязана персидским шёлковым платком с расшитыми концами, красиво падавшими на плечи и придававшими его лицу какое-то особенное, странное выражение. Одет он был в белую шерстяную аббу, чрезвычайно шедшую к его прямому стройному стану и всей художавой фигуре.

«Какой он сегодня интересный», — невольно подумали Ольга Оскаровна и Лидия, весело здороваясь с Муртуз-агой.



— Я пришёл, — заговорил он, опускаясь на предложенный ему стул, — чтобы поблагодарить вас за ваше участие. Осип Петрович был так добр, навещал меня каждый день и говорил, что вы интересовались моим здоровьем. От всего сердца приношу вам мою признательность! — он приложил руку к сердцу и низко наклонил голову, затем продолжал, обращаясь к Лидии: — А перед вами я чувствую себя страшно виноватым, я, говорят, очень испугал вас!

— Если верить Осипу Петровичу, то во всём этом происшествии виновницей являюсь я, — засмеялась Лидия, — а потому не вам у меня, а мне у вас надо просить прощения!

Муртуз-ага с недоумением посмотрел на Лидию, потом на Осипа Петровича, но, уловив коварную усмешку на его лице, догадался и в свою очередь улыбнулся.

— Я знал одного старого хана, — сказал он, по восточному обычаю прибегая к притче, — который любил глядеть на солнце и через то ослеп. Кто-то из друзей дома стал при нём обвинять за это солнце, но хан улыбнулся и сказал: «Ты не прав, мой друг, не солнце виновато в моей слепоте, виноват я, что осмелился глядеть своими слабыми глазами на яркое светило!».

— Ай да Муртуз-ага, — засмеялся Осип Петрович, — да вы настоящий поэт, не ожидал от вас!

— Вы умеете льстить как настоящий перс! — делая ударение на последних словах, сказала Лидия. — Мне, признаться, эта черта не особенно по сердцу. Скажите лучше, как чувствуют себя после такой холодной ванны ваши курды?

— О, им это нипочём, — рассмеялся Муртуз-ага. — Я знаю один случай, когда один курд, спасаясь от турецких солдат, раненый, не шевелясь, просидел зимой более часа в воде по самое горло и затем ещё принуждён был пройти несколько вёрст до своего селения. Курд этот до сих пор жив и прекрасно себя чувствует!

— Вот-то лошадиное здоровье! — изумился Осип Петрович.

— Ну, нет, у лошади здоровье далеко не такое крепкое. Ведь мой жеребец пропал!

— Как пропал? — изумилась Лидия, большая любительница лошадей. — Такой чудный конь!

— Дураки мои люди, — с досадой махнул рукой Муртуз-ага, — им надо было, как только лошадь вылезла из воды, сесть на неё и хорошенько прогнать вскачь, до сильной пены, и только после этого поставить в конюшню где-нибудь в угол, подальше от дверей. А они прямо отвели коня в караван-сарай и поставили на сквозном ветру. Он, конечно, в тот же день заболел, а сегодня утром издох!

— Ах, какая жалость! — воскликнула Лидия. — Я, хотя и не успела хорошенько рассмотреть его, но мне он очень понравился, такая масть оригинальная, точно кофе со сливками!

— Конь хороший, — вздохнул Муртуз-ага, — это была лучшая моя лошадь. Я, зная, какая вы любительница, нарочно приехал на ней, чтобы показать вам её!



— Cherchez la femme ¹, — захохотал Щербо-Рожновский.

— Господи! — с комическим ужасом воскликнула Лидия. — Стало быть, и в гибели вашей лошади я тоже виновата!

Все весело рассмеялись.

Вечер прошёл очень оживлённо. Муртуз-ага рассказал несколько случаев из своей жизни, где ему так или иначе угрожала гибель. Так, однажды проезжая ночью в горах, конь его сорвался в пропасть, сам же он, непонятным для него образом, как-то успел соскочить и, хотя тоже покатился вниз, но на пути зацепился за кусты горной розы.

— Была тёплая, безлунная ночь, — рассказывал Муртуз-ага, — я лежал на спине, стиснутый густым кустарником, боясь шевельнуться, чтобы неосторожным движением не поломать поддерживающих меня ветвей, которые и без того предательски гнулись под тяжестью моего тела. Прямо передо мной возвышалась крутая, почти отвесная стена, по которой я катился. В темноте я не мог ничего разглядеть, мне не видны были даже края обрыва, я только чувствовал, что внизу подо мной бездонная пропасть, усеянная острыми камнями, о которые я неминуемо должен буду разбиться, если мой куст не выдержит и обломится. Всего ужаснее было то, что за темнотой я не мог предпринять ничего для моего спасения, и принуждён был терпеливо ожидать рассвета. Никогда время не тянулось для меня так медленно, как в ту ужасную ночь, и немудрено. С каждой следующей минутой я мог ожидать полететь вниз... Много передумал я за эти три-четыре часа, проведённых мной в моей воздушной качалке! Наконец небо начало слегка светлеть, поредели ночные тени и из мрака выступили скрытые дотоле очертания гор. Я увидел себя лежащим среди кустарника на небольшом выступе, подо мной зияла глубокая пропасть, ещё погружённая в ночную тьму, надо мной высилась почти отвесная каменистая скала, по стенам которой уже скользили первые робкие солнечные лучи. Осмотревшись настолько, насколько позволяло мне моё положение, я принялся усиленно раздумывать о своём спасении. Вдруг я услышал где-то близко-близко над головой пронзительный крик, и в лицо мне пахнуло холодом, точно от большого опахала. В то же время я увидел огромную тень двух распластанных крыльев: это гигантских размеров орёл, чуя во мне скорую добычу, кружил над моей головой, растопырив острые длинные кривые когти и раскрыв жадный крючковатый клюв... Появление этого орла повергло меня в окончательный ужас, я затрепетал всем телом, сделал отчаянное усилие и, ухватившись руками за торчащий над моей головой камень, как змея, пополз вверх. Не знаю, долго ли я полз таким образом, помню только, как руки и ноги мои скользили, как камни то и дело обрывались подо мной и с глухим шумом катились вниз, ежеминутно угрожая в своём падении увлечь и меня. Наконец после нечеловеческих усилий мне удалось выкарабкаться на Божий свет. Очутившись вне

¹ Ищите женщину (фр.).



опасности, я упал на тропинку и, несмотря на то что руки мои и ноги были изранены, и из них текла кровь, тут же заснул крепким, мёртвым сном. Впрочем, это был не сон, а скорее бессознательное состояние, в котором я пробыл несколько часов, почти до вечера, пока меня не разыскали мои верные курды.

— Воображаю, что вы передумали, лёжа в кустах над пропастью, — сказала Лидия. — Наверно, вся ваша жизнь прошла перед вами!

— Я тогда думал, что наступил час казни за моё преступление, — невольно вырвалось у Муртуз-аги, но он спохватился и добавил: — За все мои грехи!

Через неделю Муртуз-ага настолько поправился, что мог уехать домой. За всё время своей болезни он каждый вечер являлся к Щербо-Рожновским и просиживал у них до поздней ночи.

В одно из таких посещений он почти весь вечер пробыл с глазу на глаз с Лидией. Щербо-Рожновский был занят в таможне, а к Ольге Оскаровне пришла жена одного чиновника по какому-то секретному делу, о котором они долго толковали, запершись в комнате Ольги.

— Чем больше я узнаю вас, — говорила Лидия вполголоса, сидя в полутёмном углу гостиной на мягкой, покрытой персидским ковром тахте и обращаясь к Муртуз-аге, поместившемуся у её ног на низком табурете, — тем более убеждаюсь в опрометчивости избранного вами шага. Я не знаю, какое преступление совершили вы в России, но внутренний голос подсказывает мне, что вы напрасно живёте в Персии. Было бы гораздо лучше, если бы вы постарались тем или иным путём устроить свою жизнь в России, может быть, вам удалось бы выхлопотать себе прощение или смягчение своей участи!

— Вы не знаете всех подробностей и потому говорите так, — вздохнул Муртуз-ага, — вы думаете, я сам не стремлюсь в Россию? О, чего бы я не дал, чтобы иметь возможность снова увидеть свою родину! Вы знаете, — и голос его задрожал, — ах, я даже выговорить этого не могу, это выше моих сил! Вы знаете... ведь моя мать ещё жива... Понимаете ли вы весь ужас этого положения... жива, и я не смею известить её о себе... Первое время после того, как я бежал из России, я не мог уведомить своих родных о том, что я жив и где нахожусь, из боязни, чтобы начальство не узнало и не потребовало моей выдачи. Когда же прошло несколько лет, я понял, насколько будет жестоко с моей стороны встревожить мать неожиданным известием о своём существовании, ни я к ней, ни она ко мне приехать бы не могли, это бы её угнетало и делало вдвое несчастнее... Она считала меня мёртвым, давно оплакала мою смерть, сжилась с этой мыслью, и вдруг я воскрес бы, чтобы снова умереть... Ну, скажите, разве я не прав?

Вместо ответа Лидия кивнула головой, она не могла говорить от подступивших к её глазам слёз, которые она всеми силами старалась скрыть. Между тем Муртуз-ага продолжал:





— Несколько лет тому назад я чуть было не поехал в Россию, но благоразумие взяло верх, и я остался... Вы, может быть, думаете: «Вот трус-то, дрожит за свою шкуру». Ах, нет, я не трус, тысячу раз не трус, смерть меня не страшит... Вы ведь помните, я вам говорил, чего я боюсь...

— Но, может быть, вам вовсе не угрожает то, о чём вы думаете. Вы ведь законов не знаете, наконец, за это время могли произойти большие изменения во взглядах судебной власти... Словом, я хочу сказать, нет ли во всём этом с вашей стороны преувеличений, излишнего страха... Вы ни с кем ведь не говорили, не советовались, а сам человек не судья в своём деле, он или преувеличивает опасность, или уменьшает её!

— Нет, я не преувеличиваю! — тяжело вздохнул Муртуз-ага и замолк.

Несколько минут они сидели молча. Лидия глядела на красивый, энергичный профиль Муртуз-аги, и вдруг ей неудержимо захотелось сделать что-нибудь такое, благодаря чему этот несчастный человек мог бы возродиться к новой, лучшей жизни, приобрёл бы вновь свой прежний облик, свою родину, своих близких ему людей. Она даже вся затрепетала при этой мысли и волнующимся, прерывающимся голосом воскликнула:

— Муртуз-ага, прошу вас, не из любопытства, а из искренней симпатии, которую я питаю к вам, откройте мне вашу душу, расскажите мне всё подробно, поверьте, я не осужу вас, да и какое право имею я судить вас! Я вижу в вас только глубоко несчастного человека...

Муртуз-ага с тоскливым выражением посмотрел вокруг себя и крепко стиснул пальцы рук.

— Ах, если бы вы знали, как мне тяжело, как невыносимо тяжело беречь мою незажившую рану... До сих пор я никому, решительно никому не рассказывал... Вы первая, которой я решаюсь открыть свою душу... я верю вам, но, видите ли, здесь говорить об этом неудобно, каждую минуту могут войти, а я знаю, рассказ меня сильно растревожит, я не в силах буду скрыть своего волнения... все заметят его... начнут расспрашивать... Нет, нет, если вы хотите выслушать мою исповедь, то дайте мне возможность увидеть вас наедине, в таком месте, чтобы никто не мог помешать нам. Надеюсь, вы не побоитесь довериться моей чести?

— Ни на одну минуту не сомневаюсь в ней, — горячо воскликнула девушка, — но вашей просьбой вы поставили меня в тупик, я решительно не могу себе представить, где бы мы могли встретиться с вами без посторонних свидетелей!

— Если бы вы согласились на моё предложение, — сказал Муртуз-ага, — я знаю одно такое место. Отсюда версты четыре, в горах, там есть глубокая пещера...

— Над родником, — живо перебила его Лидия, — я эту пещеру знаю, я часто ездила туда верхом!



— Та самая! — подтвердил Муртуз-ага. — Ровно через две недели от сегодняшнего дня в полдень приезжайте туда, я буду вас ждать, я нарочно перееду тайно через границу, а не на пароме, чтобы никто не узнал, что я здесь...

— Ах, нет, этого-то вот и не делайте! — горячо воскликнула Лидия. — Я должна предупредить вас. Воинов подозревает, будто бы вы иногда переезжаете границу, и поклялся выследить. Он на вас зол...

— За что? — изумился Муртуз-ага. — Что я ему сделал дурного?

— Вы — ничего! Но, видите ли, — тут Лидия слегка замялась. — Воинов думает, будто бы вы причина моего к нему охлаждения, хотя в этом он ошибается, — добавила она поспешно. — Я никогда им не увлекалась, просто мне было вначале с ним интересно, пока я не разглядела, насколько он груб и ординарен... Ну, да это всё не к делу и не имеет значения, важно то, что Воинов решил изловить вас, а потому вам ни под каким видом не следует рисковать и тайно переходить границу!

Муртуз-ага презрительно усмехнулся.

— Вы совсем напрасно беспокоитесь. Я знаю, Воинов лихой офицер и солдаты его лучшие, каких мне только случалось видеть здесь, на границе, но поймать меня им всё же никогда не посчастливится. Правда, они ловят иногда контрабанду или с помощью доносчика, или по глупости самих же контрабандистов, но между мной и контрабандистами большая разница. Они — люди наживы, сделавшие из нарушения границы ремесло, у них свои тропинки, броды, свои порядки и обычаи, подчас удачно угадываемые солдатами, я же, как вольный орёл, выбираю свой путь по личному желанию. Никто, кроме меня, до последней минуты не знает, где и когда я пожелаю переехать Аракс, стало быть, и предупредить о том солдат некому. Наконец у меня в распоряжении целые сотни удальцов, на помощь которых я всегда могу рассчитывать... Если бы у Воинова было солдат втрое больше, чем у него их есть, и тогда бы он не в состоянии был помешать мне появляться здесь всегда, когда я только захочу!

Лидия, слушая Муртуз-агу, невольно залюбовалась его спокойной самоуверенностью.

— Ну, хорошо, делайте, как знаете, — сказала она, — что касается меня, то я обещаю вам быть в назначенном вами месте!

— Благодарю вас! — горячо воскликнул Муртуз-ага и крепко пожал ей руку.

На другой день Муртуз-ага, собираясь уезжать в Суджу, перед самым отъездом зашёл к Щербо-Рожновским откланяться им и поблагодарить за их радушное гостеприимство. Лидия вызвалась проводить его до парома.

Сударчикова тайна

— Отчего вы переезжаете паром, сидя в седле, а не стоя на ногах и держа лошадь в поводу, как это делают все? — спросила Лидия, идя рядом с Муртуз-агой, — тогда никакого несчастья не может случиться.



— Так, привычка! — пожал тот плечами и, наклонившись совсем к лицу девушки, шепнул ей на ухо: — Итак, вы помните, ровно через две недели, день в день, в полдень?

— А если будет вьюга, сильный мороз? Ведь теперь, слава богу, не лето, а ноябрь месяц! — улыбнулась девушка.

— Я буду ждать в пещере три дня, авось за три дня, выдастся несколько тёплых хороших часов. Здесь зима не суровая, только в декабре и в начале января будет несколько морозных дней, а в ноябре ни морозов, ни вьюги не бывает. Впрочем, повторяю — жду вас три дня.

Разговаривая таким образом, они подошли к берегу и остановились, глядя, как курды осторожно вводили лошадей на паром по прыгающим доскам настилки.

— Вы на каком коне поедете? — спросила Лидия.

— А вон на том, светло-гнедом с белой лысиной на лбу, а что?

— Так, я загадала. Видите ли, я сама подумала, что этот лысый конь назначен под вас, и решила, если моё предположение оправдается, то судьба ваша изменится к лучшему...

— Моя судьба в ваших руках! — прошептал Муртуз-ага и, ранее, чем Лидия успела собраться с ответом, он крепко пожал её руку и скорым шагом почти взбежал на паром. Цепь лязгнула, и тяжёлая, неуклюжая махина медленно поползла от берега, постепенно, по мере приближения к середине реки, ускоряя свой ход.

— До свидания! — крикнул Муртуз-ага с парома.

— До свидания, — ответила ему Лидия с берега.

Всё время, пока Лидия с Муртуз-агой находилась на берегу, Сударчиков неодобрительно на них косился. Он стоял в нескольких шагах в стороне, по обыкновению следя за приходом и отходом парома, число прибывших пассажиров отмечал карандашом в списках и сердито покрикивал на других солдат. Однако, углублённый в своё служебное дело, он вместе с тем не переставал следить за Лидией и Муртуз-агой. Старику очень не нравилась та, по его мнению, слишком большая любезность, с какой «барышня» обращалась к «гололобому басурманину».

«Ишь, стрекочет, — укоризненно думал он, — диви бы какой кавалер выискался, а то азиат, азиат и есть! И где я эту рожу видел... фу-ты, Господи Боже, вертится в памяти, а не могу вспомнить, хоть зарежь, не могу, а видел?! Ей-богу, видел и не похожую, а эту самую! Когда он ещё в первый раз приезжал, тогда же мне мелькнуло, будто что знакомое, и теперь вот тоже... Дай бог памяти!..»

Старик изо всех сил напрягал свою память, вызывая в ней давно забытые образы, но тщетно.

В это время Муртуз-ага наклонился к самому лицу Лидии и зашептал ей что-то на ухо. Сударчиков, случайно взглянувши на них как раз в эту самую минуту, вдруг вздрогнул всем телом. Точно молния озарила его мозг, он даже ахнул от неожиданности. Привлечённый его возгласом, Муртуз-ага поднял голову и рассеянным



взглядом посмотрел на старика. На мгновение глаза их встретились, и этот мимолётный взгляд, оставшийся для Муртуз-аги без всякого значения, в Сударчикове разом уничтожил все его колебания.

«Это он, без всякого сомнения, он! — думал Сударчиков, не спуская с Муртуз-аги, стоявшего уже на пароме, загоревшегося взгляда. — И как я, старый дурак, не узнавал его так долго! Удивление просто, да и только. Должно, на старости совсем из ума выжил! Кого-кого, а этого-то сокола завсегда в уме держал, а вот, поди ж ты...»

От волнения старик даже за голову взялся и несколько минут стоял, как ошеломлённый. «Что же теперь делать надо, — продолжал размышлять Сударчиков, — не иначе, как объявить следует! Но кому, как? Много ведь с тех пор годочков ушло! Теперь, чего доброго, и не поверят, тем паче, что тогда ещё слух прошёл, будто бы он помер, тело, вишь, там чьё-то нашли и родные признали, словно бы это был он... Оказия... а ён, ишь ты, жив... Ах ты, Господи Боже, как же тут быть?.. Нешто разве Аркадию Владимировичу рассказать, он господин правильный, разберёт всё, как следует... Не иначе как ему, другому некому!».

Обуреваемый такими мыслями старик до того, в конце концов, расстроился, что решил пока, что лучше уйти домой, чтобы не дать другим заметить охватившего его волнения.

— Иванов! — обратился он сурово к своему помощнику. — Мне что-то того... занездоровилось, я домой пойду. Так ты, знаешь, того... останься-ка тут без меня, да смотри фитанции-то не перевери, аккуратнее отмечай. Понял?

— Не извольте беспокоиться, Илья Ильич, всё будет в аккurate. Идите себе с Богом. Справлюсь как следует. Не тревожьте себя занапрасну!

— Знаю я вас, не тревожьте, все вы ротозеи, того и гляди проморгаете! — не утерпел Сударчиков, чтобы не поворчать, хотя отлично знал, какой исправный человек был Иванов. — Ну, да ладно, пойду уж, немоготу мне что-то!.. — добавил он и торопливо зашагал к стоявшей на бугре, в общем ряду таможенных построек, казарме.

Сударчиков был одинок, а потому жил в общей казарме, а не на частной квартире, как прочие вольнонаёмные досмотрщики, все поголовно женатые и детные. В казарме, где помещались состоящие на действительной службе таможенные солдаты, у Сударчикова была отдельная небольшая комнатка с особым входом и даже с небольшим палисадником под окном. Взглянув на убранство и обстановку этой комнаты, всякий тотчас же понял, что в ней живёт человек аккуратный, любящий порядок. И даже некоторый комфорт: железная кровать с целым ворохом подушек под шёлковым, стёганным на вате персидским одеялом помещалась у задней стены, в головах неё стоял шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелась на одной полке чайная и столовая посуда, а на другой — какие-то книги, жестянки, баночки и склянки. Что было на нижних полках, закрытых от любопытного взора деревян-



ной половиной дверей, не было видно. По всей вероятности там лежали вещи, которые и должны были сохраняться где-нибудь не на виду. Против шкафа в ногах кровати стоял высокий пузатый комод, покрытый красной скатертью. На комодке этом красовалось складное зеркало в чёрной раме, и подле него лежали гребёнка, щётка, ножницы и ящичек с разной мелочью, как-то: нитками, катушками, иголками и старыми медными и иными пуговицами. У единственного окна, завешенного до половины кисейной занавеской, стоял стол, застланный узорчатой клеёнкой, с изображением летающих между ветвями птиц. На столе помещалась чернильница, банка из-под ваксы с наколотой шилом крышкой, служившая для песочницы, лампа под зелёным абажуром, коробка сургуча, коробка перьев, перочинный ножик, ножницы, несколько карандашей, из которых один был красного графита, другой — синего, а прочие — чёрного, две ручки и, наконец, несколько листов бумаги и серых казённого формата конвертов. Перед столом стояло большое кожаное кресло, с сильно помятым от долгого употребления сиденьем и спинкой. Три венских стула были размещены вдоль стен. В углу висел большой образ. Образ этот служил украшением всей комнаты, он был в киоте и стоял на резной полочке, в которую была вделана лампада. Над образом было устроено из красного кумача нечто похожее на шатёр, полы которого, обшитые по краям кружевами, спускались аршина на два ниже образа. Вопреки излюбленной солдатской привычке украшать стены лубочными картинами, в комнате Сударчикова их не было ни одной, только над кроватью, поверх прибитого к стенке небольшого персидского коврика, висело несколько фотографических портретов в самодельных рамках. Большинство этих портретов давным-давно выцвели настолько, что едва можно было разглядеть изображённые на них лица, но уже без всякой надежды угадать кто они такие.

На глинобитном полу во всю ширину комнаты были постланы два старых-престарых, местами порванных, но аккуратно заштопанных курдских паласа. Так как обогревающая соседнюю казарму огромная печь, выходящая одной только своей задней стеной в комнату Сударчикова, давала мало тепла его старым костям, то на зиму ставилась ещё другая — железная, свойство которой было в пять минут накаляться докрасна, но зато так же и быстро остывать. Чтобы поддерживать в комнате ровную температуру, Сударчикову приходилось топить её почти весь день, исподволь подбрасывая небольшие кусочки кизяка, сообщавшие всему помещению своеобразный, слегка угарный, едковатый запах.

Придя домой, Сударчиков с несвойственной ему в обыкновенное время торопливостью достал из кармана ключи, отпер верхний ящик комода и, порывшись в нём недолго, вытащил старый потёртый корешок переплёта, перевязанный голубой ленточкой, развязав её, он вынул из переплёта большой конверт серой бумаги, а из конверта извлёк фотографическую группу, с которой и подошёл к столу, ближе к свету. Долго смотрел он на неё, то приближая почти к самому носу, то удаляя на расстояние вытянутой руки и, казалось, не мог никак насмотреться.





Фотография, которую так внимательно разглядывал Сударчиков, была не из важных. Одна из тех, какие выполняются бродячими фотографами, на плохой бумаге, небрежно наклеенная на картон, с резко расположенными тенями и, к довершению всего, слегка уже выцветшая. Она изображала группу из пяти человек в непринуждённых позах, разместившихся на разостланных прямо на траве под деревьями паласах.

На главном месте, опершись обнажённым локтём на ворох персидских подушек, полулежала чрезвычайно красивая, немного полная барыня, с гордым выражением в лице и в слегка прищуренных глазах под тонкими, изящно очерченными бровями. Красивые губы её были слегка полуоткрыты, придавая тем её лицу что-то напоминающее вакханку. Одея она была в светлый, лёгкой материи капор, с открытой шеей и большим вырезом на груди. Волосы её с бесчисленным множеством пышных завитков на лбу были заплетены в толстую длинную косу, небрежно перекинутую через плечо на высокую пышную грудь. У ног красавицы, сложив ноги по-турецки, сидел плечистый пожилой офицер в кителе с капитанскими погонами и пустым стаканом в приподнятой руке. Лицо у него было не красивое, но очень энергичное, особенно хорош был взгляд больших, в натуре, очевидно, серых глаз, прямой, смелый, открытый. Длинные баки с пробором посередине веером расстились по груди, придавая лицу капитана ещё более мужественное выражение. Рядом с капитаном, привстав на одно колено и делая вид, будто собирается налить ему в стакан из бутылки, которую держал в руке, стоял молодой вольноопределяющийся



в черкеске и лихо заломленной на одно ухо тушинке. Лицо его, обращённое в профиль, было замечательно красиво: тонкий с лёгкой горбинкой нос, изящные губы, высокий открытый лоб и огромные, даже на фотографии, живые и выразительные глаза — всё вместе делало из юноши положительного красавца. Он был очень строен, с тонкой, перетянутой в рюмочку талией, с широкими плечами. В натуре он должен был быть ещё красивее. Против вольноопределяющегося, рядом с подушками, на которые облокотилась барыня, подобрал под себя ноги, сидел другой офицер, со смеющимся лицом, с фуражкой на затылке и поднятым в правой руке стаканом. Он как бы говорил: «За ваше здоровье, господа!». Сзади всей этой компании, прислонившись к стволу дерева, под которым она расположилась, в мундире, сабле и кепке, молодцевато сдвинутой на одно ухо, стоял бравый коренастый фельдфебель с длинными закрученными вниз усами и богатырской грудью. Лицо его, слегка нахмуренное, выглядело строгим, даже немного сердитым. По всему было видно, что фельдфебель этот был человек не из мягких. Много лет прошло с тех пор, немного не четверть столетия, но и самого беглого взгляда было достаточно, чтобы узнать в этом кремне-фельдфебеле сурового ворчуна Сударчикова. Тот же умный нахмуренный лоб, те же пронизательные, упорно глядевшие перед собой глаза, та же упрямая, жёсткая складка губ. Теперь только, помимо усов, старик носил ещё и бороду, но и борода мало изменила общее характерное выражение его лица.

Долго, очень долго рассматривал Сударчиков фотографию, сосредоточив всё своё внимание на красавце вольноопределяющемся.

— Он, разумеется, он, — прошептал наконец старик и положил фотографию на стол. — Что ж мне теперь делать? — снова задал он уже встававший перед ним и раньше вопрос.

Несколько минут простоял Сударчиков в глубокой задумчивости, опустив на грудь седую голову, потом выпрямился и, повернувшись к образу, три раза истово перекрестился.

— Господи, — прошептали его бледные губы, — не попусти злодею надругаться над правдой, отомсти ему за кровь и за слёзы!

Хотя эта странная молитва по смыслу своему едва ли согласовалась с духом христианского учения, но Сударчикова успокоила настолько, что он далее нашёл в себе силы снова отправиться на паром к своим, на время покинутым, занятиям.

Друзья

С того дня как Аркадий Владимирович последний раз был в Шах-Абаде, прошло с месяц времени. Не видел так долго своего приятеля, Осип Петрович сильно соскучился по нему, всякий раз как в таможню приходил кто-либо из солдат Урюк-Дагского отряда, Щербо-Рожновский не упускал случая расспросить их об их командире и послать с ними ему поклон.



— Да скажите его благородию, — добавлял он неукоснительно, — управляющий спрашивает, почему, мол, долго не приезжаете в Шах-Абад, очень они по вас соскучились.

Не довольствуясь устными поручениями, Осип Петрович отправлял иногда Воину небольшие записочки, в которых дружески пенял ему за то, что тот совсем забыл своих шах-абадских соседей. В ответ на такие любезности Аркадий Владимирович в свою очередь посылал Осипу Петровичу нижайшие дружественные поклоны, отговариваясь в то же время недосугом за массой работы и хлопот по отряду, не дающих ему возможности приехать.

Убедившись, наконец, что Аркадий Владимирович умышленно сидит дома, Щербо-Рожновский в одно из воскресений решил поехать сам к нему.

— Про Магомета рассказывают, — весело говорил Осип Петрович, входя в комнату Воинова, — будто бы однажды он приказал горе приблизиться к нему, но гора его не послушалась, тогда он сам пошёл к горе. Вот так и я: приглашал, приглашал вас, вы не едете, пришлось самому приехать. Ну, здравствуйте!

— Ах, это вы, Осип Петрович! — радостно воскликнул Аркадий Владимирович. — Вот сюрприз-то... Спасибо вам, дорогой, что приехали, вы представить себе не можете, как я соскучился здесь один на посту.

— Воображаю. Отчего же вы к нам не приезжали, коли уже так вам скучно было?

— Некогда, дорогой, масса работы... Планы черчу, книги заканчиваю, мало ли ещё что...

— Та не брешите, пожалуйста, бо я сам бачу, якась такая у вас работа! — перебил его Щербо-Рожновский. — Скажите лучше, дуетесь вы на Лидию Оскаровну, оттого и не едете.

Воинов слегка вспыхнул, хотел что-то сказать, но вместо того махнул рукой и угрюмо насупившись, зашагал по комнате.

— Эх, Осип Петрович, — заговорил он после некоторого молчания, — разве я дуюсь? Что уж тут... Будем говорить напрямую. Посмотрите на меня хорошенько: скажите, не изменился я? По глазам вашим вижу, что вы замечаете во мне большую перемену... А отчего? Я думаю, мне и рассказывать не надо, без рассказов понимаете. И за что? Ну, скажите — за что? Чем я виноват перед нею, чем заслужил такое отношение?

Последние слова Воинов почти прокричал, стоя перед Щербо-Рожновским и заглядывая ему в лицо тоскливо-недоумевающим взглядом. Тот ничего не ответил, а только с досадой крикнул и слегка потупился.

Он действительно с первого же взгляда на Аркадия Владимировича нашёл в нём большую перемену. Ещё недавно такой жизнерадостный, бодрый и весёлый, лихой поручик теперь как бы потух, осунулся, побледнел. Глядя на него, можно было предположить в нём серьёзную и упорную болезнь. Воинов между тем продолжал:



— Конечно, насильно мил не будешь, я это сам понимаю, понимаю и то, что такая барышня, как Лидия Оскаровна, не может полюбить меня...

— Почему? — резко, с досадой перебил его Щербо-Рожновский.

— Понятно почему, — совершенно искренне воскликнул Воинов, — я для неё слишком ординарен! Армейский поручик, малообразованный, неинтересный... Всё это я отлично понимаю и ни на минуту не увлекаюсь, и прежде не увлекался несбыточными надеждами... Не в том дело, но скажите, за что оскорблять меня так? За что относиться с таким недоверием, с такой враждебностью? Вот что больно и горько! Тем более обидно, что вначале она относилась ко мне очень хорошо, скажу прямо, по-дружески, припомните вы сами, Осип Петрович, как мы с Лидией Оскаровной по целым вечерам просиживали вдвоём, ещё вы подчас подтрунивали над нами... Ведь находила же она для меня тогда и слова, и разговоры, а теперь двух-трёх слов не скажет, а если и скажет, то непременно съязвит, уколёт... Разве это не больно? Разве не имел я права огорчиться и приходиться в отчаянье?

Высказав всё это дрожащим от волнения голосом, Воинов снова заходил по комнате, нервно до боли крутя усы. Щербо-Рожновский молчал, хмурия брови, ему от всего сердца было жаль Аркадия Владимировича, но он не знал, что сказать ему в утешение.

— Нет, вы вот что мне растолкуйте, — остановился тот вдруг сразу посреди комнаты и даже ногой слегка притопнул, — что она в нём нашла? Какие такие особенные достоинства и качества? Ведь это же нелепость! Кошмар какой-то дикий и больше ничего... Кто он такой, позвольте вас спросить? Если даже брать его таким, каким он себя выдаёт, то и тогда он не что иное, как мусульманин, персук, раб какого-то там Хайлар-хана, который во всякую минуту может его за ребро на крюк повесить... Господи, мне кажется, я с ума скоро сойду!.. И на такую-то, с позволения сказать мразь, Лидия Оскаровна обращает своё внимание, интересуется им... Впрочем, что я говорю, интересуется, надо уж говорить правду: не только интересуется, а прямо-таки любит его... да, любит, я это отлично знаю, и никто меня в этом не разубедит... Никто, никто!.. — кричал Воинов, точно кто спорил с ним. — К чему всё это приведёт?! Ведь не идти же Лидии Оскаровне замуж за него... Уехать в Суджу, надеть чадру и ходить с кувшином к колодцу, в компании с прочими татарками... или как все эти коровы, подобные ханши, пальцем варенье лизать и тириак⁵⁷ курить... О, проклятие, — прорывал в заключение Воинов и бросился на диван, с такой стремительностью, что весь он жалобно застонал.

— Ну, это вы уж чересчур преувеличиваете! — усмехнулся Осип Петрович, на мгновение со слов Воинова мысленно представив себе Лидию в роли ханши. — Дело так далеко не пошло, как вы себе воображаете. Мне даже смешно разуверять вас в том, что Лидия вовсе не влюблена в Муртуз-агу, даже и в мыслях у неё этого нет, просто-напросто он её заинтересовал как новый, невиданный ею ещё тип. Немалую роль играет и таинственность, окружающая его, дающая право делать всякие





предположения романического характера, невольно возбуждающие любопытство, а любопытство — основание женской натуры. Про это, я думаю, вы и сами знаете. Я Лидию Оскаровну немножко изучил и нахожу в ней много романтизма. Довольно сказать — Жуковский её любимый поэт. Она половину баллад его наизусть знает, от лермонтовского же Измаил-бея без ума. Я уверен даже, хотя она этого и не говорит, но это бессознательно у неё прорывается, что Муртуз-ага ей кажется тоже чем-то вроде Измаил-бея. Однажды она высказалась в том духе, что, мол, наверно, у Муртуз-аги была в жизни драма, в которой замешана женщина и т.д., и т.д., а когда я на это со своей стороны сделал предположение, дескать, не был ли он фальшивомонетчиком, она страшно рассердилась и выговорила мне массу колкостей... Институтское воспитание, ничего не поделаешь! Они там учителей чистописания в Чайльд-Гарольды производят, а уж тут и Бог велел. Но, за всем тем, надо отдать справедливость Лидии Оскаровне, она барышня умная и скоро, скорее, может быть, чем мы думаем, разглядит этого самого Муртуз-агу и даст ему надлежащую оценку. Вы только не волнуйтесь, глядите на всё глазами философа и терпеливо выжидайте время, поверьте, не пройдет и месяца, как Лидия опять будет с вами такая же, как была раньше... Вы только не делайте глупостей, не вдавайтесь в трагедию, продолжайте посещать нас, как раньше посещали, и, в конце концов, всё будет прекрасно. Верьте мне!

— Ах, вашими бы устами да мёд пить! — задумчиво произнёс Воинов, значительно успокоенный. — А я, признаться, с отчаянья думал в другую бригаду переводиться.

— Вот это уже была бы совсем глупость! — укоризненно покачал головой Щербо-Рожновский. — Ну, Аркадий Владимирович, не ожидал я от вас, что вы такая баба окажетесь! Чуть неудача, он уже и в бега, а ещё героем считается... Ай, ай, стыдно, стыдно!

— Ваше благородие, — доложил вошедший денщик, — таможенный досмотрщик просит, могут они войти, очень, мол, нужное дело...

— Ах да, Аркадий Владимирович, я и забыл совсем: ведь я не один приехал, а и Сударчиков со мной. Я, знаете ли, совсем собрался к вам, в повозку уже сяду, как вдруг, гляжу, Сударчиков бежит. «Ваше благородие, — спрашивает, — вы не к их благородию поручику Воинову ехать изволите?» — «Туда, а тебе что?» — «Ежели туда, будьте милостивы, позвольте и мне ехать с вами. Я до поручика важное дело имею, сообщить им известие надо одно, а кстати, и вы прослушать изволите, по тому самому, что и до вас касательство имеет». Удивился я немного таким словам, но расспрашивать старика не стал и посадил его в свою повозку. По дороге он сообщил только, что дело, о котором он хочет говорить, заключает какую-то большую тайну и имеет непосредственную связь с именем Муртуз-аги. Подробнее же он обещал рассказать у вас на посту.



— Что ж, посмотрим, какое это такое дело, может быть, что-нибудь действительно важное. Ваш Сударчиков — человек положительный, серьёзный и по пустякам болтать не станет. Надо позвать его и выслушать.

Рассказ Сударчикова

Через минуту в комнату вошёл Сударчиков. Лицо его по обыкновению было сурово спокойно, в руках он держал перевязанную тесёмочкой папку.

— Здорово, старик, ты с чем? — дружелюбно приветствовал его Воинов.

— Здравия желаем, ваше благородие! — с былой молодцеватостью отвечал Сударчиков и, понизив тон, добавил: — Открытие важное я сделал, такое открытие, что и не знаю, как оно и будет, того, значит, по законам-то...

— Открытие? Какое? — удивился немного Воинов. — Да ты, старик, вот что. Бери стул да садись сюда поближе, выкладывай, что у тебя такое. Вы позволите ему сесть при вас? — шёпотом обратился Воинов к Щербо-Рожновскому.

— Разумеется! Ведь он у меня на правах почти чиновника! — кивнул головой Осип Петрович.

Тем временем Сударчиков подошёл к дивану, на котором сидел Воинов, открыл папку, достал из неё знакомую уже читателю группу и, передавая её Аркадию Владимировичу, внушительным тоном произнёс:

— Извольте, ваше благородие, пригладеться хорошенько, а опосля, как вы всмотритесь, я вам всё и доложу, как быть следует.

Воинов с некоторым недоумением в лице, взял из рук Сударчикова группу, но стоило ему взглянуть на неё, как у него вырвался легкий крик изумления.

— Откуда у тебя эта группа, где ты её взял?

— Как откуда? — немного опешивший от такого вопроса, в свою очередь спросил Сударчиков. — Эта картина моя, поболее двадцати годов будет, как она у меня хранится. А вы, сударь, нешто что знаете про эту картину, тоись стало быть, чьи тут портреты находятся?

— Как не знать! Это вот капитан Некраснев Егор Сергеевич, а барыня — жена его Людмила Павловна, она моей матери двоюродной сестрой приходилась, а мне, стало быть, тёткой...

— Да неужели ж, ваше благородие? — всплеснул руками Сударчиков. — Вот изумительное-то дело, скажите на милость! Кто думал, кто думал?..

Он несколько раз покачал седой головой и затем, оживившись, торопливо заговорил, тыча дрожащим пальцем в красавца-вольнотопольного:

— Может быть, ваше благородие, вы и этого тоже знаете?

— Слыхал о нём, мать моя нам рассказывала. У нас в доме тоже такая фотография есть, а к тебе-то она как попала?



— Да ведь капитан, покойник, царство ему небесное, ротным моим был. Извольте взглянуть: фельдфебель у дерева-то стоит, это же я сам и есть, помоложе тогда был, бороду брил, теперь-то я старая коряга... Впрочем, не во мне толк... а в том, что, стало быть, вы и про всю историю наслышаны...

— Слышал и про историю...

— Так, так... Вот ведь он, злодей-то самый, убиец проклятый! — в приливе ненависти торопливым полушёпотом заговорил Сударчиков, дрожащим скрюченным пальцем показывая на вольноопределяющегося. — Почитай, что на моих глазах всё и свершилось-то... Я одним из первых прибёг тогда, на моих руках капитан и душеньку Богу отдать изволил... А как Людмила-то Павловна в те поры убивалась, и не дай-то Бог, смотреть страшно было, думали, ума решится!.. Сколько годов с того дня прошло, а точно вчера было, так всё и стоит в глазах... Подумать страшно!

Старик замолчал и в глубокой задумчивости опустил голову.

— И как подумаешь, чудно выходит! — продолжал он после короткого молчания. — Восемнадцать лет пропадал человек, думали, помер, слух такой был, ан вышло не то, — жив, и мало того жив, сам объявился... Надо только умеючи взять, а сделать этого окромя вас, ваше благородие, некому. Затем-то я и приехал к вам, чтобы, стало быть, известить вас обо всём, как следует... Надеялся, не откажетесь. Ну, а теперь, как вы к тому же и сродственником приходитесь, то и подавно, беспрерывно вам, а никому другому за это дело взяться надлежит...

— За какое дело? Говори яснее, я тебя что-то, брат, понимаю плохо! Про кого ты говоришь?

— Про кого? Ни про кого иного, как про убийцу проклятого, князя Каталадзе... Ведь он здесь! Восемнадцать лет о нём не было ни слуху ни духу, а теперь вдруг выискался. Во всём святая воля Божья... Вы, ваше благородие, взгляните позорче в рожу-то его злодейскую, припомните, не видели вы кого похожего? Да и вы, ваше благородие, — обратился Сударчиков к Щербо-Рожновскому, — извольте тоже поглядеть. Вы также его видали, ещё недавно, не таким, правда, а много старше и одежда на нём другая, не та... Только если взглядеться попристальней, то узнать можно!

Заинтересованные донельзя словами Сударчикова Воинов и Щербо-Рожновский принялись внимательно разглядывать фотографию. Сударчиков, дрожа от волнения, не сводил с них глаз, как бы гипнотизируя их своим взглядом.

— Ну, брат, воля твоя, не могу узнать! — произнёс Воинов. — Каталадзе был грузин, а это уже известная истина: все грузины на одно лицо, как родные братья.

— Пойдите, пойдите, — заговорил Щербо-Рожновский, в свою очередь пристально вглядываясь в фотографию. — Я, кажется, начинаю узнавать. Неужели он?

Поднял Осип Петрович глаза на Сударчикова, тот торжествующе кивнул головой.



— Да кто он? — с лёгким раздражением спросил Воинов.

— Кто? Муртуз-ага. Неужели не узнаете? — сказал Щербо-Рожновский.

При этих словах Воинов даже с дивана вскочил.

— О, я дубина! — закричал он, хлопнув себя по лбу, — не мог догадаться сразу... Гляжу, что-то кого-то как будто бы и напоминает, а кого, хоть убейте, не домекнулся.

— Мудрёного нет, ваше благородие! — обратился к нему Сударчиков. — Я сам сколько раз видел его здесь и ни разу в голову не пришло. А тут вот как-то на днях стоял я у парома, а он с нашей барышней к парому подошёл, встали и разговаривают промеж себя, он наклонился к самому лицу Лидии Оскаровны, шепчет что-то, а сам улыбается. Глянул я как-то — и вдруг меня осенило, словно пелена с глаз упала. Припомнилось мне, что, почитай, точь-в-точь и тогда так же было: шёл я в тот день рощицей, что за городом нашим росла, гляжу, навстречу мне покойница Людмила Павловна идёт под ручку с князем и вдруг приостановились на тропинке, он ей что-то на ухо шепчет, а она головой качает, а сама улыбается... Ну, словом, совсем так же, как и теперь, только заместо Людмилы Павловны — Лидия Оскаровна... И так мне тогда лицо его запомнилось, что всё время забыть не мог, как он глазища таращил да губы крутил... Глянул я на Муртуз-агу: батюшки светы! То же лицо, и глаза, и губы, тут-то я и признал его.

— Ты, стало быть, очевидцем всей этой истории был? — спросил Воинов.

— Тоись, как вам доложить? Настоящего-то я не видел, как, значит, князь капитана нашего полосонул, я уже опосля пришёл, минут этак с пяток... Подхожу к казармам, гляжу: от угла денщик капитана Лошаденков бежит. Капитан жил от казарм неподалёку... Бежит, стало быть, Лошаденков, а сам стены белее, завидел меня, замахал руками, лопочет что-то, а что — не могу понять. Рассердился и в ту пору на него крикнул, кажись, ещё и по затылку слегка смазал: «Что ты, бесов сын, стрекочешь, уразуметь ничего невозможно!» А он мне: «Бегите, господин фельдфебель, до нас, у нас дело большое приключилось, князёк капитана зарезал». Как сказал он мне эти слова, я света Божьего не взвидел... Ударился бежать резвей мерина, добёг, гляжу — в саду недалеко от лестницы лежит капитан на спине, китель весь в крови, кровь под ним, кровь около... Удивительное дело, сколько крови было... Тут же и барыня бьётся головой об землю, кричит не своим голосом... Наклонился я над капитаном, гляжу: ещё дышит, глазами по сторонам поводит тихо так, точно озирается, лицо же такое страшное, серое, осунулось, узнать нельзя. Увидал меня, губами шевелить зачал. Приник я ухом к самому его лицу, прислушиваюсь, стараюсь понять, что такое говорит он мне. Сначала никак разобрать не мог, насили-насилиу расслышал. «Умираю... — грит, — возьми мою руку, помоги крест сделать». Взял я его руку, он персты сжал, и я его рукой крестное знамение начал делать... Только донёс до левого плеча, чувствую — рука сразу потяжелела, холодеть начинает, и ровно бы деревянная стала. Глянул я ему в очи, а на них словно бы туман лёг, помутились



зрачки, такие светлые, неподвижные... Вижу я — помер наш капитан, царство ему небесное... Опустил я его бережно на землю, перекрестился, а тут в скорости народ сбегаться зачал... Шум, смятение, что, как... А про убийцу-князя забыли... Схватились, часа уже должно два спустя, кинулись туда-сюда, а его и след простыл... Разослали по всем концам и пеших и конных, не тут-то было, как сквозь землю провалился! На другой день командир полка телеграммы послал, чтобы на турецкой границе караулили, иначе и там ничего. Спустя месяц уведомили полк, будто где-то около границы нашли труп человеческий, весь изъеденный волками, по приметам похожий на князя. Сейчас же послали одного офицера из полка удостовериться. Тот приехал, выкопали из земли труп, а он уже загнил весь... Затошнило офицера, не стал разглядывать, а чтобы покончить дело разом, вернувшись, доложил, будто действительно это князь был. На том и дело покончилось.

— Что же нам теперь делать? — спросил Воинов, с недоумением поглядывая на Щербо-Рожновского и Сударчикова.

— Арестовать, ваше благородие, как он только приедет, и сдать полиции! — предположил последний.

— Не годится, — потряхнул головой Щербо-Рожновский, — оснований нет. Одного свидетельства Сударчикова недостаточно. Согласитесь сами: с того дня, как вся эта история случилась, прошло около двадцати лет, за такой долгий период времени Сударчиков мог забыть, как Каталадзе и выглядел-то, а не то чтобы узнать его в новой совершенно обстановке.

— Я, ваше благородие, не забыл, да и как было забыть, когда всё это происшествие на моих глазах случилось?! Я и по сей час всё будто бы глазами своими вижу! — немного обиженным тоном заявил Сударчиков.

— Да разве я тебе не верю? — нетерпеливо махнул Щербо-Рожновский, — но не обо мне речь, я говорю не про себя, а про других. Другие не поверят, скажут: «Старик из ума выжил, померещилось ему сослепу». Не забудьте, ведь князь официально считается умершим, дело окончено и вновь возбуждать его никому не сладко. Ко всему этому прибавьте и то обстоятельство, что Муртуз-ага — человек влиятельный, богатый, правая рука правителя Суджи Хайлар-хана, и затронуть его не так просто, как вам кажется. Сейчас со всех сторон явятся прошенные и непрошенные заступники, поднимется гвалт и, в конце концов, вас же обвинят и, чего доброго, подвергнут взысканию.

— Стало быть, по-вашему, оставить его гулять на свободе? — горячо воскликнул Аркадий Владимирович.

— Пока да, но учините за ним зоркий надзор, и как только он появится здесь тайно, помимо таможи, задержите как нарушителя границы. В то время, когда мы с него будем снимать допрос, Сударчиков пусть заявит своё показание о тождестве Муртуз-аги с князем Каталадзе, мы сейчас же составим об этом протокол и все вместе препроводим в полицию. Таким образом, задержание будет вполне



легальное: вы задержите Муртуз-агу не как князя Каталадзе, убийцу и дезертира, а как тайно перешедшего границу, на что имеете полное право. При этом показания Сударчикова являются уже не главным мотивом задержания, а только второстепенным его дополнением.

— Вы совершенно правы! — воскликнул Воинов. — Теперь всё дело за тем лишь, чтобы выследить его, когда он пожалует к нам. В этом случае, Сударчиков, надо, чтобы и ты помог нам: иногда на пароме можно собрать драгоценные сведения, у тебя к тому же есть среди татар знакомые.

— Не извольте беспокоиться, я со своей стороны душу положу на это дело, во все глаза караулить буду!

— А как вы думаете, — обратился Воинов к Щербо-Рожновскому, когда Сударчиков вышел и они остались вдвоём в комнате, — следует ли сказать об этом Лидии Оскаровне?

— По-моему, не следует. Женщина всегда остаётся женщиной. Бог её знает, как она отнесётся к этому известию! Во-первых, поверит ли она ему, а если и поверит, то не случится ли так, что жалость к убийце пересилит негодование, вызываемое убийством, и она захочет спасти его от угрожающей ему кары.

— Пожалуй, и в этом вы правы. Итак, будем хранить всё в глубокой тайне между нами, и дай бог скорого и полного успеха.

Сударчиков орудует

— Что с тобой? — спрашивала Ольга Оскаровна Лидию, видя её постоянно задумчивой, как будто бы чем-то расстроенной. — Ты последнее время такая грустная...

— Скучно мне у вас тут! — отвечала Лидия. — Сначала, пока всё вновь было, интересовало, а теперь надоело до тошноты, глаза бы ни на что не глядели. Скучно жить без дела! Думаю весной назад в Москву ехать, службу искать где-нибудь в конторе!

— Вот глупости! — с неудовольствием воскликнула Ольга. — Пришла фантасия место искать, точно есть тебе нечего! Это у тебя институтские бредни, лучше замуж выходи!

— За кого? — усмехнулась Лидия.

— А хотя бы за Воинова, чем не жених?

— Прекрасный, только не по мне!

— А почему, позволь тебя спросить? Человек молодой, хороший, любит тебя до безумия. Жалованье получает хорошее, кроме того, свои средства небольшие есть, ты тоже имеешь ежемесячную ренту, жили бы без забот!

— Согласна, всё это очень соблазнительно, но...

— Что но?



— Но Воинов мне не нравится!

— Удивляюсь! — пожала плечами Ольга. — Кто же тебе нравится? Муртуз-ага, что ли? — презрительно улыбнулась она.

— А хотя бы и Муртуз-ага! Что же тут удивительного? — спокойно произнесла Лидия.

Ольга пристально взглянула в лицо сестры и весело рассмеялась.

— Чудачка ты, Лидия, право чудачка, фантазёрка, каких мало! — сказала она и, поцеловав сестру в лоб, вышла из комнаты.

Оставшись одна, Лидия села на кушетку в уголок и задумалась. Последнее время её мысли вращались всё на одном и том же: возможно ли для Муртуз-аги обновление его жизни и если возможно, то как это совершится, при её участии или нет? Теперь, когда она знала, что он не перс-мусульманин, а европеец, она стала смотреть на него совершенно другими глазами, преграда, созданная слишком большой разницей в мировоззрении людей Востока и Запада — рушилась, оставалось только ближе узнать и понять друг друга, испытать силу взаимной привязанности... и тогда... Но что же тогда? Связать свою жизнь с ним? Но разве это возможно? Кто он такой? Какое место в жизни он может занять, какие отношения могут создаться у него с другими людьми? — всё это были вопросы, которые её чрезвычайно волновали и тревожили главным образом тем, что она не могла дать на них себе никакого ответа.

Сударчиков стоял на берегу и смотрел, как большая толпа рабочих, едущих из Персии на ранние весенние заработки в Россию, с шумом и гамом заполнила готовый отчалить от персидского берега паром.

В эту минуту на персидской стороне мимо парома верхом на красивом, рослом, сером коне проехал татарчонок и, с разбега вогнав его далеко в реку, по самое брюхо, начал поить. Лошадь пила долго и жадно, по временам поднимая голову и оглашая воздух звонким, задорным ржанием. Сударчиков невольно обратил особое внимание на этого коня, такого в окрестностях ни у кого не было, слишком он был породист и красив и принадлежал, наверно, знатному и богатому человеку.

— Чей это конь мог бы быть? — раздумчиво произнёс Сударчиков, продолжая внимательно разглядывать серую лошадь и сидящего на ней татарчонка.

— А должно быть, Муртуз-аги? — заметил Иванюк, мельком бросив взгляд за реку. — Я, кажись, видел его один раз на этом коне, когда наши на охоту ездили!

— Да ну! Что ты говоришь?! — встрепенулся Сударчиков. — А не врёшь?

— А Бог его знает, может, и не Муртуз-аги, — согласился Иванюк, — много тут таких-то лошадей!

— Ну, нет, брат, это ты брешишь. Таких коней тут нет. Вот ты что, Иванюк, оставайся, а я съезжу на ту сторону, мне это важно узнать доподлинно. Если кто спросит, зачем я поехал, отвечай, паром персидский осмотреть, третий день, подлецы гололобые, свой паром чинят, а всё справиться не могут!



— Это у них уж заведение такое, — проворчал Иванюк, — нарочито свой паром неисправным показывают, чтобы пассажиры больше на нашем ездили, а их без дела отдыхал!

— А вот я их, клятиков! — погрозился Сударчиков, спускаясь на паром и призывая отчалить.

Мустафа, старший паромщик персидского парома, худощавый старикашка с жидкой сивой бородёнкой и слезливым и в то же время лукавым выражением на сморщенном, как печёное яблоко, лице, увидев подплывшего Сударчикова, поспешил к нему навстречу, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь.

— Когда же у вас, Мустафа, паром-то наконец готов будет? — сердито крикнул Сударчиков. — Управляющий хочет жалобу писать!

— Завтра, ага, в'алла⁵⁸, завтра! — прижимая руки к сердцу и стараясь придать своему голосу особенную убедительность, зашамкал Мустафа. — Сабах дюн⁵⁹ наш паром ходить начал!

— Знаю я ваше, сабах дюн! Врёте вы все, три дня одну доску прибить не можете. Мошенники!

— Разве одна доска, господин старший? — сокрушённо покачал головой Мустафа. — В'алла, работи многа, почти все доска пропал, в'алла, пропал!

— Ладно, рассказывай! Ну да чёрт с тобой, — завтра так завтра, только смотри не надуй, а то сейчас жалобу пошлём, так и знай!

— Зачиво жалобу, не надо жалобу, говорю, завтра паром ходить начинал, Мустафа шалтай-болтай⁶⁰ не будет!

— Подумаешь, какой праведник! — буркнул себе под нос Сударчиков и, повернувшись к своему паромщику, сурово приказал ему плыть обратно. В ту минуту, когда паром уже тронулся, Сударчиков небрежно кивнул низко кланявшемуся ему Мустафе:

— Хороший конь у Муртуз-аги, этот серый, самая лучшая его лошадь! — сказал он, как бы между прочим, показывая на отъезжавшего от берега татарчонка на сером жеребце.

— А, якши ат, чох якши⁶¹! — прищёлкнул языком Мустафа. — Такой лошка⁶² ни у кого нет во всей Судже!

— Верно, верно, ну, прощай, карташ⁶³!

— Прощай, ага, бывай здоров!

Паром медленно пополз к русскому берегу. Сударчиков торжествовал, теперь он знал, что Муртуз-ага в Анадыре, иначе, откуда взяться его лошади. Надо скорее предупредить поручика: может, Муртуз-ага ещё задумает переправиться через границу.

Вернувшись обратно, Сударчиков поспешил к себе в комнату, торопливо достал четвертушку бумаги и дрожащими, плохо слушающимися пальцами начал выводить угловатым почерком донесение.



«Его высокородию, — писал он, — командиру Урюк-Дагского отряда, отставного фельдфебеля Сударчикова донесение. Доношу Вашему Благородию, что Муртуз-ага в настоящее время находится в селении Анадыре и, очень может быть, сею ночью будет переправляться на нашу сторону. О чём вашему благородию и доношу для сведения».

Написав и запечатав пакет сургучной печатью, Сударчиков отправился разыскивать «подлеца Керимку». «Подлец Керимка» был круглый сирота, татарчонок лет 12, живший, как птица небесная, постоянно голодный, полунагой, но, несмотря на то, всегда весёлый. Он с хитростью обезьяны лънул к солдатам, которые, по русскому добродушию, относились к нему несравненно лучше, чем его соплеменники-татары. Если бы не солдаты, «подлец Керимка», наверно, давно бы помер с голоду или замёрз где-нибудь в поле. Солдаты его прикармливали, отдавали старые обноски и иногда в особенно лютую стужу пускали ночевать в казармы, где он, свернувшись на полу, как собачонка, без матраса и подушки, но пригретый, чувствовал себя совершенно счастливым. В благодарность за такое, в сущности, ничтожное внимание «подлец Керимка» исполнял для солдат разные поручения и состоял у них на побегушках.

Прошло добрых полчаса, а то и час, пока Сударчикову удалось разыскать, наконец, Керимку на дворе какого-то татарина, где он помогал складывать в кучу кизяки.



Раздосадованный долгими бесплодными поисками, Сударчиков первым долгом схватил мальчугана за шиворот и, ничего не говоря, пребольно оттрепал его за уши. Впрочем, «подлец Керимка» к такому обращению привык давно, он даже не счёл нужным сопротивляться, а только пищал, как поросёнок, змеей извиваясь в грубых руках фельдфебеля. Окончив массажирование Керимкиных ушей, Сударчиков отвёл его в укромный уголок, где никто не мог их видеть, и сунул ему за пазуху пакет.

— Слушай, пострел, — строго хмурия брови, приказал старик, — беги сломя голову на пост Урюк-Даг к командиру, отдай ему этот пакет прямо в руки, слышишь, сам отдай. Если солдаты на посту захотят взять пакет — не отдавай им, скажи: Сударчиков, мол, приказал самому командиру отдать. Если спать будет, вели разбудить, не бойся ничего, от моего имени действуй. Смекаешь? Вот тебе два шаура⁶⁴, а проворно и умненько сделаешь, приходи — абаз⁶⁵ дам.

Керимка жадно схватил деньги и торопливо сунул их в карман рваной солдатской жилетки, надетой поверх грязной холщовой рубахи, которая вместе с такими же портами составляла всю его одежду, весьма легкомысленную по зимнему времени. Не заставляя повторять приказания, он со всех ног с места пустился бежать на Урюк-Дагский пост, только голые пятки его, невзирая на зиму, босых ног замелькали в воздухе.

— Ишь, шустрый дьяволёнок! — шевельнул усами Сударчиков, глядя вслед бегущему мальчишке. — Швидче лошади дует, за полчаса добежит. Ну, что Бог даст? Каково-то удастся? Помоги, Господи!

Старик от полноты чувств даже перекрестился.

В пещере

Был яркий солнечный день. Несмотря на декабрь месяц, градусник в полдень стоял на нуле, что, в связи со жгучими лучами южного солнца и отсутствием всякого ветра, производило впечатление положительно тёплого дня. Лидия в суконной амазонке и плюшевой ватной кофточке, в меховой шапочке и перчатках из козьего пуха, вышла на крыльцо, подле которого таможенный солдат держал под уздцы застоявшегося Копчика. Горячий конь нетерпеливо топтался на месте и рыл землю то правой, то левой ногой, сердито встряхивая тонкой, как шёлк, гривой.

— Куда это ты собралась? — удивилась несколько Ольга, увидев сестру в таком костюме.

— Хочу проехаться немного. Давно уже не ездила. Копчик совсем застоялся!

— Одна?



— Я недалеко, на почтовую станцию, хочу письмо сдать, кстати, я, может быть, к почтмейстерше зайду, посижу у неё немного. Я тебе для того это говорю, чтобы ты не беспокоилась, если я немного запоздаю. Ну, до свиданья!

Она в несколько прыжков сбежала с лестницы и легко и грациозно, почти без всякой помощи, как бы вспорхнула на седло.

Почувствовав на себе всадницу, Копчик ещё больше заволновался, захрапел, согнул шею дугой и, сделав два-три коротких лансада, пошёл, играя и подживаясь, сердито и нетерпеливо прося повода. Выехав из селения, Лидия лёгким прикосновением хлыстика подняла его в галоп и поскакала к видневшимся вдали горам. Доскакав до подошвы ближайших скал, она перевела Копчика в шаг и, осторожно перебравшись через глубокую канаву, окаймлявшую шоссе, направилась по едва заметной дорожке к глубокому ущелью, черневшему, как пасть чудовища. В ущелье было значительно холоднее, дул резкий ветер, но Лидия не обращала на это внимания и продолжала скорым шагом подниматься вверх по каменистой, извилистой тропинке. Обогнув высокую, похожую на египетскую пирамиду, скалу, Лидия увидела широкую площадку, со всех сторон окружённую скалами, в одной из которых зияла большая глубокая пещера. Не успела молодая девушка остановиться, как из-за камней ей навстречу поднялась высокая угрюмая фигура курда с ружьём за спиной и огромным кинжалом у пояса, одновременно с этим из глубины пещеры вышел Муртуз-ага.

— Видите, я сдержала своё слово! — сказала Лидия, легко спрыгивая с седла и передавая повод Копчика курду, который тотчас же куда-то с ним исчез.

— Вижу, вижу! — радостно улыбнулся тот, пожимая её руку. — Ну, милости просим, пожалуйста в пещеру, а то здесь холодно!

— А там разве теплее? — усомнилась Лидия, следуя за Муртуз-агой.

— А вот сами увидите!

Они вошли, и молодая девушка была невольно изумлена тем видом, который приняла теперь знакомая ей пещера. Посредине её были поставлены курдские камышовые, оплётённые паласами ширмы, на небольшом пространстве, отгороженном этими ширмами, были настланы толстые войлоки, а поверх них персидские ковры с положенными на них двумя подушками, в углу горел яркий костёр, дым которого уходил вверх, в едва заметную щель в скале. Несмотря на то что вход в пещеру был открыт, в ней было тепло, как в комнате.

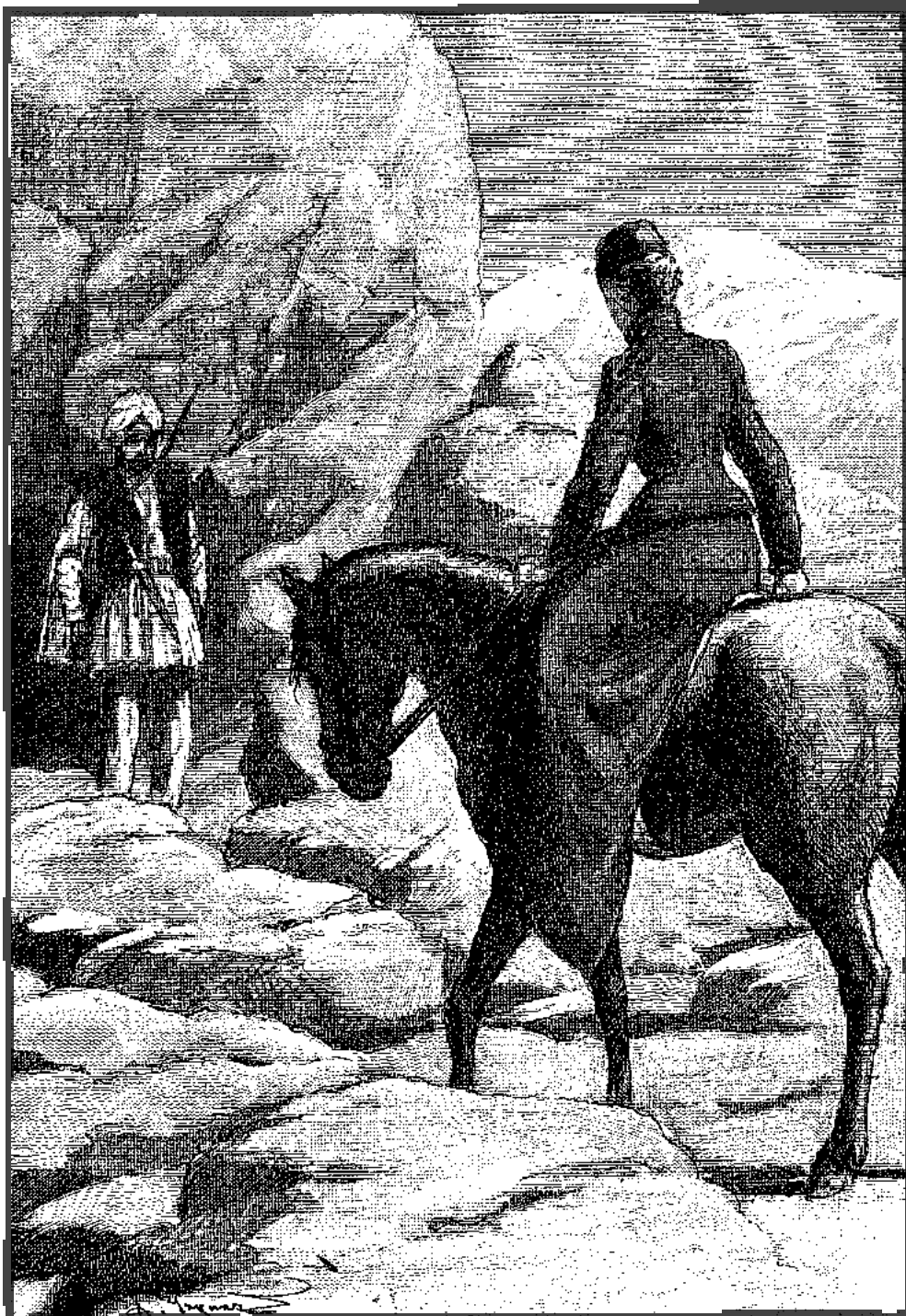
— Да вы тут прекрасно устроились! — воскликнула Лидия, оглядывая пещеру.

— Иначе было нельзя. Я сказал вам, что буду ждать вас три дня. Погода могла испортиться, наступят морозы, и тогда в этой пещере недолго и замёрзнуть!

— Но откуда же вы достали всё это — подушки, ширмы, ковры?

— Как откуда? Из Персии! Я взял с собой двух вьючных катеров, под вещи, кроме того, со мной четыре курда, одного вы сейчас видели!





— И вам удалось таким скопищем незаметно проскользнуть через границу? Удивляюсь!

— Что же тут удивительного? — усмехнулся Муртуз-ага. — Я же вам говорил, если захочу — пройду через границу, и никто меня не увидит и не услышит. Скажу вам лучше: я имею неопровержимые сведения, что нас эту ночь ждали. У Воинова все люди на границе. На посту два-три человека — не больше, у каждого брода заложены секреты из нескольких человек, кроме того, всю ночь разъезжают конные патрули. Сам он тоже на границе. Из всего этого ясно: он каким-то чудом узнал о моём приезде в Анадыр, сообразил, что я думаю тайно переправиться, и усиленно караулил всю ночь.

— В таком случае, как же вы проехали?

— Очень просто: я выбрал путь, где меня могли меньше всего ждать, а именно, около самого поста. Я прошёл со своими людьми в нескольких саженьях от часового, не в меру усердный солдат слишком внимательно приглядывался вдаль, и чересчур прислушивался к ожидаемой где-нибудь у дальнего брода тревоге, чтобы видеть и слышать около себя!

— Но почему же вы узнали, что вас ждут во всех бродах? — все больше и больше изумлялась Лидия.

— Ну, это уж совсем пустяки. Накануне этого дня, когда я решил переправиться, я послал трёх своих курдов, они весь день неподвижно пролежали в камышах, а вечером, когда солдаты начали занимать секреты, мои разведчики, как змеи, расползлись во все стороны, тщательно всё высмотрели, а затем, незамеченные никем, переплыли Аракс и дали мне знать. Руководствуясь их указаниями, я прошёл так же спокойно, как будто бы на границе никого не было.

— Ну, теперь я вижу, вы действительно не хвастались, говоря, что можете по желанию безнаказанно перейти границу, когда угодно! — воскликнула Лидия, невольно любуясь спокойным, мужественным видом Муртуз-аги, который стоял перед нею, поигрывая рукояткой кинжала, гордый, презирающий всякую опасность и в то же время почтительно-покорный.

Прошло несколько минут в томительном молчании. Оба сидели один против другого на ковре, подложив под локоть подушку и не глядя в лицо друг другу. Первая заговорила Лидия.

— Ну, что же, Муртуз-ага, я исполнила своё обещание, приехала, теперь дело за вами. Повторяю ещё раз: не любопытство руководит мной, а желание вам добра. Поделитесь со мной вашим горем, и затем мы вдвоём обсудим, нельзя ли будет вам выйти из тяжёлого положения, в котором вы находитесь!

— Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность! — тронутым голосом произнёс Муртуз-ага. — За двадцать лет, что я покинул родину, первый раз я слышу голос искреннего участия... Тем тяжелее мне будет моя исповедь, так как уверен, что после неё вы отвернётесь от меня... Вот главная причина, сковывающая мой язык...



— Я здесь не в качестве судьи! — тихо и спокойно произнесла Лидия. — Как бы ваше преступление ни было ужасно, вы успели уже много выстрадать за него, говорите смело, и верьте, я не брошу в вас камня!

— Вы — ангел, я давно это узнал и с первой же встречи стал боготворить вас! Вы казались мне существом нездешнего мира... Ах, зачем я вас встретил! Мне и раньше было тяжело, теперь же моя жизнь невыносима!

Последние слова Муртуз-ага произнёс в порыве такого отчаяния, что Лидии стало его особенно жалко.

— Успокойтесь, — произнесла она ласковым, ободряющим тоном, — и рассказывайте вашу историю. Когда вы выскажетесь, вам будет легче, уверяю вас!

— Повинуюсь, но дайте мне собраться с мыслями!

С этими словами Муртуз-ага закрыл глаза и несколько раз провёл рукой по лбу, выражение его лица было страдальческое. Очевидно, ему было очень трудно приняться за рассказ, но после некоторого колебания, преодолев своё волнение, он, наконец, начал глухим, как бы чужим голосом.

Признание

— Прежде всего, о моём имени, кто я и откуда родом. Я — грузин, фамилия моя князь Каталадзе, зовут меня Михаил Ираклиевич. Если бы вы были знакомы с историей нашего края, вы бы знали, что в прежние времена фамилия князей Каталадзе играла большую роль в судьбе Грузии, а в конце царствования Императора Александра I, один из князей Каталадзе занимал видный военный пост в Петербурге, но в конце сороковых годов он умер в преклонной старости, разорившийся и всеми забытый. Родных сыновей у него не было, но был племянник — мой отец, начавший свою карьеру в гвардии, но, затем, по недостатку средств, принуждённый перейти в гражданскую службу. Однако в гражданской службе отцу моему не повезло. Говорят, причиной этому были его грузинская вспыльчивость и откровенность, с которой он резко и грубо говорил людям в глаза то, о чём они не любят слушать. Не знаю, насколько всё это правда, но когда я родился, отец уже нигде не служил, а проживал в своём родовом запущенном имении, едва-едва прокармливавшем его и его семью, состоявшую, кроме меня и матери, ещё из двух сестёр, обе старше меня, и младшего брата, теперь уже давно умершего.

Мать моя была русская, отец женился на ней, когда ещё служил в Петербурге. Брак этот был счастлив, хотя, как мне кажется, вспыльчивый, строптивый характер отца немало приносил ей огорчений. Мать моя происходила из старинной зажиточной дворянской семьи, благодаря деньгам, принесённым ею в приданое, отец мог выкупить от ростовщиков-армян своё родовое, с незапамятных времён заложенное имение, где он и поселился, оставив службу, причинявшую ему только одни неприятности. Когда мне исполнилось двенадцать лет, меня отправили в военную гимна-



зию в Петербург на попечение тётки, замужней сестры моей матери. Рождённый под роскошным солнцем Грузии, взлелеянный её благотворным воздухом, я, однако, не мог выносить сурового, туманного климата северной столицы и постоянно болел. Благодаря тому обстоятельству, что я большую часть года проводил в госпитале, науки мои шли очень плохо, и я с грехом пополам окончил гимназию, но в военное училище уже не пошёл, а вернулся поскорее на родину и поступил в один из туземных полков вольноопределяющимся. С этого-то момента и начинается история моего несчастья.

Муртуз-ага, которого мы теперь уже будем называть его настоящим именем — князем Каталадзе, — тяжело вздохнул и, помолчав немного, как бы обдумывая дальнейшее повествование, снова начал:

— Итак, я поступил в полк. Какое это было чудное время!.. К сожалению, оно продолжалось недолго, всего несколько месяцев.

Полк наш был как одна семья, офицерство состояло из грузин и русских. Ни армян, ни татар в среде его не было, все были на «ты» друг с другом, все как братья. Вольноопределяющимся жилось прекрасно, они были приняты в офицерскую среду совсем запросто, по-товарищески, не так, как в других пехотных полках, где с ними обращаются немного лучше, чем с простыми нижними чинами. Так как большинство офицеров были грузины, то они давали тон всему полку, благодаря им, редкий день проходил без весёлого сборища в квартире кого-либо из них. Кахетинское лилось рекой, благо в те времена оно было немногим дороже воды; «азарпеш»⁶⁶ весело ходил по рукам удалой компании, под дружное пение традиционного «Мравал Джамнер» и забористые, шутливые тосты остроумца тамады. Иногда пир затягивался дня на три, на четыре, причём заправские кутилы всё это время так и не отходили от стола. Когда вино и сон одолевали их буйные головы, они облокачивались на стол и дремали час-другой со стаканами в руках, после чего, как ни в чём не бывало снова принимались за кутёж, пока, наконец, какое-нибудь постороннее обстоятельство не прекращало попойки. Не довольствуясь кутежами в холостой компании, офицерство наше то и дело устраивало пикники с дамами: как с полковыми жёнами офицеров, так и с городскими. На пикники преимущественно ездили верхом, у редкого офицера не было своего коня, какого-нибудь лихого кабардинца или золотистого Карабаха.

Как теперь вижу я эти весёлые поездки. Три-четыре фаэтона, наполненные нарядно одетыми дамами, мчатся четвёрками во весь дух по ровной дороге, среди виноградников и фруктовых садов... Вокруг них, спереди и сзади, джигитуя и перекликаясь между собой, на поджарых, горячих конях несутся молодые офицеры, ловкие, стройные, в черкесках, увешанные оружием в богатой серебряной оправе.

Тут же, не уступая мужчинам в лихости и удали, скачут две-три амазонки в цветных офицерских фуражках, с разгоревшимися лицами и блестящими глазами... Глядя на молодёжь, и у солидных офицеров разгорается сердце: не вытерпит иной



тучный, седовласый и плешивый майор, слезет со своей повозочки, запряжённой парой резвых иноходцев, и попросит кого-нибудь из молодёжи уступить своего коня, а самому сесть в его майоровскую повозку. Кряхтя и сопя, влезает старик на седло и, пригнувшись к луке, мчится за умчавшейся кавалькадой, которая встречает его громким и дружным хохотом, добродушно подтрунивая над его не умевающимся на седле животом и толстыми короткими ногами.

— Ладно, смейтесь, молокососы! — добродушно ворчит старик-ветеран. — Думаете, я не был такой, как вы? Был, ещё, пожалуй, получше! Помню, как в тысяча восемьсот сорок девятом, я был тогда совсем юным прапорщиком, мы...

И тут старик начинал бесконечную повесть из великой эпохи, которая зовётся Кавказская война. Эти бесхитростные рассказы, помню, действовали на нас, молодёжь, как смола на огонь, зажигая в наших сердцах жажду к опасностям и подвигам. С горящими глазами, сжимая пальцами эфесы шашек и рукоятки кинжалов, слушали мы старых вояк, принося в душе своей клятвы при случае последовать их примеру и поддержать незыблемую геройскую славу кавказских войск. Ах, чудное, невозвратное время!.. Впрочем, простите, я, кажется, увлёкся и говорю не о том, о чём следует... На чём я остановился? Ах, да, на том, что я поступил в полк. В полку я был зачислен в первую роту, ротный командир у меня был капитан Некраснев. На моём слабом языке нет таких слов, которыми бы я мог рассказать вам, что это была за личность, во всём, в чём только вы хотите, он мог служить образцом. Прекрасный фронтовик, службист, сумевший поставить свою роту на такую недостижимую высоту в деле военного образования и воспитания, что никому и в голову не приходило тягаться с ним. Егор Сергеевич, так звали Некраснева, в то же время был человек весьма добрый, даже снисходительный. С солдатами обращался прекрасно, с отеческой о них заботливостью, что же касается товарищей-офицеров, то лучшего товарища нельзя было и представить себе. У нас его все любили и почитали, мы же, мальчишки, вольноопределяющиеся его роты, прямо обожали его. С нами он держал себя очень просто, дружески, на службе был строг и взыскателен, а вне службы он являлся для нас не начальником, а как бы старшим братом. Попасть к нему в роту считалось большой честью и счастьем. Как и подобает солидному ротному командиру, человеку пожилому, капитан Некраснев был женат. Жена его, Людмила Павловна, была моложе его на двадцать лет. В то время, когда я с ним познакомился, Некрасневу было сорок пять, а ей двадцать пять лет, но это не мешало им жить душа в душу и сильно любить друг друга.

Особенно Некраснев, он, как говорится, души не чаял в своей жене, да, признаться, в этом не было ничего удивительного, Людмила Павловна была во всех отношениях замечательная женщина. Умница, каких мало, образованная, всегда весёлая, хорошая музыкантша и певица, и ко всему этому красавица такая, каких я ни раньше, ни позже, до встречи с вами, не встречал. Высокого роста, стройная, с дивными глазами, она с одного взгляда могла свести с ума любого мужчину...



У нас в полку половина офицеров была влюблена в неё до потери рассудка... Ко всему этому она была большая кокетка, у неё была страсть кружить головы своим многочисленным поклонникам. Теперь, под старость, припоминая прошлое, я нахожу эту черту характера в ней, её единственным недостатком, тогда же, разумеется, я этого не находил. Напротив, в наших глазах кокетство Людмилы Павловны имело особенную прелесть и вызывало ни с чем несравнимый восторг. Надо ли говорить, что я, в то время восемнадцатилетний юноша, не избег общей участи и с первых же дней моего знакомства с Людмилой Павловной страстно и безумно влюбился в неё.

На беду, не знаю отчего, по отношению ко мне Людмила Павловна была как-то особенно внимательна. Я был самый юный из всех её тогдашних поклонников, и она глядела на меня как на мальчика, забывая, что грузин, сын юга, в восемнадцать лет, пожалуй, более мужчина, чем северянин в двадцать—двадцать два года, и в несколько раз превосходит его пылкостью своего темперамента и страстностью натуры. К сожалению, Людмила Павловна не думала об этом и тем погубила всех нас троих. Относясь ко мне как к ребёнку, она позволяла себе много лишнего, держалась чересчур запросто, возилась со мной... шутя, драла меня за уши, шутя била меня по лицу, преимущественно по губам своими перчатками, веером, а то и просто пальчиками... Ей, очевидно, доставляло наслаждение дразнить «мальчишку», каковым она меня считала, искренне забавляясь кипевшей во мне страстью... Она смеялась, дурачилась, а я терзался, мучился, страдал... Я места себе не находил, сжигаемый внутренним огнём... Я бросался перед ней на колени, в пылких словах изливая ей мою любовь, мои терзания, но чем страстнее были мои объяснения в любви, тем громче и беззаботнее она смеялась, тем сильнее мучила меня... Она была положительно безжалостна. Единственным её оправданием служило то обстоятельство, что она искренне считала меня слишком юным, а страсть мою слишком ребяческой, чтобы придавать ей какое-нибудь серьёзное значение, но, повторяю, я был далеко не ребёнок и очень скоро доказал ей это. Как это случилось, признаюсь, я и сам не знаю, да и она, по всей вероятности, не знала... Чудный вечер, опьяняющий воздух и аромат тенистого сада, где мы сидели уединённо одни, бешеная страсть, превратившая меня в зверя, давшая мне смелость и решительность, а в ней вызвавшая растерянность и испуг... — словом, целое сплетение причин и обстоятельств. Как бы то ни было, но с этой минуты мы поменялись ролями. Кошка, игравшая дотоле мышкой, вдруг сама превратилась в мышку и сделалась жалкой игрушкой в руках того, кого ещё недавно она так безжалостно мучила. Страх перед мужем, боязнь открытия проступка сделали Людмилу Павловну покорной рабой моих желаний... Сознаюсь и каюсь, я поступал подло, низко, бесчеловечно. Единственным если не оправданием, то объяснением моего тогдашнего поведения была моя страсть, я любил Людмилу Павловну, любил горячо, безумно, но не самоотверженно. Впрочем, трудно требовать от человека в восемнадцать лет самоотверженности и великодушия в вопросах такого рода... Несколько раз несчастная женщина принималась



умолять меня, чтобы я пожалел её, уехал из того города, где мы жили, перевёлся бы в другой полк и тем порвал наши отношения, пока ещё не поздно, пока они составляют тайну, которая в противном случае рано или поздно должна же, наконец, открыться. Я отлично сознавал всю правоту, всё благоразумие и, наконец, всю справедливость такого требования, но в то же время не находил в себе достаточно сил добровольно отказаться от своего счастья. Повторяю, я любил... Обещая ей уехать, я, даже получив уже отпуск, всё оттягивал свой отъезд, прося у неё последнего свидания. После долгих отказов и отговорок, она уступила, наконец, моим настояниям, надеясь этим купить себе покой, и избавиться от меня, но я под тем или иным предлогом опять откладывал тяжёлый для меня день разлуки и опять требовал и настаивал на новой встрече... Это было с моей стороны какое-то безумие. Грустнее всего было то, что Егор Сергеевич ничего не подозревал и продолжал относиться ко мне с большим расположением и доверием, а между тем по городу уже начали похаживать сплетни, сначала весьма неясные, туманные, робкие, но с каждым днём всё более и более настойчивые и упорные... В провинциальном городе, где жизнь каждого как на ладони, трудно уберечься от наблюдений милых соседей, и нет того секрета, который бы в очень непродолжительное время не сделался бы достоянием всех и каждого.

Кое-какие отголоски бродивших слухов достигли, наконец, и моих ушей. Я понял, что дольше откладывать с отъездом нельзя. Отпускной билет у меня был готов давным-давно, вещи уложены, оставалось сесть в почтовую тележку и уехать, сперва к отцу в имение, а затем месяца через полтора в юнкерское училище. Была минута, когда я совсем готов уже был послать за лошадьми и ехать, но, видно, злой дух, желавший нашей гибели, подшепнул мне остаться ещё на один день...

Убийство

С вечера я послал Людмиле Павловне записку о том, что утром уезжаю. В доказательство бесповоротности моего решения, я одновременно с этой запиской послал её мужу рапорт о выезде, рапорт этот был помечен тем же числом. Таким образом, я считался вышедшим из города накануне того дня, когда рассчитывал уехать в действительности. Сначала я думал уехать не повидавшись с Людмилой Павловной, но желание ещё раз взглянуть на неё перед вечной, по всей вероятности, разлукой взяло верх над благоразумием, и я на другой уже день, зная, что Егор Сергеевич на занятиях в роте, послал Людмиле Павловне вторую записку требуя, чтобы она пришла в рошу на последнее свидание, угрожая в противном случае остаться и не уехать, несмотря на поданный накануне рапорт. Зная мою отчаянность, и легко допуская возможность выполнения мною моей угрозы, Людмила Павловна, считавшая себя уже свободной, не на шутку испугалась и поспешила на мой призыв... Тяжело мне было расставаться с ней, так тяжело, что не умею и сказать... В эту

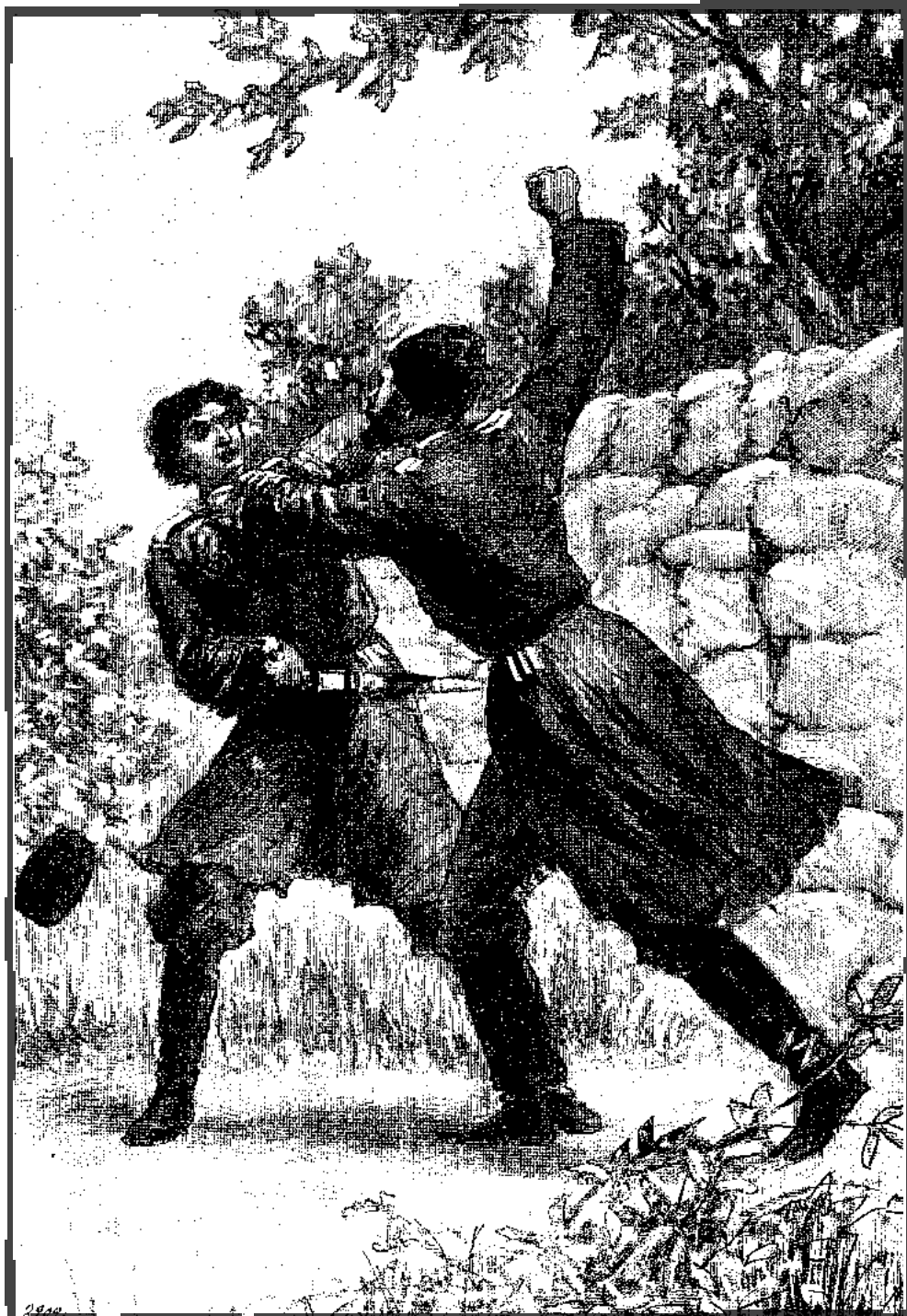


минуту я искренне и глубоко страдал. Даже Людмиле Павловне стало под конец жалко меня, и она, стараясь меня утешить, первый, может быть, раз от всего сердца ласкала меня... Впрочем, кто знает, может быть, и она любила меня? Да и наверно любила, не настолько, конечно, чтобы бросить мужа, порвать связи с обществом и пойти за мной без оглядки и без рассуждения, но, тем не менее достаточно сильно... Однако всему бывает конец, пришёл конец и нашему свиданию... Обняв и поцеловав меня в последний раз, Людмила Павловна встала с поваленного ветром дерева, служившего нам скамьёй, и быстрым шагом пошла домой.

— Позвольте мне проводить вас до вашего сада, — взмолился я, — только до сада! Клянусь честью матери, я не переступлю порога калитки, а прямо пройду домой, сяду в повозку, которая, наверно, меня уже ждёт, и уеду!

Людмила Павловна мне ничего не ответила, и я, приняв её молчание за согласие, пошёл с ней рядом. По моему расчёту Егор Сергеевич был ещё в роте, откуда он приходил, не раньше как солдаты, окончив занятия, сядут обедать, то есть в час дня или около того, несколькими минутами раньше, несколькими минутами позже. Поэтому я немало был поражён, когда, подойдя с Людмилой Павловной к калитке сада, мы неожиданно столкнулись с Егором Сергеевичем. Всегда спокойный и сдержанный, на этот раз он был страшно взволнован. Лицо его было бледно, и по нему бегали судороги, брови мрачно насуплены, а сжатые в кулаки руки дрожали, как при лихорадке... Увидев меня и Людмилу Павловну, он вздрогнул всем телом и, стремительно отпрянув назад, воззрился на нас пытливым, недобрый взглядом... Я видел, как Людмила Павловна вдруг сильно побледнела, и всё лицо её приняло выражение одного сплошного ужаса. Низко наклонив голову, трепеща всем телом, проскользнула она мимо мужа, не решаясь поднять на него своих глаз, и поспешила скрыться в дом. Проводив жену долгим взглядом, в котором одновременно отразились волновавшие его разнородные чувства: любовь, ненависть, жалость, бешенство, отчаяние и безысходная тоска — Некраснев поднял голову и пристально взглянул мне прямо в глаза, как бы ища в них подтверждения своих сомнений и догадок. Только тут я заметил в его руке скомканный лист почтовой бумаги, очевидно, чей-нибудь анонимный донос, столь излюбленный в провинции способ открывания глаз недогадливым мужьям... С минуту мы пристально, не сморгнув, глядели один другому в очи, и, должно быть, в моих глазах он прочёл роковую для него истину, потому что он вдруг весь как-то перекривился, из груди его вырвался не то стон, не то глухое рычание... Ещё один миг, и он держал меня одной рукой за горло, а другой со всего размаха наносил мне удары по лицу... В первое мгновение я растерялся от такой неожиданности, но уже со вторым — моя рука инстинктивно схватилась за рукоятку кинжала... Одно неуловимое, как молния, движение — и холодная, острая, блестящая сталь глубоко вонзилась в тело оскорбителя... Одним бешеным ударом я вскрыл ему весь живот до самой груди... Егор Сергеевич глухо застонал и, как подкошенный, обливаясь кровью, упал к моим ногам... В это мгновение,





я услышал отчаянный, душу раздирающий крик и увидел Людмилу Павловну, рас-трёпанную, страшную, с безумным выражением лица, с широко раскрытыми, за-стывшими в смертельном ужасе глазами, она неслась к нам по дорожке сада... Руки её были простёрты, а изо рта вылетал хриплый, нечеловеческий крик, похожий ско-рее на вой; в паническом страхе я поспешно выпустил из рук кинжал и без оглядки кинулся бежать... Удивляюсь, как меня не поймали... Охваченный ужасом, я бежал, не отдавая себе отчёта, бежал, куда глаза глядят, нисколько не заботясь и не думая о скрывании своих следов... Не понимаю до сих пор, откуда у меня только силы взя-лись, каким образом я мог бежать целый день, не останавливаясь, и только когда ночь опустила свой покров на землю, я, наконец, опомнился. Осмотревшись кру-гом, я увидел себя в совершенно незнакомом для меня месте, среди каких-то угрю-мых скал. Передо мной вилась узкая каменистая тропинка, и я, недолго думая, то-ропливо зашагал по ней, обуреваемый одним желанием поскорее и как можно даль-ше уйти от того места, где я оставил на дорожке сада плавающего в крови моего начальника и друга, а подле него ещё недавно столь любимую, а теперь страшную мне женщину... Не страх кары за совершённое преступление, а ужас перед этими двумя загубленными мною людьми побуждал меня бежать вперёд, и я бежал, то тихо, то шибко, по временам останавливаясь, переводя дух, но, не смея, ни на ми-нуту присесть... По мере того как я продвигался вперёд и под влиянием ночной ти-шины и прохлады, мысли мои начали мало-помалу проясняться и, наконец, прояс-нились настолько, что я мог начать разумно обсуждать моё положение. Раз я решил скрыться, мне не оставалось иного пути, как бежать в Персию или Турцию, смотря по тому, к какой из границ я находился ближе в эту минуту. Но, чтобы узнать это, необходимо было зайти в какое-либо селение и расспросить жителей относительно дороги. Решив поступить таким образом, я первым делом озабочился изменить несколько свой костюм. Я уже говорил вам, что наш полк носил туземную одеж-ду: короткие черкески верблюжьего сукна, чёрные бешметы и круглые шапочки-тушинки, на ногах чувяки⁶⁷ и ноговицы⁶⁸, в общем, это был костюм грузинского или скорее армянского поселанина. Так как я в этот день собирался уезжать, то на мне была надета не собственная щегольская черкеска, какие мы носили вообще, из тон-кого дорогого сукна, а обыкновенная казённая из грубой верблюжьей материи, в моём настоящем положении это было как нельзя более кстати. Надо было только отпороть ворот бешмета с нашитыми на нём унтер-офицерскими галунами, сбросить серебряный пояс с серебряными ножнами кинжала да на всякий случай понаделать побольше прорех и дыр на самой черкеске, чтобы достигнуть полнейшего сходства с поселанином. Я так и сделал: забросил пояс, ножны и газыри в первую попавшуюся на пути расщелину в скалах, острым камнем пропорол спину, бока и подмышники в своей черкеске, оборвал подол и затем, к довершению всего, хорошенько извозил её по песку и, не теряя времени, двинулся дальше. На рассвете я встретил трёх татар с навьюченными чем-то ишаками. Родившись и проведя первые годы детства на



Закавказье, я довольно хорошо говорил по-татарски, а потому для меня не составило труда расспросить встреченных мною погонщиков, куда ведёт тропа, по которой я шёл. Оказалось, я, не отдавая себе отчёта, вполне случайно попал на дорогу, направлявшуюся в Персию. Можно было подумать, будто бы судьбе самой было угодно, чтобы я спасся, ибо лучшего выбора пути для своего спасения я не мог бы придумать. Если бы я пошёл к Турции, граница которой была, правда, гораздо ближе от города, где я жил, но зато несравненно многолюднее, меня бы, наверно, схватили. Ибо погоня, по всей вероятности, направлена была туда, так как естественнее было ждать от меня бегства по знакомой мне местности в ближайшую Турцию, чем стоящую от места преступления в нескольких переходах далёкую персидскую границу, дороги к которой я не знал и не мог знать.

Три дня и три ночи шёл я, почти не останавливаясь, выбирая глухие тропинки, ориентируясь днём по солнцу, а ночью — по звёздам, и только в крайности заходил в попадавшиеся на пути глухие деревушки купить что-нибудь поесть, да расспросить про дорогу. Деньги у меня были те самые, на которые я собирался ехать домой в отпуск, с чем-то более двадцати рублей. Хотя такая сумма могла считаться вполне ничтожной, но в моём тогдашнем положении это был целый капитал, во многом подействовавший успеху моего бегства.

Только на четвёртый день достиг я, наконец, персидской границы. Я был страшно измучен, ноги мои были изранены, от скудной пищи и непомерного напряжения всех физических сил я отошёл до последней степени... Силы покидали меня. Ещё немного, и я, пожалуй, упал бы от изнеможения, голода и жажды. Упал бы, почти достигнув цели своих стремлений... Но судьба и на этот раз неожиданно пришла мне на помощь: в глухом, безлюдном ущелье я наткнулся на какого-то подозрительного армянина, оказавшегося впоследствии русским шпионом и спешившего через Персию в Турцию. Мне удалось уговорить армянина взять меня с собой в Персию. Только тогда, когда, сидя за его спиной на куче крепкого и сильного катера, въехав в бурливый, бешено несущийся в стремительном течении Аракс, я понял, насколько счастлива для меня была встреча с армянином. Без него, предоставленный самому себе, я ни под каким видом не в состоянии был бы переправиться на ту сторону. Бродов я не знал, а переплыть такую быструю и свирепую реку, особенно в том состоянии полного упадка сил, в каком я тогда находился, нечего было и думать. Всякая попытка в этом направлении неминуемо окончилась бы моей гибелью.

Новое Отечество

Как я выше сказал, армянин был русским шпионом. Тогда Россия готовилась к войне с Турцией, и кавказские военные власти посылали шпионов-армян для собирания разных сведений о положении приграничных турецких крепостей и о состоянии неприятельских войск. К одним из таких шпионов принадлежал и встреченный



мною армянин. Это был умный и ловкий старик, не лишённый доли мужества и даже склонный к самопожертвованию. К сожалению, его постигла горькая судьба большинства шпионов, направившихся в тот год в Турцию: он очень скоро был изобличен и без церемоний повешен турками. Впрочем, в его гибели, как я потом узнал, был виноват Чингиз-хан — владетель Суджи, отец нынешнего правителя Хайлар-хана. Стиснутый с обеих сторон могучими соседями, собиравшимися в то время напасть друг на друга, Чингиз-хан старался угождать и тому, и другому. В угоду России он помог армянину-шпиону, о котором я рассказываю, беспрепятственно и очень ловко пробраться в Турцию и собрать кое-какие сведения, которые он имел неосторожность переслать через того же Чингиз-хана в Россию. Это была с его стороны непростительная ошибка, ибо Чингиз-хан, доставив в Россию посылку армянина, счёл, что этим он выполнил всё по отношению к русским и пора подслужиться туркам. Выходя из такого соображения, он поспешил стороной предупредить пашу соседнего вилайета⁶⁹ и указать ему на проживавшего там русского шпиона. Таким образом, Чингиз-хан явился добрым соседом и для русских, и для турок. Не зная про его вероломство, и те и другие остались довольны. Недовольным мог считать себя один только бедняга-армянин, очутившийся в один печальный для него день неожиданно-негаданно на довольно-таки высоком суку. Впрочем, об этом меньше всего была забота.

Оставшись в Судже, я поступил на службу к Чингиз-хану. Должно быть, под влиянием делаемых в России и Турции приготовлений к войне Чингиз-хан задумал и у себя завести нечто вроде регулярного войска. Переговорив со мной и узнав от меня, что я военный, Чингиз-хан, очевидно, принял меня за русского офицера, в чём я, каюсь, его не счёл нужным разубеждать. Он предложил мне организовать из подвластных ему курдов полк казаков, а из персов — полк пехоты, он мечтал даже и об артиллерии, но из всех этих затей ничего не вышло, после долгих усилий мне удалось с грехом пополам сформировать одну сотню всадников, но дальше дело не двинулось ни на шаг. Причина такого неуспеха крылась, во-первых, в нежелании Чингиз-хана делать большие расходы, а во-вторых, в полном отсутствии людей, могущих явиться моими помощниками. Но хотя предприятие моё и не удалось, Чингиз-хан не изменил ко мне своего благоволения, вообще это был человек, имевший свои достоинства, и родился он не в Персии, неизвестно, чем бы он мог быть. Гордый деспот, кровожадный зверь, не знавший жалости, хитрый и мстительный, он вместе с тем был человек умный. Людей, которые ему были полезны, он ценил и умел даже привязывать их к своей особе. Ко мне он относился особенно хорошо, он отлично понимал, что, не будучи природным персом, не связанный никакими местными интересами, тем не менее принуждённый жить в Персии, я в силу своего положения являлся самым надёжным, самым преданным ему человеком, на верность и усердие которого он мог положиться. Исходя из таких соображений, Чингиз-хан приблизил меня к себе, и до самой его смерти я пользовался его расположением,



несмотря даже на недовольство некоторых наиболее фанатичных мулл, не прощавших мне моего христианского происхождения. Хотя я в угоду Чингиз-хану и принял мусульманство, но не очень-то усердно исполнял обряды и адаты, яркие фанатики мне ставили это в вину, и не раз только близость к свирепому хану избавляла меня от крупных неприятностей.

Вскоре после того, как я поселился в Судже, мне удалось на деле доказать Чингиз-хану свою преданность. Один из ближайших родственников хана затеял заговор против него, рассчитывая сам занять его место, во дворце многие даже из приближённых к Чингиз-хану знали об этом заговоре, но из сочувствия молчали. Благодаря одной счастливой случайности, я вовремя узнал о готовившемся бунте и поспешил предупредить хана. Хитрый старик выслушал меня очень внимательно, но сделал вид, будто бы не поверил ни одному слову, и с прежним доверием продолжал относиться к своему родственнику и ко всем его сообщникам. Так прошли недели две. Заговорщики уже назначили день нападения на дворец хана, как вдруг произошло неожиданное событие. Во время беседы со своим родственником за чашкой кофе, Чингиз-хан, показывая ему купленный им недавно револьвер, нечаянным выстрелом застрелил его на месте. Надо было видеть, с каким искусством разыграл сцену горести по убитому, как он искренне сокрушался! Из всех приближённых только я не поверил нечаянности убийства. Остальные все были введены в заблуждение. Не успели, однако, похоронить главного заговорщика, как погиб, и тоже неожиданно, один из его ближайших сообщников. Он шёл по базару, как вдруг около него несколько человек курдов затеяли ссору, перешедшую в драку. Засверкали кинжалы, и один из курдов, желая ударить товарища, с размаху нечаянно всадил клинок в грудь подвернувшемуся тайному врагу Чингиз-хана. Когда оба главных и самых опасных затейщика смут погибли, Чингиз-хан сбросил с себя личину, и тут-то я мог вдоволь наглядеться на его неукротимую злобу и беспощадную свирепую жестокость... Последовал целый ряд убийств. По приказанию Чингиз-хана шайки курдов врываются в дома намеченных жертв и свершали кровавую расправу, гибли не только взрослые мужчины, но женщины и дети, при этом кровожадные курды не довольствовались простым убийством, а предварительно истязали свои жертвы самым ужасным образом, даже младенцы были подвергнуты неслыханным мучениям... Кровь лилась рекой, имущество расхищалось, дома разрушались до основания... Убийства прекратились только тогда, когда не осталось в живых ни одного заподозренного в участии в заговоре. Перепуганные насмерть суджинские жители притаились и трепетали, о каком-нибудь сопротивлении никто не смел и помыслить, все только об одном и молили, дабы милосердный Аллах утихомирил сердце сардара. Поняв из действий Чингиз-хана, что ему сделался известным заговор, заговорщики тем не менее не могли никак догадаться, откуда хан получил нужные ему сведения. Старик до самой смерти таил это про себя и только умирая, и то с глазу на глаз, рассказал обо всём сыну своему Хайлар-хану, посове-



товав ему приблизить меня к себе, что тот и исполнил. Теперь я и при сыне пользуюсь тем же положением, каким пользовался при отце... Вот вам в коротких словах вся моя жизнь. Того же, как я страдаю, как рвусь всей душой назад в Россию, какое отчаяние по временам овладевает мной, я никакими словами выразить не могу. Чтобы понять всё это, надо испытать на себе... Слова же тут бессильны. Раньше, до встречи с вами, я ещё кое-как влачил своё жалкое существование, но теперь... теперь я чувствую, жить дальше нельзя... К чему мне моё богатство, моя свобода, даже почёт, который окружает меня! О, как бы охотно я отдал бы всё золото своё, все бриллианты, лошадей, ковры, словом — всё, всё, за право вернуться в Россию под собственным своим именем и поступить хотя бы писцом куда-нибудь!.. Иногда, тщательно заперев двери и окна, я по целым часам горячо молюсь у себя в комнате... плачу... прошу Бога помочь мне... Но и произнося слова молитвы, я сознаю всю невозможность для меня иного исхода. Вернуться в Россию — это значит идти на каторгу. Повторяю, я смерти не боюсь. Однако и так жить, как я жил — я тоже не могу, особенно теперь... Остаётся, стало быть, только умереть!..

Последние слова Каталадзе произнёс покорно-печальным голосом и замолк, тяжело опустив голову.

Планы

Лидия Оскаровна сидела бледная, потрясённая до глубины души. Всё её существо прониклось жалостью к этому несчастному человеку, той стихийной, всесокрушающей жалостью, на какую бывают способны только женщины и которая толкает их иногда на величайшие подвиги самопожертвования.

— Как мне жаль вас, князь! — тихим голосом произнесла она, кладя свою руку на его. — Особенно теперь, когда я узнала, как мало виноваты вы в своём преступлении и как жестоко за него наказаны!

— Вы говорите, мало виноват! — глухим голосом произнёс Каталадзе. — Как это можно! Нет, вина моя ужасна, я убил прекраснейшего человека, благородного, великодушного, перед которым сам же был кругом виноват, разбил жизнь женщины, мною любимой, переменял веру... Последнее самое ужасное... Нет преступника больше меня!

— Полноте, не предавайтесь отчаянию! — ласково, наклоняясь к его лицу, заговорила Лидия. — Преступление ваше велико, но вы уже отчасти искупили его, отчасти можете искупить в будущем. Главное, это выйти из того положения, в котором вы находитесь теперь!

— Как это сделать? — мрачно произнёс князь.

— Очень просто. Вы говорите, вы богаты, в таком случае продайте всё, что можно продать, и уезжайте в Европу. Там вы обратитесь в любое русское посольство, расскажите со всей откровенностью о ваших злоключениях и умоляйте



государя о помиловании... Государь наш добр и милостив, он войдёт в ваше положение и дозволит вам вернуться в Россию, преступление ваше будет вам прощено. Но если бы даже вы и подверглись наказанию, то, наверно, не такому ужасному, как вы думаете...

Князь Каталадзе печально покачал головой.

— Всё это ни к чему, — грустно произнёс он. — Я уже не юноша, мне около сорока лет, горе и тяжёлые обстоятельства состарили меня, потушили огонь в моём сердце. При таких условиях начинать новую жизнь невыносимо: у меня не хватит энергии начать новую борьбу с судьбою, хлопотать, ездить, волноваться, сталкиваться с новыми людьми, с новыми условиями и порядками жизни... Подумайте, разве всё это легко? Гораздо легче и проще — умереть. Если бы я ещё был не один, если бы подле меня было существо, которое любило бы меня, поддерживало бы мою энергию, о, тогда бы я нашёл достаточно сил преодолеть все препятствия, побороть все трудности, какие бы судьба ни выдвигала на моём пути! Но, увы! Я одинок, никому не интересен, никому не нужен... Для чего же я буду вновь испытывать судьбу?..

— На новом своём пути вы можете встретить такое существо...

— Никогда! — порывисто воскликнул Каталадзе. — Никогда!

— Откуда у вас такая уверенность? — изумилась Лидия.

— Потому что я уже встретил такого человека, который бы мог меня спасти, вдохнуть в меня душу, возвратить к жизни... Но к чему говорить о том, чего никогда не может случиться!..

— Кто же этот человек? — пристально посмотрела на него Лидия. — И почему вы не ожидаете сочувствия с его стороны?

Князь Каталадзе вздрогнул всем телом и торопливо поднял глаза на Лидию. Несколько минут они пристально глядели в глаза друг другу.

— Послушайте, — дрожащим голосом, почти шёпотом заговорил Каталадзе, — что это такое? Сон, шутка или обман слуха... Скажите, так ли я понял?.. Нет, это безумие! Я сумасшедший, простите, я не понял вас... Простите великодушно... Мне показался намёк в ваших словах? Вы, разумеется, не то хотели сказать, что мне вообразилось... Моя судьба кончена, и песенка спета. Во всяком случае, я бесконечно признателен вам, если бы не встреча с вами, я, может быть, ещё долго продолжал бы влачить своё позорное существование, как верблюд седло на израненной спине: незаметно подкралась бы старость с её немощами и болезнями, а там и смерть... Я умер бы как мусульманин, и ненавистные мне муллы похоронили бы меня на персидском кладбище... Подумайте, разве это не ужас?.. Разве не в тысячу раз лучше и благороднее взойти на высокую пустынную гору, куда не ступала нога человеческая, и броситься в бездонную пропасть, где никто никогда не найдёт моего тела, чтобы совершить над ним кощунственное для христианина, каким я остался в душе, погребение... Я умру среди вольных гор, как орёл, одиноко перед лицом Бога, перед



которым я так страшно виноват. Вы же будьте счастливы, и хотя изредка вспоминайте несчастного Муртуз-агу.

По мере того как он говорил, глаза его разгорались от охватившего его энтузиазма, голос окреп, и вся его фигура дышала твёрдой решимостью.

Лидия смотрела ему в лицо, и в её уме с быстротой молнии, в свою очередь, зрели и слагались решения...

— Погодите немного! — заговорила она, по-видимому, вполне спокойным голосом. — Речь идёт о жизни, а не о смерти... Повторяю ещё раз: продайте ваше имущество и уезжайте в Европу. Хлопочите, устраивайтесь, добейтесь разрешения вернуться в Россию и тогда...

— И тогда?

— И тогда, если вы вспомните о вашем друге, о том существе, которое, по вашему мнению, может сделать жизнь вашу счастливой, — напишите ему и получите ответ...

— Какой?

— А это смотря по вопросу!

— Лидия Оскаровна, — глухим голосом заговорил князь Каталадзе, — понимаете ли вы, какое слово сказано вами?.. Какую ответственность берёте вы на себя?.. Ведь, если впоследствии, когда я, преодолев все преграды, приеду напомнить вам ваше обещание, а вы к тому времени успеете забыть его, то какой ужасный удар нанесёте вы мне!.. Подумайте хорошенько об этом и позвольте мне лучше умереть теперь, чем рисковать таким страданием в будущем!

— Ваши слова доказывают только ваше недоверие ко мне... Чем я его заслужила? Или вы, может быть, думаете, что мне следовало бы теперь же последовать за вами... Но если я этого не делаю, то не из страха связать свою судьбу с человеком без определённого положения, вовсе нет, меня удерживает сознание, что один вы легче и скорее достигнете благоприятных результатов в задуманном деле. Моё присутствие связало бы вас руки и ослабило бы энергию, на которую я возлагаю твёрдую надежду!

— И, не ошибётесь, клянусь вам, не ошибётесь! Не пройдёт и месяца, как меня уже не будет в Судже...

— И отлично, во всяком деле важно начало. Вы только верьте и не теряйте бодрости духа!

— Но неужели я вас больше не увижу?

— Теперь и не надо. К чему рисковать? Подумайте, из Суджи вы должны будете уехать тайно, ибо не думаю, чтобы Хайлар-хан добровольно отпустит вас, лучший вам путь в Европу через Турцию — и ближе, и безопаснее. Как же вы ухитритесь ещё и сюда заехать? Нет, нет, я вам положительно запрещаю это делать, слышите? Когда будете уже в Европе, напишите мне, я вам отвечу, а пока — до свидания при лучших условиях. Мне надо торопиться домой, а то там будут беспокоиться!



Она протянула ему руку, которую князь крепко пожал.

— До свидания! — произнёс князь. — Я как в тумане, мне кажется всё это несбыточным сном, бредом!

— Напрасно! А я так, напротив, верю, верю в вас, верю в себя, верю в нашу счастливую звезду! Ну, а пока ещё раз до свидания. Прикажите вашему курду подвести Копчика!

— Сейчас, — покорно произнёс Каталадзе и, приложив палец к губам, резко свистнул. В то же мгновение раздался топот бегущей лошади, и к отверстию пещеры подбежал с Копчиком в поводу встретивший Лидию при её приезде мрачный курд.

— Этот курд, — сказал князь, — моя правая рука, самый смелый и надёжный из всех, единственный человек, которого мне будет жаль покинуть в Судже!

— А разве вы не могли бы его взять с собой? — спросила Лидия.

— Я лично охотно бы взял его, но он-то ни за что не согласится покинуть свою родину. Ни за какие блага в мире не променяет он своих диких, бесплодных гор!

Лидия ещё раз крепко пожала руку князю, вспрыгнула в седло и начала осторожно спускаться с крутизны. Съехав вниз, она оглянулась, сделала прощальный жест рукой и, подняв Копчика в галоп, понеслась к Шах-Абаду.

Каталадзе, стоя на краю обрыва, долго и пристально смотрел ей вслед, пока она не исчезла, наконец, из виду. Тогда он вошёл снова в пещеру и, опустившись на колени, принялся горячо и усердно молиться, беззвучно повторяя одну и ту же молитву: «Господи, пожалей и помоги!».

В эту минуту ему показалось, что среди мрачных сумерек, густо нависших над его головой, блеснул яркий луч солнца, и первый раз за все эти двадцать лет душа его наполнилась тихой, светлой радостью.

Последние опасности

Поздний вечер. Солнце давно уже скрылось, и ночная мгла окутала землю. Тучи медленно ползут по небу, заволакивая бледный диск луны, которая то выглядывает из-за их разорванных лохмотьев, то снова прячется, после чего на земле делается темно, как в могиле. Среди холодного мрака бесформенной громадой возвышается здание Урюк-Дагского поста. Благодаря тому, что все окна обращены внутрь двора, а наружу выходят только высокие глухие стены, не светится ни одного огонька, и весь пост кажется погружённым в глубокий сон, но это только так кажется, на самом же деле там кипит лихорадочная деятельность. Из окон казарм, конюшни и офицерской квартиры тянутся скрещивающиеся между собой яркие полосы света, освещающие двор, в одном конце которого, кроме того, горит ещё и небольшой фонарь на деревянном столбе с проволочной решёткой на стёклах. На дворе, как тени, снуют фигуры солдат пограничной стражи; их человек десять, одеты они в



полушубки, папахи, башлыки, на ногах валенки или кавказские бурочные сапоги, за плечами у каждого винтовка, а на боку — шашка. Тут же стоят, жмурясь на свет, осёдланные лошади. Солдаты, видимо, озабочены и торопливо готовятся к скорому выступлению. Одни из них внимательно исследуют, насколько крепко держатся подковы, достаточно ли туго подтянуты подпруги, на месте ли и правильно ли положены лавки сёдел, осматривают и щупают пряжки на уздечках и прочих частях конского снаряжения, укорачивают или удлиняют путлища стремян. Другие оправляют на себе амуницию: портупей, перевязи винтовок, пояса, пробуют, свободно ли выходят из ножен клинки шашек, легко ли вынимаются патроны из заранее расстёгнутых патронташей. Успевшие привести себя и лошадей в полный порядок, терпеливо стоят и, в ожидании приказа сесть в седло, ведут между собой беседу вполголоса. Тем временем в кабинете офицера происходит последнее совещание между поручиком Воиновым и старшим вахмистром его отряда — Терлецким.

Аркадий Владимирович стоит у стола и наскоро дохлёбывает остывший чай. Он одет по-походному: короткий романовский полушубок туго стянут боевым ремнём, на ногах бурочные сапоги, на голове большая косматая папаха, нахлобученная на уши и слегка сдвинутая на затылок, через плечо на тонком ремне висит отделанная в серебро кавказская шашка, торчащий из лакированной кобуры револьвер дополняет вооружение.

В этом костюме Воинов имел весьма воинственный, мужественный вид, особенно благодаря папахе из длинного волоса и кавказской шашке. И то, и другое, в сущности, являлось нарушением установленной для пограничной стражи формы. Но Воинов, как и многие из офицеров закавказских бригад, при обыкновенных служебных разъездах разрешал себе такое отступление, на практике убедившись, насколько прежняя большая косматая папаха несравненно красивее и удобнее форменной маленькой, из курчавого барашка. Относительно же преимуществ кавказской шашки перед драгунской не могло быть и речи.

— Итак, ты уверен, что он ещё не успел перейти обратно в Персию? — спрашивал Воинов стоящего перед ним вахмистра.

— Так точно! — спокойным тоном отвечал тот. — Я доподлинно знаю, что он ещё в нашем краю. Мне один верный человек сказывал, он его сегодня утром в горах встретил!

— А как ты думаешь, много у него народа?

— Думаю, есть человек с десяток, да на той стороне с полсотни рыщут, чуть что — сейчас же на подмогу подойдут!

— Трудно будет захватить, а? Как ты думаешь?

— Да, не лёгкое дело. Главная беда — хитры они, проклятые, очень. Я план-то их хорошо знаю: сначала курды завяжут для отвода глаз перестрелку в каком-либо конце, солдаты бросятся на выстрелы, а Муртуз-ага тем временем в суматохе-то этой самой где-нибудь и проскочит через границу!



— Как же нам быть?

— А вот для этого самого я и приказал собраться десяти объездчикам, разделим их на две партии, одни пусть с вашим благородием идут, человек пять, а с другими пятью я поеду. Как начнётся стрельба на границе, так мы сейчас в сторону от неё вправо и влево и поедem. Может быть, бог даст, наткнёмся где на самого Муртуз-агу!

— На выстрелы, стало быть, по-твоему, ехать не стоит?

— Так точно, не стоит, ваше благородие, они беспреренно в другом месте проскользнуть норовят!

— Ну, ладно, посмотрим, что-то бог даст! Пора выезжать, прикажи людям садиться!

— Слушаюсь!

Терлецкий повернулся и вышел. Увидев вахмистра, солдаты притихли и начали торопливо подравниваться.

— Садись, — вполголоса скомандовал Терлецкий. — Убий-Собака, Мозговитов, Слесаренко, Злодийцев, поедете со мной, остальные с его благородием. Ну, с богом!

Через несколько минут две кучки всадников, одна вслед за другой, осторожно выехали из ворот поста.

— Ну, ты поезжай вправо к своему посту, — сказал Воинов, — а я возьму в Шах-Абаду, я думаю, он скорей сюда сунется!

Обе партии, соблюдая полную тишину, разъехались в противоположные стороны и скоро исчезли из глаз друг друга, потонув в окружающем мраке.

Около часа ехал Терлецкий вдоль камышей, густой стеной окаймлявших берег реки. Время от времени он останавливался и чутко прислушивался к мёртвой тишине пустыни, но пустыня была нема. Только изредка с налетавшими иногда порывами ветра доносилась откуда-то издалека едва уловимая для уха брехня собак на соседнем посту. По мере того как всадники подвигались вперёд, брехня эта становилась всё слышнее.

— Эх заливаются, проклятые! — проворчал вахмистр.

— Это они нас чувят, господин вахмистр! — почтительно прошептал подле него голос ефрейтора Убий-Собаки.

— А может, где в камышах курды притаились?

— И то может! — согласился ефрейтор.

Они двинулись дальше. Вдруг в нескольких шагах впереди по земле прокатилось что-то тёмное... В то же мгновение из-под самых ног вахмистровой лошади вынырнула из мрака огромная косматая белая овчарка и с громким, хриплым лаем принялась прыгать перед мордой коня, стараясь вцепиться в неё зубами.

— Цыц, ты, дьявол! — закричал на неё вахмистр. — Уймись, проклятая!

— Белка, Белка! — ласково позвал собаку ефрейтор. — Что ты, глупая, аль своих не признала?



Услыхав знакомый голос, овчарка сразу затихла, замахала хвостом и принялась кружиться вокруг лошадей, слегка взвизгивая, как бы желая этим сказать: «Простите, господа, дело ночное, к тому же и место разбойное, немудрено ошибиться».

— Послушай, Убий-Собака, — обратился вахмистр к ефрейтору, — постойка ты тут малость с людьми у камышей, а я на пост съезжу, надо взять кое-что. Да смотрите, избави бог, не курите, а то теперь в такую темень огонь невесть бог откуда виден!

— Слушаюсь, не извольте беспокоиться, сами понимаем! — поспешил успокоить его Убий-Собака.

— Ну, то-то, я живо обернусь!

Сказав это, вахмистр ударил лошадь плетью и помчался в карьер к посту, который хотя за темнотой и не был виден, но находился не дальше как в полуверсте.

Урюк-Дагский отряд, протянувшийся без малого на 20 вёрст, состоял из 4 постов, удалённых на расстояние 3—7 вёрст друг от друга. На крайнем, Урюк-Даге, жил Воинов, на среднем, Тимучине, помещался вахмистр, два же остальных управлялись унтер-офицерами. Впрочем, не проходило дня, чтобы кто-нибудь из двоих, или вахмистр, или командир отряда, не посещали эти посты.

— Ишь, погнал! — произнёс Убий-Собака, глядя вслед ускакавшему вахмистру.

— Это он к жене попёр, — отозвался из темноты один из объездчиков, — дюже ен её жалеет!

— А к тому же ребёночек ещё, — добавил другой объездчик, — и по ём, тоже сердце-то мрёт!

— Известное дело! — согласился Убий-Собака. — Только бы не застрял там, вертался бы скорейча!

— Ну, ён не застрянет. Не таковский!



Квартира вахмистра на посту Тимучин состояла из двух небольших комнат и крохотной кухни. Первая служила Терлецкому его рабочей комнатой. Там стоял стол, на котором, кроме чернильницы, лежала пачка бумаги, коробка перьев, карандаши и прочие принадлежности для письма; подле стола на стене в углу висела самодельная этажерочка, с колонками из размотанных катушек и с установленными на ней по порядку уставами и пособиями; далее — деревянная вешалка и несколько выкрашенных в тёмную краску табуретов. У противоположной стены помещалась запасная железная кровать под серым солдатским одеялом и с подушками, твёрдыми, как камень. Кровать эта служила на случай, если бы кто-нибудь из начальства, запозднившись на границе, пожелал переночевать на посту. Сюда же, в эту комнату, являлись по зову вахмистра солдаты поста, до которых он имел какое-нибудь дело, ибо в другую комнату, служившую вахмистру спальней, он не любил никого пускать. Там он жил своей интимной жизнью. Всегда суровый, молчаливый, он, переступая порог этой комнаты, становился другим человеком: шутил, улыбался, не прочь был побалагурить и посмеяться. Там он переставал быть вахмистром, казённой косточкой, а делался обыкновенным смертным, каким создал его Бог — ласковым, добрым и весёлым. Но таким его видела только жена его Луша, или, как её звали солдаты — Лукерья Ивановна, а другие едва ли даже подозревали. Одно только было всем хорошо известно, что Терлецкий «жалеет» жену, никогда никто не слышал, чтобы между ними происходили ссоры или чтобы вахмистр грубо прикрикнул на жену.

Терлецкий служил на сверхсрочной. Окончив действительную пять лет тому назад, он заявил желание продолжать службу, взял отпуск, съездил на родину в Подольскую губернию, а оттуда вернулся с женой. Его назначили в Урюк-Дагский отряд, где он и зажил с молодой женой в крошечной квартирке на посту Тимучин. Четыре года у них не было детей, и только на пятый родился, наконец, столь давно и нетерпеливо ожидаемый ребёнок. Теперь ему шёл уже восьмой месяц, и звали его Аркадием в честь его крёстного отца Аркадия Владимировича.

Перед вечной разлукой

Подскавав к посту, Терлецкий быстро соскочил с коня и, бросив поводья дежурному, торопливой походкой прошёл на двор. Там было темно. Слабый свет от полупущенной лампы в казарме и фонаря из конюшни бесследно пропадал в густом мраке. Вахмистр, взглянул на окна своей квартиры: из спальни по краям спущенной суконной занавески пробивался луч света.

«Не спит»... — подумал Терлецкий и осторожно отворил дверь.

В не большой, но чисто убранной комнате, у стола, перед лампой с зелёным абажуром, сидела молодая женщина лет 23—24, и прилежно шила на машине ситцевую рубашу. Около неё в деревянной, выкрашенной зелёной краской люльке креп-



ко спал спелёнутый младенец. Его озабоченное личико было сморщено, и во сне он уморительно причмокивал губами. Время от времени молодая женщина бросала работу и, наклонившись над люлькой, минуты две-три смотрела в лицо сына полным любви и материнской гордости взглядом. При этом красивое лицо её, с большими серыми глазами и пухлыми, ярко-пунцовыми губами, делалось ещё красивее. Лукерья Ивановна не была простой крестьянкой, а происходила из духовного звания, — отец её был пономарём. Она имела случай выйти за семинариста, чтобы впоследствии стать матушкой, но предпочла Терлецкого.

Услыхав лёгкий стук в дверь, Луша вскочила и торопливо откинула крючок.

— Ты всё шьёшь, Луша? — ласково спросил Терлецкий, входя в комнату. — Ложилась бы лучше спать!

— Не хочется что-то!.. — ответила молодая женщина, любовно заглядывая в глаза мужу. — А ты что же так скоро вернулся?

— Да я на минутку только, близко от поста проезжали, захотелось поглядеть на тебя!

— Что же на меня глядеть, я всё такая же, как и давеча! — засмеялась Луша и вдруг, крепко обхватив мужа руками, поцеловала его прямо в губы. — Милый ты мой, хороший, любимый!.. — прошептала она.

В ответ на эту ласку Терлецкий, в свою очередь, несколько раз поцеловал её.

— Ну, а он как? — кивнул головой вахмистр на люльку.

— Ничего, спит. Как ты уехал, он с чего-то куражиться начал, насили укачала, теперь уснул, Христос с ним.

— К зубкам, должно быть!

— И я то же думаю. Когда же ждать-то тебя?

— Раньше утра не жди. Сегодня, слышь ты, тяжёлая ночь нам выдалась, должно перестрелка здоровая будет, как бы не ухлопали у нас кого!

— Ты-то смотри у меня, поосторожней будь, — с затаённой тревогой в голосе произнесла Луша, — очень-то вперёд не лезь. Не дай бог ранят, что я буду делать?!

— А ежели убьют?

— Ох, что ты! — всплеснула руками молодая женщина, с ужасом отшатываясь в сторону. — Господь с тобой! Разве можно такие вещи говорить? У меня даже сердце замерло, дух захватило... С чего это ты такую думку на себя напустил?.. Нешто Бог попустит такому делу? Ведь мне без тебя и жизни нет... А ребёнок, на кого он-то останется?..

Терлецкий печально усмехнулся.

— Думается, не от нас ведь это! — задумчиво произнёс он. — Пуля летит, не глядит, можно али не можно...

Он подошёл к люльке и заглянул в неё.

— Ишь ты, как спит важно! — улыбнулся он. — Горюшка мало, ну спи, Христос с тобой!





Терлецкий наклонился и, вытянув губы, осторожно прикоснулся ими до лба младенца.

— Ну, Луша, прощай, ехать надо! — обратился он к жене, ласково обнимая её. — К утру с чаем жди, за ночь-то иззябнем, так оно горячего чайку выпить куда как хорошо будет!

— Не бойсь, чай будет, не впервой! Вот только ты-то сегодня какой-то странный, грустный, я таким тебя никогда не видела. Чувствуешь ты, что ли, что?..

— Ничего, так! — тряхнул головой вахмистр. — Я и сам... — начал он, но вдруг остановился на полуслове и чутко прислушался.

— Стреляют! — воскликнул он и опрометью бросился из комнаты.

— Господин вахмистр, тревога, должно на Ишачьем броде! — торопливо доложил дежурный, подбегая к Терлецкому с его лошадьёю в поводу.

Быстрее птицы взлетел вахмистр в седло и, припав к луке, понёсся за ворота.

Луша, накинув байковый платок, выбежала из кордона на площадку. Она остановилась подле дежурного и, трепеща всем телом, начала прислушиваться.

Где-то далеко-далеко бухали выстрелы. Иногда они сливались в один залп и зловещим рокотом проносились по пустыне. С каждой минутой выстрелы становились всё чаще и чаще, очевидно, перестрелка разгоралась и становилась всё упорнее и настойчивее.

— У нас на посту никого нет? — спросила Луша дежурного.

— Все на границе. Дома я да на смену мне Трубачёв, ещё Касаткин остался, да он больной второй день лежит, встать не может. Ишь, жарят! — добавил он, приныкая ухом. — Должно, теперь там пол-отряда собралось!

— А вахмистр там?

— Где же ему быть! Должно быть, там, и командир, думаю, туда поскачет... Помиловал бы только Бог, убитых бы у нас не было...

— Авось Бог милостив! — набожно перекрестилась Луша.

— Вы бы, Лукерья Ивановна, в комнату шли, а то в одном-то платке холодно, чай!

— Ничего, я ещё постою, послушаю, чем кончится!

С минуту они простояли рядом, прислушиваясь ко всё ещё не умолкавшей перестрелке. Вдруг где-то совершенно близко от них, по направлению к границе, мелькнул огонёк и грянул короткий, резкий выстрел.

— Это откуда? — изумился дежурный. — Совсем близко, не дальше, как на первой дистанции... Что бы это могло быть?

— Постой, никак скачет кто-то? — насторожилась Луша. — Не слышишь, будто бы подковы стучат?

— А и взаправду скачет! — всполошился часовой, сбрасывая с плеча винтовку. Вдали ясно послышался порывистый топот несущейся во весь опор лошади.

— К нам! — прошептал солдат и, выступив вперёд, громко крикнул: — Кто едет?



Ответа не последовало, но топот быстро приближался.

— Кто едет? — ещё громче повторил часовой. — Отвечай, стрелять буду! — добавил он, с угрозой взводя курок.

Топот раздавался уже под самой горой. В эту минуту из-за краёв разорванной тучи ярко выглянула луна, и глазам Луши и дежурного представилась быстро скачущая солдатская лошадь без всадника...

Вихрем влетев на холм, лошадь сразу остановилась и захрапела, пугливо оглядываясь вокруг. Дежурный поспешил схватить её за болтающийся оборванный повод.

— Да это Громобой! — воскликнул он с удивлением, узнавая лошадь, на которой постоянно ездил вахмистр.

— Ах, и то правда! — всполошилась Луша. — Что ж это такое значит? Уж не случилось ли с Иваном Парамонычем чего-нибудь? — добавила она дрогнувшим голосом.

— Чему случиться? Просто конь вырвался, может, спешили где-нибудь, дали конвойному держать, а лошадь строгая — испугалась, вырвала повод из рук, да и подалась на пост. Пойти седло поправить, да поводить хорошенько, а вы идите-ка домой: смотрите — иззябли, да, слышь, ребёночек никак плакать начал!

— А и вправду плачет, проснулся, неугомонный! — Луша бегом пустилась домой, а дневальный повёл запыхавшегося коня в конюшню.

— Ишь ты! — глубокомысленно рассуждал он, при свете фонаря рассматривая лошадь. — Седло-то совсем набок свернулось, и подпруга задняя лопнула... Поводья тоже оборвались... А это что такое? Никак кровь?.. — и он торопливо приблизил фонарь. — А и вправду кровь!.. Вот она штука-то какая! Дела!..

Дежурный растерянно оглянулся, как бы ища, с кем поделиться страшным открытием, но на посту никого не было, кроме спавших в казарме больного Касаткина и Трубачёва, который после полуночи должен был сменить дежурного.

— Вытереть аль так оставить, покуда старшой не приедут? — колебался дежурный, косясь на залитое запёкшейся кровью седло и конскую гриву. — Ох, Господи, грехи тяжкие! Неужели же и взаправду с Иваном Парамонычем что случилось?

Пока дежурный возился с лошастью и поправлял седло, Луша, взяв на руки раскричавшегося младенца, начала медленно ходить с ним по комнате, вполголоса напевая:

Спи, касатик мой, усни,
Угомон тебя возьми!
Бай, бай, детка, бай,
Быстро глазки закрывай!
Шш... шшш... шшш...



Напротив через границу

Когда совсем стемнело, Муртуз-ага вышел из пещеры и свистнул.

— Пора в путь! — сказал он появившемуся перед ним как из-под земли Каро. — Зажигай сигнал и веди коней!

Курд кивнул головой и торопливо полез на вершину скалы, там у него была сложена небольшая кучка хорошо высушенных кизяков, политых керосином!

Через минуту на чёрном фоне неба, высоко над головой Муртуз-аги вспыхнуло яркое пламя. Со стороны его легко можно было принять за костёр, разведённый чабанами, ночующими в горах со своими стадами, только тем, кто был посвящён в тайну и караулил на том берегу Аракса, было понятно значение этого неожиданно вспыхнувшего и затем скоро погасшего огня.

Осторожно, медленным шагом, пробирался Муртуз-ага с верным своим Каро по широкой степи, направляясь к Араксу. До границы было вёрст шесть. Днём это расстояние легко можно было проскакать в какие-нибудь двадцать минут, но в тёмную ночь иначе, как шагом, ехать было нельзя, не рискуя ежеминутно или свернуть себе шею, свалившись в одну из глубоких балок, по всем направлениям прорезывавших степь, или разбить голову о груды камней, то и дело попадавших под ноги лошадям.

Спустившись на дно глубокого оврага, по которому во время летнего таяния снегов в горах мутные потоки с рёвом и гулом ниспровергаются в Аракс, Муртуз-ага и Каро поехали быстрее; мягкий песок заглушал шаги лошадей, а густая чёрная тень настолько хорошо скрывала всадников, что даже в нескольких шагах их нельзя было заметить.

Овраг тянулся до самого Аракса. В том месте, где он входил в реку, немного левее был хороший и удобный брод, но легко могло случиться, что около этого брода, хорошо знакомого солдатам Урюк-Дагского отряда, был заложен секрет. Поэтому необходимо было выждать время, когда, согласно сделанному заранее условию, предупреждённые сигналом курды завяжут перестрелку. Выбрав место поудобнее, где подмытый берег выдавался далеко вперёд, образуя нечто схожее с навесом, Муртуз-ага и Каро соскочили с лошадей и, прижавшись к стене, стали ждать, всё время чутко вслушиваясь в мёртвую тишину ночи. Им не пришлось, однако, долго дожидаться, не прошло и несколько минут, как где-то вправо от них грянул выстрел, за ним другой, третий... Чем дальше, тем выстрелы становились всё чаще и чаще, сливаясь по временам в раскатистые залпы.

— Ну, теперь пойдёт тамаша⁷⁰ по всей границе! — усмехнулся Каро. — О, уже скажут, слышите, ага?

Муртуз-ага в ответ только головой кивнул и прижал палец к губам, давая знак молчания.



Где-то близко-близко впереди прогрехотал топот несущихся во весь опор по камням лошадей. Не успели они проскакать, как у конца оврага что-то зашевелилось, и несколько человек пеших солдат, лежавших там в секрете, вскочили и бегом устремились за конными, поспешая на разгоравшуюся с каждой минутой всё сильнее и сильнее перестрелку.

Каро и Муртуз-ага многозначительно переглянулись. Предположение их о том, что брод у оврага был охраняем солдатами, оказалось верным.

— Я говорил, ага, — шепнул Каро, — московы, наверно, сидят на броду, так оно и вышло! Хорошо, что мы не ехали дальше, а то так-таки прямёхонько и наскочили на них. Ну, а теперь нечего время терять, скорее на лошадей и на ту сторону, пока дорога свободна.

Когда Терлецкий, пустив лошадь маршем, примчался на то место, где оставил ефрейтора Убий-Собаку с четырьмя объездчиками, он уже не застал их: очевидно, они усаkali на тревогу, предполагая, что и он прямо с поста поспешит туда же.

— Ах, чтоб им пусто было! — в страшной досаде выругался вахмистр, видя в исчезновении объездчиков полное уничтожение задуманного им плана. — Что же мне теперь делать? Не догадался приказать им, ишакам, несмотря ни на что ждать меня здесь. И зачем я домой-то поехал, напрасно только жену растревожил! — негодовал на себя Терлецкий, не зная, на что решиться и куда ехать. Стрельба по ту сторону поста у Ишачьего брода, туда стало быть Муртуз-ага не поскачет, он скорее на этот бок, к Жёлтому броду направится. Там у меня тоже секрет заложен, лишь бы люди горячки не спорили, остались бы на месте и не бегли бы на тревогу... Ах, досадно, моё-то дурачье усаkali! Ну, уж задам я этому краснобаю Убий-Собаке, будет помнить!

Обуреваемый такими тревожными мыслями, Терлецкий крупной рысью пустился по патрульной дороге в противоположную сторону от того места, где по-прежнему продолжали рокотать частые выстрелы. Достигнув того места, где у Жёлтого брода, среди густого камыша и гребенчукового кустарника, по его расчётам, должен был находиться секрет, Терлецкий увидел только брошенные связки камыша, покрытые рваными старыми бурками, служившими логовищем для солдат, самого же секрета и след простыл. Заслышав тревогу, солдаты, очевидно, побежали на выстрелы.

— А будь вы трижды прокляты! — в бешенстве скрипнул зубами Терлецкий. — Теперь всё дело пропало. Со всех бродов, стало быть, снимались, как вороны. Сколько толкуешь: сиди смирно, не беги, без тебя есть кому на тревогу беги, — нет, несёт их, анафем!.. Теперь всё, чай, там собрались до кучи, а граница вся открыта, хоть в фаэтоне езжай. Ну, солдаты! Можно сказать, ишаки умней их!..

В то время пока Терлецкий в бессильной ярости проклинал солдат, его конь вдруг насторожился, поднял голову и пугливо захрапел. Терлецкий встрепнулся, торопливо выхватил из кобуры револьвер и качал напряжённо вглядываться



в окружающую его темноту. Привычный к ночным тревогам конь вахмистра нетерпеливым движением головы потянул повод и, когда Терлецкий поспешил ему его отдать, Громобой двинулся вперёд, внимательно наставив уши. Было ясно, что своим тонким лошадиным слухом он заловил недоступный для человеческого уха шорох и смело шёл на него. Терлецкий вполне доверился своему коню и ехал вперёд, готовый каждую минуту пустить в дело оружие. Вдруг в нескольких шагах от него мелькнули силуэты двух быстро скачущих всадников. Не теряя ни одного мгновения, Терлецкий припал к луке, гикнул и помчался им наперерез. Он сразу угадал не только то, кто были эти всадники, но и принятое ими направление, а потому вместо того чтобы преследовать их по пятам, пустил коня наискосок к берегу, в расчёте одновременно с ними подскочить к броду. Расчёт его оказался верным: в ту минуту, когда лошадь Муртуз-аги передними копытами уже вступала в реку, Терлецкий как коршун налетел на него сбоку.

— Стой, сдавайся! — загремел он, одной рукой хватая лошадь Муртуз-аги за повод, а другой — в упор направляя ему в грудь револьвер. Но Муртуз-агу не было захватить врасплох. Своей левой рукой он быстро отвёл руку вахмистра, вооружённого револьвером, а правой нанёс ему сильный удар кинжалом по пальцам, державшим повод его лошади. Ещё легче, чем перерубить пальцы Терлецкому, Муртуз-ага мог вспороть кинжалом его грудь, но он не хотел проливать русской крови, и, вырвавшись от вахмистра, без оглядки бросился в воду, спеша поскорее достигнуть противоположного берега. Несмотря на боль в перерубленных пальцах и текущую из них кровь, Терлецкий, не теряя присутствия духа, прицелился в затылок Муртуз-аги, но не успел нажать пальцем спуск, как где-то подле него ярко вспыхнуло ослепительное пламя, громко загрохотал выстрел — и Терлецкий почувствовал, как словно бы кто изо всей силы ударил его кулаком в правую сторону живота. Он закачался и инстинктивно ухватился за переднюю луку седла. В глазах запрыгали огненные шары, но он на мгновение пересилил себя, обернулся и почти в упор выстрелил в пронёсшегося мимо него курда, который, не останавливаясь, бросился в реку вслед за исчезнувшим уже из глаз Муртуз-агой. Сделав выстрел, Терлецкий почувствовал, как всё вдруг быстро завертелось вокруг него, и начал терять сознание. Громобой, испуганный выстрелом, сперва шарахнулся в сторону, а потом, повернув назад, во весь дух понёсся на пост... Несколько минут сидел Терлецкий в седле, обливаясь кровью и судорожно вцепившись пальцами правой руки в гриву. Пальцы его левой руки были перерублены, и когда он, теряя сознание, пытался ухватиться ими за луку, они беспомощно скользили по намоченной кровью коже седла. В одном месте, попав передней ногой в болтающийся повод, Громобой чуть было не упал, сильно споткнулся и едва-едва удержался на ногах. От неожиданного толчка Терлецкий выпустил из рук гриву, растерял стремяна и тяжело повалился с седла на землю. Ударившись головой о каменистый грунт дороги, он несколько раз конвульсивно вздрогнул всем телом, затем судорожно вытянулся и замер, неподвижно распростёртый среди глухой пустыни.





Когда Воинов услышал первые выстрелы, ему стоило большого труда удержаться от желания поскакать на них, чтобы наказать дерзких курдов, затеявших так нахально перестрелку, но, помня слова Терлецкого, он решил лучше остаться и, приказав своим людям рассыпаться поодиночке на возможно дальнейшее друг от друга расстояние, поручил им медленно продвигаться вперёд вдоль границы, тщательно осматривая все встречающиеся на пути кусты и камышовые заросли. Солдаты, поняв план своего офицера, со всем рвением пустились на разведку, но всё их усердие не привело ни к чему, пройдя из конца в конец всю намеченную дистанцию, Воинов с грустью должен был сознаться, что Муртуз-ага для своего прорыва, очевидно, выбрал другое место. «Хоть бы он на Терлецкого наскочил! — в волнении размышлял Воинов. — Тот-то уж не пропустит!».

Тем временем перестрелка на фланге отряда замолкла, и наступила полная тишина. На далёком горизонте показалась багровая полоса наступающего рассвета. С появлением этого вестника надвигающегося дня у Воинова не могло оставаться больше никаких сомнений, что Муртуз-ага или схвачен вахмистром, или давным-давно успел благополучно переправиться в Персию. Оставалось только ждать известий.

Измученный бессонной ночью, иззябший, недовольный, ехал Воинов, понунав голову, втайне ропща на судьбу и неудачу. Вдруг вдали показался скачущий в карьер всадник, в котором следовавший за Аркадием Владимировичем объездчик Сквернозуб, отличавшийся особой дальнозоркостью, тотчас же признал старшего поста Тимучин ефрейтора Убий-Собаку.

— Чтой-то-с да случилось! — вполголоса заговорили солдаты. — Смотри, как палит, в кальер⁷¹ жарит!

— Может, убило кого?

— Типун тебе, чего каркаешь!

— Всяко может быть.

— Нешто Муртузку словили?

— Дай-то бог, а только навряд ли! Кабы словили, для чё бы тогда Убий-Собаке лошадь так щунять? Глянь-кось как нахлёстывает.

По мере того как Убий-Собака приближался, волнение между объездчиками росло всё больше и больше, у каждого из них на сердце копошилось недоброе предчувствие, но никто не хотел высказывать своих опасений, боясь нареканий со стороны товарищей. Воинов волновался больше всех. Наконец он не выдержал и, дав шпоры коню, помчался навстречу Убий-Собаке.

— Что у вас случилось? — крикнул он ещё издали, карьером подскакивая к ефрейтору и с трудом осаживая разгорячившегося коня.

— Несчастье! Ваше благородие, господина вахмистра убило!

— Как убило? — упавшим голосом спросил Воинов, чувствуя словно удар молота в голову. — Совсем?





— Так точно, совсем, сейчас на пост принесли, уж холодный... На границе нашли... Сначала лошадь прибегла, в крови вся, а затем наши с тревоги домой ехали, да и наткнулись... Лежит посреди дороги, руки раскинувши, а с боку живота, вот в этом месте, — объездчик для большей ясности хлопнул себя по животу, — ранища, большая-пребольшая и крови из неё до ужастии... А к тому же и пальцы на левой руке посечены... А кто и как убили его — никто не знает.

— Да разве вахмистр был один?

— Выходит, ваше благородие, так, что будто бы один. Мы и сами спервоначалу удивились, как это оно всё так вышло. Никто не слышал, не видал. Дежурный рассказывает, был один выстрел близ поста, а опосля того лошадь прибежала вахмистрова, Громобой, седло на боку и всё в крови...

Воинов не стал больше слушать пустившегося было в многословие от охватившего его волнения Убий-Собаку и, дав шпоры коню, шальным галопом поскакал на пост Тимучин.

— Ах, какое горе, какое горе! — изредка шептал он. — Вот тебе и изловили! Проклятый Муртуз!.. Ну, попадётся ты мне когда-нибудь, тогда держись только!..

Горя реченька

Когда Воинов въезжал во двор Тимучинского поста, его поразил громкий, залиvistый хохот, раздававшийся из квартиры вахмистра. Вслушавшись в этот странный, ни на минуту не смолкавший хохот, Аркадий Владимирович почувствовал, как мурашки пробежали у него по телу... Что-то нечеловеческое, дикое и в то же время скорбное было в этом неестественном смехе.

— Что это такое? — кивнул головой Воинов по направлению квартиры вахмистра, обращаясь с этим вопросом к выбежавшему к нему навстречу унтер-офицеру



Незелёному, старшему соседнего поста, по случаю происшествия прискакавшему тоже на пост Тимучин.

— Лукерья Ивановна, ваше благородие, должно умом решилась! — доложил тот, поддерживая офицеру стремя. — Солдаты, дурачье, не предупредили, прямо так в комнату и внесли, а она только что заснула под утро самое... Ночь-то всю не спала, ребёнок плакал, а тут такое дело... Она спронеся вскочила, увидала, крикнула и давай хохотать, да с той поры вот всё и хохочет, должно памятки отшибло!

Воинов поспешно вошёл в дом. В первой комнате, на запасной кровати, с которой были сброшены матрас и подушки, на голых досках лежал труп вахмистра Терлецкого. Левая рука его, распухшая и посинелая, с изрубленной, болтающейся на коже и жилах кистью, свесилась на пол, правая была закинута на грудь. Захвачанным окровавленными пальцами полушубок был расстёгнут, весь низ живота и синие рейтузы атели запёкшейся кровью. Осунувшееся за одну ночь до неузнаваемости лицо было изжёлта-бледно, рот полуоткрыт, широко расширенные, закатившиеся под лоб глаза застыли в выражении нестерпимого страдания и ужаса... Над левой бровью зияла глубокая рана, левая щека и часть бороды были залиты кровью, что придавало лицу особенно жалкое, страшное выражение.

Растерявшиеся солдаты робко толпились вокруг убитого, пугливо заглядывая ему в лицо, в углу у окна, удерживаемая за плечи одним из солдат, билась Луша. Сидя на стуле, она, как змея, извивалась всем телом, ломала руки, топала ногами и заливалась диким неистовым хохотом, при этом лицо её судорожно подёргивало, только глаза оставались странно безжизненными, упорно устремлёнными в одну точку. Воинова особенно поразили эти немигающие, широко раскрытые глаза, в которых не светилось никакой мысли, не отражалось никакого ощущения. Их холодная неподвижность как-то особенно резко не гармонировала с судорожно кривившимся лицом и вылетающим из напряжённого горла хохотом.

— Вы бы попробовали её ребёнка поднести, — обратился Воинов к солдатам, — может быть, увидев его, она опомнится!

— Пробовано, ваше благородие, да чуть было греха не вышло. Мы ей дали его в руки, спервоначалу она, было, и взяла, а потом вдруг как шмякнет об пол! Спасибо, подхватить успели, а то бы убила младенца-то насмерть!

— Где же он теперь?

— На солдатской кухне, кашевар молоком поит, у неё, чай, молока теперь не будет уже!

Воинов полюбопытствовал взглянуть на своего крестника. Когда он вошёл в солдатскую кухню, он увидел всегда грязного, запачканного сажёй кашевара чухонца Алика, придурковатого лентяя, совершенно неспособного к строю и служившего для всего отряда посмешищем. За негодностью к службе на границе он состоял бессменным кашеваром и так сроднился со своей кухней, что, случайно очутившись в другом месте, чувствовал себя каким-то потерянным.



Сидя на табурете, Алик держал на руках маленького Аркашу и осторожно вливал ему по каплям в рот подогретое молоко. Ребенок, не умея ещё пить из ложки, захлебывался, таращил глаза, пускал губами пузыри и беспомощно разводил ручонками. Лицо его выражало полное недоумение: он как будто размышлял, заплакать ли ему сейчас или подождать ещё немного.

— Ну, пэй, пэй, алушчик мой, жалуста, пэй! — мягким, несвойственным ему голосом проговорил Алик, и ласковая добродушная улыбка широко расплзлась по его безобразному красному лицу, с клочьями белого моха вместо бровей. Алик так был увлечён своей новой ролью няньки, что даже не заметил вошедшего офицера.

Воинов с минуту простоял в дверях и, не желая тревожить ни ребёнка, ни его импровизированную няньку, потихоньку вышел. Первый раз в его сердце шевельнулось доброе чувство по адресу Алика, которого он до сих пор терпеть не мог за его лень, тунеядство и неспособность к строевой службе, за что Алику постоянно влетало как от самого Воинова, так ещё больше от покойного Терлецкого, любившего иногда дать одну-другую затрецину особенно упорным, по его мнению, лодырям.

Выйдя из кухни, Воинов ещё раз прошёл в комнату вахмистра. Несколько минут простоял он над ним, с тем особым чувством недоумения и тоски, которые охватывают человека всякий раз, когда ему приходится присутствовать при неожиданной, насильственной смерти его ближнего.

«Ведь всего каких-нибудь три-четыре часа тому назад я разговаривал с ним, обсуждал подробности предстоящего дела, — думал Воинов, — а теперь вместо Терлецкого, которого я знал, лежит что-то неведомое, какая-то масса холодного тела, а самого его нет... Где он теперь?».

Воинов тяжело вздохнул, перекрестился и вышел, чтобы сделать все нужные распоряжения.

В полуверсте от селения Шах-Абад, в стороне от большой дороги, ведущей в город Нацвали, расположено небольшое христианское кладбище. На этом кладбище хоронили преимущественно армян и айсор⁷², русских покойников на нём было немного: три-четыре таможенных солдата, один молодой, умерший несколько лет тому назад, таможенный чиновник, несколько человек детворы и один застрелившийся год тому назад с тоски и одиночества ветеринарный врач. Трудно было представить себе место более унылое и невзрачное. Небольшое пространство красно-жёлтой земли, усеянной мелкими камнями, было обнесено невысокой глиняной, местами осыпавшейся стеной с простыми не запирающимися ветхими воротами, над которыми красовался когда-то большой крест, теперь давно сломленный бурей. На всём кладбище не было ни одного кустика, ни единого деревца, даже травка не росла на нём...

Над армянскими и айсорскими могилками крестов не стояло, над православными кресты хотя и были, но старые, почерневшие, поломанные. Одно время, вскоре по приезде своём в Шах-Абад, Щербо-Рожновский задумал было привести клад-



бище в порядок, мечтал даже обсадить его деревьями, но вскоре был принуждён отказаться от своей затеи. Без воды на Закавказье немыслима никакая растительность, а так как вода в тех местностях представляет из себя величайшую драгоценность, то люди привыкли расходовать её с большой осмотрительностью, исключительно для полива фруктовых садов, огородов и засеянных полей. Не проходит года, чтобы из-за обладания несколькими лишними вёдрами воды не проливалась человеческая кровь. Крестьяне с дубинами, кинжалами и даже ружьями выходят ночью в поля караулить каждый свою канавку с бегущей по ней в его поле водой, и горе тому, кто вздумает украсть у соседа часть его воды, переведя её украдкой в свой арык. Удар железной лопатой по голове, а то и кинжал под ребро — обычное возмездие за такое вероломство.

При таких условиях на поливку ненужного никому кладбища, воды, разумеется, достать было невозможно, и Щербо-Рожновскому не оставалось ничего больше, как махнуть рукой на свою кладбищенскую реформу, оставив кладбище в том виде, в каком оно было до него.

В закавказских бригадах Пограничной стражи солдат, умерших на постах от болезней или убитых в стычках с контрабандистами, принято хоронить тут же, неподалёку от постов. Много таких скромных, никому не ведомых могил разбросано среди необозримых пустынь и на вершинах гор нашей далёкой окраины, редко можно встретить кордон⁷³, около которого не чернел бы деревянный, немудрящий крестик, водружённый над бугорком из земли и мелкого камня. Не ищите на этих крестах надписей или каких-нибудь указаний о том, кто нашёл под ними вечное упокоение, имена их давно забыты.

Такая же участь постигла бы и Терлецкого, если бы трагическая гибель его, в силу некоторых особых обстоятельств, не возбудила общего сочувствия.

Первый почин сделал командир отдела Павел Павлович Ожогов. Он предложил своим офицерам устроить небольшую подписку на скромный памятник для «лучшего вахмистра в отделе», как он всегда называл Терлецкого. Щербо-Рожновский, узнав об этой подписке, в свою очередь попросил разрешения участвовать в ней со своими чиновниками. Благодаря этому собралась сумма, вполне достаточная на то, чтобы сделать приличные похороны и заказать небольшой каменный крест из местного красно-бурого песчаника.

По предложению Осипа Петровича, изъявившего желание принять участие в похоронах со всей своей таможенной, а также из уважения к просьбам Ольги Оскаровны, Лидии и других таможенных дам, решено было Терлецкого похоронить на шах-абадском кладбище, что придавало похоронам более торжественный характер.

В день, назначенный для похорон Терлецкого, всё население Шах-Абада уже с утра находилось в волнении. Жадные до всяких зрелищ и любопытные, как все дикари, татары толпой теснились на холме за Шах-Абадом, глаза на дорогу, по которой должны были провезти с поста Урюк-Дага тело вахмистра... Чиновники,



одетые, по просьбе Рожновского, в мундиры, с трауром на рукаве, собрались у Осипа Петровича в квартире и в ожидании пили чай. В казарме старый Сударчиков с очками на носу выкликал по списку тех солдат и досмотрщиков, которые должны были под его командой следовать за гробом.

Ровно в одиннадцать часов на почтовых лошадях прибыл из Нацвали православный священник отец Иракий. Это был довольно курьёзный человек: небольшого роста, светлый грузин, говоривший по-русски весьма плохо и с таким уморительным акцентом, что, слушая его, трудно было иногда не расхохотаться.

Он всегда торопился, боясь опоздать, и теперь, войдя в квартиру Щербо-Рожновского, озабоченно спросил, обращаясь ко всем:

— Ну, что, гаспада, покойник ещё не приходил?

— Не приходил, но скоро будет приходил! — ответил ему в тон, но соблюдая полную серьёзность, один из чиновников,

— Ну, слава богу, а то я пугался, что опоздал! — успокоился батюшка и добродушно начал обходить присутствовавших, правой рукой пожимая им руки, а левой придерживая широкий рукав рясы.

Спустя полчаса после приезда батюшки прибежал солдат, поставленный на крышу караульщиком, и доложил, что на дороге «чтой-тось едет, должно быть, упокойника везут». Чиновники засуетились, оправили на себе мундиры, набросили на плечи шинели, и вышли следом за священником на площадь, откуда хорошо была видна дорога к Урюк-Дагу, по которой медленно двигалась теперь печальная процессия. Впереди, на дышловой пароконной повозке, везли обитый чёрным коленкором и украшенный серебряным татарским позументом гроб. Он был несоразмерно велик, грубо и неумело сколочен из досок, в виде простого ящика, с дном немного более узким, чем совершенно плоская крышка. Повозкой правил солдат в полушубке, без шапки, с туго натянутыми вожжами в руке. При взгляде на его напрядённую, озабоченную фигуру сразу можно было видеть, насколько трудно ему сдерживать хорошо раскормленных, застоявшихся артельных лошадей и заставить их идти спокойным шагом. За гробом, шагах в десяти от него, ехал верхом Воинов впереди небольшого отряда конных объездчиков, за ними в своей повозочке, следовал Ожогов, вдвоём с неизменным своим другом доктором.

На кладбище

Ольга Оскаровна и Лидия, вышедшие тоже на площадь, стояли несколько в стороне и внимательно следили, не спуская глаз с приближающейся процессии.

— Посмотри, пожалуйста, — шепнула Ольга Оскаровна сестре, — как Аркадий Владимирович изменился за это время. Просто узнать нельзя!



Лидия угрюмо подняла голову, взглянула в лицо Воинову и невольно должна была сознаться, что перемена в нём произошла большая. Он сильно похудел, осунулся, вокруг губ легла скорбная морщинка, глаза смотрели уныло и неприветливо. Поровнявшись с дамами, он холодно приложил руку к своей папаше, посылая им официальный поклон, причём Лидии показалось, будто бы Аркадий Владимирович взглянул на неё долгим, пристальным взглядом, в котором она прочла затаённый беспощадный укор себе. От этого взгляда Лидия почувствовала, как что-то холодное, тягучее заползло ей в душу, усиливая её, и без того мрачное настроение духа. Вот уже три дня, — с той самой минуты, как Щербо-Рожновский рассказал ей о драме, случившейся в Урюк-Дагском отряде, — она от беспокойства и волнения не может найти себе места. Общий голос убийцей называет Муртуз-агу, Сударчиков и Аркадий Владимирович упорно стоят за то, что это дело его рук, доносчик⁷⁴ Воинова видел Муртуз-агу как раз в тот день утром на русской стороне в горах, откуда он, по всей вероятности, ночью и пробрался в Персию и, встретив на своём пути Терлецкого, застрелил его. Наконец, самой неопровержимой уликой, по мнению всех, служил труп курда, выброшенный волнами на русский берег на другой день после перестрелки. Утонувший курд был не кто иной, как постоянный спутник Муртуз-аги, его верный телохранитель и сподвижник Каро, с которым он никогда не расставался. При осмотре в спине у курда, немного пониже шеи, найдена была пулевая рана с засевшей в ней пулей от галяновского револьвера, которыми снабжены вахмистры Пограничной стражи. Сопоставляя это с отсутствием в револьвере Терлецкого одного патрона, легко можно было предположить, что пуля, сразившая Каро, была пущена Терлецким, но когда, при каких условиях и где, оставалось для всех неразгаданной тайной.

Вообще, всё это дело представлялось в высшей степени загадочным и неясным. Немало интересовал всех вопрос, зачем понадобилось Муртуз-аге уезжать тайно в Россию, когда он мог сделать это вполне легально, через таможеню, днём, на глазах у всех. Толкам и пересудам не было конца. Делались предположения одно другого нелепее, и только два человека были недалеко от истины — это Ольга и её муж Щербо-Рожновский.

Осип Петрович тогда же, как только до него дошло известие об Урюк-Дагской истории, сказал жене:

— Знаешь, Оля, я уверен, что Муртуз-ага приезжал сегодня на свидание с Лидией, только, разумеется, об этом надо крепко молчать. Потом, когда вся эта история кончится, постарайся вразумить её, объясни ей, что ведь тут не Москва: она себе антропологические наблюдения делает, а из-за этого людей убивают. Разве же это можно?



Ольга Оскаровна ещё более мужа была потрясена всем этим происшествием, но, видя Лидию и без того чрезвычайно расстроенной, не решалась заговорить с ней, откладывая объяснение до более благоприятного времени.

Впрочем, хотя Щербо-Рожновские, муж и жена, таили упорное молчание, Лидия по их лицам ясно видела, что им прекрасно всё известно, в глазах их она читала себе осуждение и искренне мучилась этим.

Стоя в толпе в нескольких шагах от глубокой ямы, подле которой чёрным безобразным пятном выделялся неуклюжий гроб, из которого строго выглядывало заострившееся, покрытое пятнами от начавшегося разложения лицо Терлецкого и белели на обшлагах мундира сложенные на груди руки, Лидия чувствовала себя как бы участницей этого ужасного убийства.

— Слыхали? — раздался подле неё голос доктора, говорившего Щербо-Рожновскому. — Жена его с ума сошла. От испуга молоко в голову ударилось... Теперь помирает у меня в лазарете, думаю, больше двух дней не выдержит!

— А ребёнка?

— Что ребёнок? Да разве вы ничего не знаете? Не слышали разве?

— Нет, а что?

— Ведь она его задушила! Когда её доставили ко мне в лазарет, то ребёнка привезли туда же, сначала она всё буйствовала, кричала, хохотала, пела. Ну, ей, разумеется, сына не показывали, но к вечеру она, однако, успокоилась, утихла, стала как бы разумнее. Фельдшер-то с большого ума — думал психологическое испытание, дурак, сделать — возьми да и дай ей в руки младенца. Она как взглянула на него, сразу в неистовство пришла, завизжала, как бешеная, и вцепилась пальцами в горло малютки. Кинулись отнимать, не тут-то было! Пальцы как стальные, не разожмёшь, впилась ими в шею Аркаши — и давит, и давит, а сама визжит и трясётся вся... Ну, много ли восьмимесячному надо, сразу задушила, отняли уже мёртвого, а она после этого упала на пол и давай биться... С той минуты уже всякая надежда пропала — да, пожалуй, оно и к лучшему. Такое потрясение бесследно для организма пройти не может: если бы чудом каким-нибудь она и осталась жива, то была бы калекой на всю жизнь.

Похолодев от ужаса, с замирающим от нестерпимой жалости сердцем, слушала Лидия рассказ доктора. Её воображение ясно представило себе страшную, чудовищную картину: безумная мать, душащая своего ребёнка. Ей казалось даже, что она слышит раздирающий вопль и визг сумасшедшей и судорожное хрипение конвульсивно корчащегося тельца...

— Иде же несть ни болезни, ни печали... — несутся нестройные голоса солдат, добровольно принявших на себя обязанность певчих. — Но жизнь бесконечная...

«Зачем, зачем он сделал это? — думала Лидия, подразумевая Муртуз-агу. — Неужели нельзя было избежать убийства?.. Или ему человеческая жизнь дей-



ствительно нипочём? Вот он убил человека, погубил семью и теперь готовится к отъезду из Персии... И неужели я последую за ним? — при этом вопросе Лидия вздрогнула всем телом. — Нет, нет! — с тоской и отчаянием поспешила она ответить сама себе, — теперь это невозможно... Убийца... убийца!.. Но ведь и раньше он был убийца, почему же я то, прежнее, убийство так скоро и охотно простила ему? То простила, а это не могу... Чувствую, что не могу и никогда не прощу!..»

Лидия искоса и робко перевела свой взгляд на лицо Терлецкого, и вдруг ей показалось, что мертвец зашевелился. Одна рука его слегка поднялась из гроба и грозно погрозила ей пальцем...

Девушка дико вскрикнула и без чувств упала на руки, успевшего подхватить её Воинова.

Солдаты-певчие в суеверном ужасе отшатнулись от гроба и замолкли, дрожа всем телом. Даже священник и тот в первую минуту растерялся и полными от ужаса глазами смотрел на мертвеца и на его приподнятую из гроба руку... Все присутствующие смутились, один только Ожогов не растерялся и, обратившись к ближайшему унтер-офицеру, спокойно произнёс:

— Должно быть, верёвка развязалась, которой одна рука была притянута к другой, поди, поправь!

Эти просто сказанные слова разом всех успокоили. Необычайное происшествие потеряло всю свою таинственность и легко объяснилось тем, что насильно согнутая много времени спустя после смерти рука, удерживаемая в своём положении верёвочкой, освободившись от неё, приняла своё прежнее положение...

Эпилог

Лидия серьёзно и тяжело заболела. Вначале болезнь приняла такой оборот, что доктор не ручался за счастливый исход её. Не имея возможности ежедневно за 30 вёрст навещать больную, он потребовал, чтобы Лидию Оскаровну перевозили в Нацвали, где для неё наняли две комнаты в доме одного армянина. Ольга переехала с нею и самоотверженно взяла на себя роль бессменной сиделки. Во всё время, пока жизнь Лидии находилась в опасности, Воинов ежедневно навещал её. Чтобы быть поближе к городу, он перебрался на крайний пост своего отряда, отстоявший от Нацвали менее чем в десяти верстах. Утром и вечером аккуратно являлся он к Ольге Оскаровне, бледный и трепещущий, с одним и тем же неизменным вопросом:

— Ну, что, как сегодня?

Когда вести были утешительные, он весь расцветал и радостный и довольный возвращался домой, но зато, узнав о каких-нибудь осложнениях, впадал в такое отчаяние, что Щербо-Рожновской стоило большого труда утешить его.



«Неужели Лидия, — думала она, — будет так слепа, оттолкнёт своё счастье? Лучшего, более любящего и преданного мужа ей никогда не найти. Надо во что бы то ни стало уговорить её!» — решала Ольга Оскаровна в эти минуты и ждала, когда сестра настолько поправится, что с ней можно будет говорить серьёзно.

— Знаете, Ольга Оскаровна, новость? — спросил Воинов, входя однажды в комнату Ольги. — Муртуз-ага убит!

— Как, каким образом? Откуда вы это узнали?

— От самого Алакпера-Бабэй-хана. Помните — старичок, первый министр Суджинского хана, с которым мы познакомились тогда в Суджах. Вчера утром, он прибыл в персидский Урюк-Даг. И прислал просить меня приехать к нему по важному делу. Я поехал. Старик принял меня очень любезно. По его словам, он нарочно явился, чтобы выразить от имени хана его глубокое сожаление о случившемся в моём отряде несчастье. По словам Алакпера-Бабэй-хана, Хайлар-хан, когда узнал об убийстве моего вахмистра, был чрезвычайно опечален и огорчён. «Сначала мы не знали, чьих рук это дело, — уверял меня Алакпер-Бабэй-хан, — и сильно подозревали ваших татар-контрабандиров, только недавно открылось, кто был настоящий убийца». — «Кто же, по-вашему?» — спросил я, уверенный вперёд, что услышу, по обыкновению, какую-нибудь басню. Но представьте себе моё изумление, когда Алакпер-Бабэй-хан, не моргнув бровью, спокойно сказал: «Вы, наверно, и не подозреваете, вашего вахмистра убил Муртуз-ага. Впрочем, — добавил старик, — от Муртуз-аги всегда можно было ожидать злого дела, он был дурной мусульманин и плохой перс, шайтан возьми его душу!» — «То есть как это так?» — изумился я. — «Разве Муртуз-ага...» — «Умер! — перебил меня Алакпер-Бабэй-хан. — Убит своими же курдами. Он замыслил нехорошее дело: бежать из Персии, изменить своему владыке, светлейшему Хайлар-хану сардарю Суджинскому, — да будет Аллах всегда милостив к нему! Перед бегством Муртуз-ага распродал всё своё имущество, собрал все свои драгоценности и думал уйти с ними в Турцию, но на самой границе его же курды, которых он взял себе в охрану, проникнув в его сокровенный замысел, восстали против него и убили, а имущество разграбили... Вот тогда-то и выяснилось всё коварство Муртуз-аги. Сардар узнал всю правду о нём, не стал даже преследовать курдов, особенно когда выяснилось, что Муртуз-ага убил вахмистра русского царя... За одно это его следовало предать смерти. Не правда ли?». Старик старался показать, будто бы он от души возмущается, но я отлично видел, насколько всё это было напускное, и для меня нет никаких сомнений, что убийство Муртуз-аги совершено хотя и курдами, но не иначе, как по приказанию самого же Хайлар-хана Суджинского, который, узнав о намерении Муртуз-аги покинуть Персию навсегда, пожелал его ограбить... У этих дикарей подобные действия — явление обычное... Ну, да, впрочем, нас это не касается! Я, во всяком случае, рад тому, что смерть Терлецкого и бедной Лукерьи Ивановны теперь отом-



щена. Было бы обидно, если бы злодей избёг кары, — он и то долго уклонялся от справедливого возмездия. До сих пор я не говорил вам: ведь он был русский подданный, князь Каталадзе, бывший вольноопределяющийся. Восемнадцать лет тому назад он убил мужа моей тётки, бежал в Персию, принял мусульманство и втёрся в доверие сначала покойного Чингиз-хана, а после его смерти — Хайлар-хана. Много преступлений было на его душе, но теперь судьба за всё рассчиталась с ним, и я очень доволен!

— Меня его смерть тоже радует, — задумчиво произнесла Ольга, — но вовсе не из тех соображений, какие у вас.

— А из каких? — удивился Воинов.

— Это уже моё дело! — загадочно улыбнулась Щербо-Рожновская. — В своё время, может быть, скажу вам, а пока это секрет, и большой секрет!



Примечания к роману «Беглец»¹

¹ *Тушинка* — круглая шапочка горцев.

² *Катер-мул* (катар, катар-мул, мул) — домашнее животное, гибрид осла и кобылы. Отличается работоспособностью, выносливостью и долговечностью, невосприимчивостью ко многим инфекционным заболеваниям. Крупных мулов выделяют для упряжки, более мелких — для верховой езды и перевозки вьюков. Большое распространение катер-мулы получили в Закавказье, Турции, Персии и других странах Ближнего Востока. В Европе катер-мул распространился в Испании.

³ *Гозыри* (газыри) — деревянные небольшие трубочки с серебряными или костяными головками, в виде украшения, вдеваемые по несколько штук с каждой стороны груди (на черкеске) в особо нашитые для этого гнезда. Прежнее их назначение было для помещения заряда пороха и пуль.

⁴ *Паныр* — овечий крепко солёный сыр. Лаваш — хлеб на Кавказе в виде тонких больших лепёшек. Собираясь в дорогу, жители ломают его на мелкие куски и заполняют им холщовые мешки.

⁵ *Хурджшы* — перемётные сумы, в которых укладывается всё имущество путешественника.

⁶ *Бабай* — здесь: старик, бабушка.

⁷ *Устаи* — мастер.

⁸ *Шутора* (арм.) — скорее.

⁹ *Бэшкэш* (бешкеш) — подарок, подношение, иногда взятка.

¹⁰ *Чусты* — род туфель.

¹¹ *Абба* — здесь: верхняя одежда без рукавов, типа накидки, крылатки.

¹² *Сарбазы* — солдаты.

¹³ *Волк* — здесь презрительное прозвище курда. Дело в том, что историческое название курдских племён произошло от слова «кюрд» — волк.

¹⁴ *Сеид* — титул потомков пророка Магомета от дочери Фатимы, жены легендарного Али. Им одним принадлежит право носить зелёную чалму и зелёное верхнее одеяние. Сеиды пользуются у мусульман-суннитов особенным уважением и почитаются как существа священные.

¹⁵ *Джурайки* — тип коротких чулок до щиколотки.

¹⁶ *Гаж*а — 1) отложения болот на Кавказе, содержащие глину; 2) чистейшая известка, без всяких посторонних примесей. Гажевая штукатурка применяется как высококачественная отделка в Закавказье, древней Персии и других странах Востока.

¹⁷ *Муша* — 1) носильщик, чернорабочий; 2) жители города Муш и одноимённого района в Западной Армении.

¹⁸ «...пирамиды из сотен тысяч голов своих пленников...» — исторический факт, случившийся в Средние века при взятии древними персами селения Джульфа.

¹⁹ *Буюр* (перс.) — прошу, пожалуйста.

²⁰ *Чох-саол, чох-чих-саол* (перс.) — очень благодарен, очень, очень благодарен.

²¹ В Закавказье в прошлом дома и саки возводились из сырцового кирпичика или из камня-дикаря, при этом стены изнутри и снаружи обмазывались толстым слоем раствора из глины и навоза («грязи»), поэтому во время такого строительства вокруг будущего дома образовывались большие участки непролазной грязи, стоящей месяцами и заражающей воздух зловониями.

²² *Кочак* — здесь: разбойник.

²³ *Сарбаз-султан* — офицер.

¹ Печатается по: *Тютчев Ф.Ф.* Беглец: Роман из пограничной жизни / Издание П.П. Сойкина. СПб., 1902.



²⁴ *Бадражаны* — местное название баклажан, блестящих, от светло- до чёрно-фиолетовых овощей. Используются для приготовления различных блюд.

²⁵ «...жена шах-абадского султана...» — так иногда назывались управляющие отдельными таможнями в Персии.

²⁶ *Джановар* — волк.

²⁷ *Дунгуз* — кабан.

²⁸ *Чачартма* (нихиртма, чыгыртма) — в Закавказье тип плова из курицы или баранины, причём приготовление курицы (баранины) в небольшом количестве бульона с пряностями, лимонной кислотой, луком, яйцами происходит отдельно от приготовления откидного риса (собственно плова). При подаче на тарелку горкой кладут рис, окрашенный настоем шафрана, а поверх риса помещают саму чачартму, поливают маслом и посыпают корпией и зеленью.

²⁹ *Люликэбаба* (люля-кебаб) — кушанье из рубленой баранины, лука, острых приправ в виде удлиненных сарделек, при классическом приготовлении каждые 5—6 штук таких сарделек нанизывается на металлический шампур и жарятся они над раскалёнными углями.

³⁰ «...при сильном наплыве пассажиров...» — здесь: все лица, переправляющиеся на пароме через границу, именуются пассажирами.

³¹ *Тэскэре* — здесь: персидский паспорт.

³² «Ким-адам?» — Кто такой? Что за человек? Здесь: адам — человек, согласно библейской легенде.

³³ *Бек* (у турок — бей, в Туркестане — бий, бай) — здесь: в смысле дворянин. Титул «бек» присваивался: 1) людям «благородного» происхождения в отличие от низших классов и от членов царствующего дома; 2) князьям или вождям небольших племён в отличие от кагана или хана — вождя более крупного государственного образования; 3) должностным лицам — военным и чиновникам. Слово «бек» ставится обычно после собственного имени.

³⁴ «...звали его Кербалай-Мустафа-Машади-Аласкер-оглы...» — на Востоке в прозвище входит и имя отца. Например, если сына зовут Мустафа, а отца его звали Аласкер, то имя сына составляется так: Мустафа-Аласкер-оглы. Оглы — сын, а также голова. Если человек имеет титул Кербалай, Машади и Гаджи, то титул при этом ставится впереди имени, равно как и титул отца. Например, если Мустафа был Кербалай, а отец его Аласкер-Машади, то выходит следующее: Кербалай-Машади-Аласкер-оглы. Титул Кербалай получают те, кто побывал в паломничестве в гор. Кербалае, титул Машади присваивается посетившим в паломничестве город Мешед (Мешхед), а титулом Гаджи, самым почетным, награждается съездивший на поклонение гробу Магомета — в Мекку.

³⁵ *Юрза* (*гюрза*) — очень ядовитая змея в Закавказье и Средней Азии.

³⁶ *Хаким* — доктор, врач-знахарь.

³⁷ *Ханум* — госпожа, барыня, уважительное обращение к женщине Востока.

³⁸ «...лично отправился в Россию...» — здесь говорится о прибрежной полосе Закавказья, населённой в XIX в. персами-рускоподданными.

³⁹ *Зурна* — древний музыкальный инструмент на Востоке и в Закавказье. Род рожка с мундштуком, как у гобоя. Имеет резкий звук. Зурначи — музыканты, играющие на зурне.

⁴⁰ *Тамаша* — здесь: праздник, сборище единоверцев.

⁴¹ *Кадий* (араб.) — судья у мусульман, духовное лицо.

⁴² *Пишат* — здесь: фруктовое дерево, наподобие фиников.

⁴³ *Чадры* — обычное название войлочных палаток, юрт у курдов.

⁴⁴ *Джеджим* (тюрк.) — ткань из шерсти или шёлка, при этом последняя значительно дороже. Ткань представляет из себя узкую, в несколько метров длиной, материю очень изящного, подчас



пёстрого рисунка, которую режут на нужные размеры для последующего изготовления одеял, занавесок на окна и двери.

⁴⁵ *Гэт, гэт* — уходи.

⁴⁶ *Кунган (кумган)* (тат.) — металлический, обычно из меди, рукомойник, преимущественно на Востоке, кувшин с носом, ручкой и крышкой удлинённой формы. В глубокую старину выполнялся и из серебра.

⁴⁷ *Катых, катык* (тат.) — кислое молоко, овечий айран из простокваши. Овечье молоко варят, затем пахтают масло а уже пахтань квасят в катык. Пахтанье — сыворожка, оставшаяся после сбивания масла.

⁴⁸ *Ференги* — здесь: подразумеваются французы.

⁴⁹ *Яман* — плохой, худо или плохо, нехорошо.

⁵⁰ *Яхиш, якиш* — хороший, хорошо.

⁵¹ *Кяфир* — неверный.

⁵² *Сбичак* — особой формы нож, который обычно скрывался в рукаве черкески или вдевался в голенище сапога.

⁵³ *Аскер* — здесь: регулярный солдат, воин.

⁵⁴ Уже в раннем исламе произошло его разделение на два основных направления — суннизм и шиизм. Ещё при упоминавшемся здесь легендарном Али, жена которого Фатима была дочерью пророка Магомета (Мухаммеда), объединившиеся вокруг него приверженцы именовали себя «шиа» — группировка, фракция, партия. В противовес им господствующая в то время в халифате династия Омейядов придерживалась учения по преданиям Сунны — Священного предания ислама, занимающего в нём такое же место по отношению к Корану, какое иудаизм (Талмуд) занимает относительно христианской Библии. Персы придерживались веры шиитов, их учения, а турки — суннизма. В прошлые века непримиримая ненависть шиитов к суннитам (и наоборот) была так велика, что превосходила ненависть каждой из этих враждебных друг другу сект к христианам или сторонникам буддизма.

⁵⁵ *Геть-бурда* — иди сюда.

⁵⁶ *Черводар* — погонщик верблюдов.

⁵⁷ *Тириак* — то же, что и опиум.

⁵⁸ «...в'алла» — ей-богу.

⁵⁹ *Сабах дюн* (тюрк.) — завтра утром.

⁶⁰ *Шалтай-балтай* (тат.) — зря говорит, обманывает.

⁶¹ *Якиш ат, чох якиш* (тат.) — хорошая лошадь, очень хорошая.

⁶² *Лошка* — здесь: татарин пробует выговорить по-русски слово «лошадь».

⁶³ *Карташ* — брат.

⁶⁴ *Шаур* — пятак.

⁶⁵ *Абаз* — двугривенный. Персидская и старогрузинская серебряная монета XVII века достоинством в 20 копеек. Существовала и персидская мера веса в один абаз — 368 г.

⁶⁶ *Азарпеш* — здесь: 1) круговой кубок. Азарпеш выделывают из турьего рога, украшают серебром. В особо торжественных застольях кубок передавался от хозяина гостю, затем другому, ходил по кругу; 2) серебряный ковшик для вина.

⁶⁷ *Чувяки* — здесь: вид обуви из сафьяна с мягкой подошвой и низким голенищем, тип кавказских сапог.

⁶⁸ *Ноговицы* — обувь с нормальным голенищем, застёгиваемая вокруг голени.

⁶⁹ *Вилайет* — название административных областей в Турции, управляются вали. Каждая область делится на санджаки (округа).



⁷⁰ *Тамаша* — здесь: 1) шум, тревога; 2) развлечение, театрализованное представление.

⁷¹ *Кальер* (гов. прост.), *карьер* — скачка во весь опор, во весь дух. Самый быстрый ход (аллюр) лошади под седлом.

⁷² *Айсоры* — народ, живущий отдельными селениями в Северной Персии (нынешнем Иране), в турецком Курдистане и в Закавказье (в бывшей Эриванской губернии). В начале XX века насчитывалось около 2400 человек. Айсоры по языку принадлежат к армянской ветви семитских языков. В начале X века значительная часть айсор из Турции эмигрировала в Россию. Несколько десятков семейств поселились и во второй столице — Москве (район Самотечной площади и прилегающих переулков).

⁷³ *Кордон* — здесь: воинская пограничная цепь, по В. Далю — «караулы во взаимной связи для берега». *Кордонщик* — караульный в цепи.

⁷⁴ *Донощик* — здесь: соглядатай, разведчик.